Гиляровский Владимир
Собрание сочинений в четырех томах
Том 3. Москва газетная. Друзья и встречи

Москва газетная

Редакторы

В начале моей литературной работы в Москве прочных старых газет было только две. Это «Московские ведомости» — казенный правительственный орган, и либеральные «Русские ведомости». Это были два полюса.

Таковы же были и два московских толстых журнала — «Русский вестник», издававшийся редактором «Московских ведомостей» М. Н. Катковым, и «Русская мысль» В. М. Лаврова, близкая к «Русским ведомостям». А потом ряд второстепенных изданий.

Оглядываясь на свое прошлое теперь, через много лет, я ищу: какая самая яркая бытовая, чисто московская фигура среди московских редакторов газет конца прошлого века? Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков? — Вечная тема для либеральных остряков, убежденный слуга правительства. Сменивший его С. А. Петровский? — О нем только говорили, как о счастливом игроке на бирже.

И. С. Аксаков — редактор «Руси». Не популярен со своим славянофильским журналом.

В. М. Соболевский — «Русские ведомости» — был популярен только между читателями этой газеты — профессорами, земцами, молодыми судейскими и либеральными думцами. Но вся Москва его не знала.

Н. П. Гиляров-Платонов — ученый, был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а некрупная популярность его «Современных известий» была создана только обличителем-фельетонистом.

П. Н. Ланин — прекрасный заводчик шипучих искусственных минеральных вод и никчемный редактор либерально-шипучего «Русского курьера», совсем не принятого Москвой.

Об остальных изданиях и говорить не приходится: уж очень незаметны они были.

Среди этого вырисовывается благодаря своей бытовой яркости и неповторимости только одна фигура создателя «Московского листка» Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

— Я сам себе предок!

Только единственная яркая бытовая фигура: безграмотный редактор на фоне такой же безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке.

Безграмотный редактор приучил читать свою безграмотную газету, приохотил к чтению охотнорядца, извозчика. Он — единственная бытовая фигура в газетном мире, выходец из народа, на котором теперь, издали, невольно останавливается глаз на фоне газет того времени.

Издали виднее: через три года по выходе «Московского листка» Н. И. Пастухов печатал сорок тысяч экземпляров газеты.

У полуторастолетних «Московских ведомостей», у газеты политической, к которой прислушивалась Европа, в это время выходило четыре тысячи номеров, из которых больше половины обязательных подписчиков. «Русских ведомостей» в. этот же год печаталось меньше десяти тысяч, а издавались они в Москве уже двадцать лет.

«Московские ведомости» были правительственной газетой, обеспеченной обязательными казенными объявлениями, которые давали огромный доход арендатору их, но расходились они около трех-четырех тысяч, и это было выгодно издателю, потому что каждый лишний подписчик является убытком: печать и бумага дороже стоили.

Газету выписывали только учреждения и некоторые отставные сановники, а частных

подписчиков у нее никогда почти не было, да и было тогда не модно, даже неприлично, читать «Московские ведомости». На редактора газеты М. Н. Каткова либеральные газеты и петербургские юмористические журналы, где цензура была насчет его слабее, положительно «вешали собак» за его ретроградство.

Так, Д. Д. Минаев напечатал в сборнике своих стихов следующее:

С толпой журнальных кунаков Своим изданьем, без сомненья, В России заменил Катков С успехом третье отделенье. В доносах грязных изловчась, Он, если очень злобой дышит, Свою статью прочтет подчас И на себя донос напишет.

Из московских изданий позволяли себе полемизировать с М. Н. Катковым только «Русские ведомости» да иногда «Русский курьер» в первые три года издания, пока его редактировал В. А. Гольцев.

В московских юмористических журналах: «Будильнике», «Развлечении», а особенно в «Зрителе» — цензура вычеркивала всякое упоминание о М. Н. Каткове.

Помню, в 1882 году я дал четверостишие для «Будильника» по поводу памятника Пушкину: на Тверском бульваре, по одну сторону памятника жил обер-полицмейстер генерал Козлов, а по другую, тоже почти рядом, помещались «Московские ведомости» и квартира М. Н. Каткова:

…Как? Пушкин умер? Это вздор.
Он жив! Он только снова
Отдан под надзор
Каткова и Козлова.

Редакция «Будильника» четверостишие даже и в набор не сдала. М. Н. Катков был священной особой для московского цензурного комитета, потому что все цензоры были воспитанниками Каткова и сотрудничали в «Московских ведомостях», чем были сильны и неприкосновенны. Их, как древних жрецов, писатели и журналисты редко лицезрели.

Первая встреча с сотрудником «Московских ведомостей» и одновременно цензором останется для меня навсегда незабвенной. На какой-то большой пирушке у Н. И. Пастухова, после обеда, за кофе с ликерами, я сидел рядом с сумским гусаром Н. П. Пашенным, совсем юношей, лихим наездником и лихим спортсменом, впоследствии знаменитым драматическим актером Рощиным-Инсаровым.

Подле него, красавца в полном смысле слова, поместился низенького роста неуклюжий рыжебородый человек в черном мешковатом сюртуке и, тыкай пальцем веснушчатой, покрытой рыжими волосами руки в грудь Н. П. Пашенного, ему что-то проповедовал.

Это был цензор Сергей Иванович Соколов, бывший семинарист, личный секретарь М. Н. Каткова.

— Вот эта рука десять лет работает под руководством самого Михаила Никифоровича Каткова.

Н. П. Пашенный, продолжая сидеть, ловким взмахом вольтижера положил свою ногу, в малиновых рейтузах и сапогах со шпорами, сверх руки С. И. Соколова, прижавши ее к столу, и, хлопая по колену, сказал:

— А эта нога три года работает под руководством полковника Клюге фон Клюгенау — первого наездника русской армии.

Горько заплакал личный секретарь М. Н. Каткова, цензор и постоянный сотрудник «Московских ведомостей». Потом дело кончилось миром.

Кроме своей газеты и «Московского листка», благодаря старому знакомству с Н. И. Пастуховым, цензор С. И. Соколов все остальные газеты считал вредными, а сотрудников их — врагами отечества.

Эта сцена мне памятна потому, что в тот вечер я воочию увидал первого сотрудника «Московских ведомостей» и первого живого цензора. Да и негде было видеть сотрудников «Московских ведомостей» — они как-то жили своей жизнью, не знались с сотрудниками

других газет, и только один из них, театральный рецензент С. В. Флеров (Васильев), изящный и скромный, являлся на всех премьерах театров, но он ни по наружности, ни по взглядам, ни по статьям не был похож на своих соратников по изданию, «птенцов гнезда Каткова» со Страстного бульвара. Самого же М. Н. Каткова я так ни разу в жизни не видал. Он умер в 1887 году. После него стал редактором Петровский, очень друживший с супругами Витте и, кажется, больше интересовавшийся биржей, падением и повышением бумаг, чем газетой и политикой.

Газета помещалась на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара и печаталась в огромной университетской типографии, в которой дела шли блестяще, была даже школа наборщиков.

Первый «студенческий бунт» был вызван «Московскими ведомостями». До того времени Москва этого слова не знала и не слыхала. Если и бывали студенческие беспорядки, всегда академического характера, то они происходили только в стенах университета. Первые беспорядки, прогремевшие в Москве, были вызваны новым уставом, уничтожившим профессорскую автономию и удвоившим плату за слушание лекций, что оттесняло бедноту от слушания лекций, а тут, вслед за уставом, грянул циркуляр о введении обязательной для каждого студента новой формы: мундиры со шпагой, сюртуки, тужурки и пальто со светлыми гербовыми пуговицами и синими выпушками — бедноте не по карману!

Осенью 1884 года запылали студенческие беспорядки, подогретые еще рядом статей в защиту правительства и обычными доносами «Московских ведомостей».

Под влиянием всего этого студенческие беспорядки в первый раз вырвались на улицу.

На сходке студенты постановили устроить демонстрацию газете. К семи часам вечера студенты кучками неожиданно с разных сторон пришли на Страстной бульвар и устроили грандиозный кошачий концерт перед окнами квартиры редактора М. Н. Каткова с разбитием в них стекол. Явилась полиция и конный жандармский дивизион. Это был в Москве первый случай такого выступления конных жандармов. Жандармы с нагайками носились по бульвару и обоим проездам, разгоняя демонстрацию. Попадало всякому — и студенту и нестуденту. Били кого попало и как попало. На мостовой валялись избитые в кровь. Жандармов сбивали с лошадей, и лошади носились без всадников.

Как сейчас помню высокого студента-кавказца, когда он вырвал жандарма из седла, вмиг очутился верхом и ускакал. На помощь жандармам примчалась сотня 1-го Донского казачьего полка, выстроилась поперек проездов и бульвара и, не шелохнувшись, стояла, а жандармы успели окружить толпу человек в двести, которую казаки и конвоировали до Бутырской тюрьмы.

В газетах на другой день появились казенные заметки, что студенты пошумели на Страстном бульваре и полтораста из них было забрано и отведено в Бутырки.

Позднее во время всяких студенческих беспорядков обязательно хоть пару стекол разбивали в «Московских ведомостях», а в Татьянин день повторялись перед редакцией кошачьи концерты мирного характера.

«Русские ведомости»

«Русские ведомости»!

— Наша профессорская газета, — называла ее либеральная интеллигенция.

— Крамольники! — шипели черносотенцы.

— Орган революционеров, — определил департамент полиции.

Газета имела своего определенного читателя. Коренная Москва, любившая легкое чтение и уголовную хронику, не читала ее.

Первый номер этой газеты вышел 3 сентября 1863 года. Подписка 3 рубля в год, три номера в неделю.

Основал ее писатель Н. Ф. Павлов и начал печатать в своей типографии в доме Клевезаль, против Мясницкой части. Секретарем редакции был Н. С. Скворцов, к которому,

после смерти Павлова, в 1864 году перешла газета, — и сразу стала в оппозицию «Московским ведомостям» М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева.

В газете появились: Н. Щепкин, Н. Киселев, П. Самарин, А. Кошелев, Д. Шумахер, Н. Кетчер, М. Демидов, В. Кашкадамов и С. Гончаров, брат жены Пушкина. Это были либеральные гласные Городской думы, давшие своим появлением тон газете навсегда. Полемика с Катковым и Леонтьевым закончилась дуэлью между С. Н. Гончаровым и П. М. Леонтьевым в Петровском парке, причем оба вышли из-под выстрелов невредимыми, и в передовой статье «Русских ведомостей» было об этом случае напечатано:

«Судьбе было угодно, чтобы первое боевое крещение молодой газеты было вызвано горячей защитой новых учреждений общественного самоуправления и сопровождалось формулировкой с ее стороны высоких требований самой печати: свобода слова, сила знания, возвышенная идея и либеральная чистота. Вот путь, которым должна идти газета».

Н. С. Скворцов сумел привлечь лучшие литературные силы. Вошли в число постоянных сотрудников А. И. Урусов, впоследствии знаменитый адвокат, А. И. Чупров,

В. М. Соболевский, А. С. Постников, А. П, Лукин, М. А. Саблин, В. С. Пагануцци, И. И. Янжул, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Г. И. Успенский.

Газета держала тот тон, который дала небольшая группа, спаянная общностью политических убеждений и научно-социальных взглядов, группа сотрудников газеты, бывших в 1873 году на Гейдельбергском съезде.

Разные люди перебывали за полувековую жизнь газеты, но газета осталась в руках той группы молодых ученых, которые случайно одновременно были за границей, в 1873 году, и собрались на съезд в Гейдельберг для обсуждения вопроса — что нужно делать?

И постановлено было на съезде добиваться конституции, как пути для демократического и социального обновления страны. В числе участников этого съезда были А. И. Чупров, А. С. Постников и В. М. Соболевский, [1] молодые приват-доценты, с студенчества своего сотрудники «Русских ведомостей», которые, вернувшись из Гейдельберга, выработали программу газеты по решениям съезда. Она была отпечатана на правах рукописи, роздана сотрудникам и неукоснительно применялась. В конце 70-х годов примкнули к газете П. Д. Боборыкин,

С. Н. Южаков, С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, В. А. Гольцев и писатели-народники Н. Н. Златовратский и Ф. Д. Нефедов, а затем Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг, Г. А. Джаншиев, С. Ф. Фортунатов.

С 1868 года газета стала ежедневной без предварительной цензуры, а с 1871 года увеличилась в размере и подписка была 7 рублей в год.

Редакция и типография помещались тогда в доме Делонэ в Никольском переулке на Арбате.

Если я позволил себе привести это прошлое газеты, то только для того, чтобы показать, что «Русские ведомости» с самого рождения своего были идейной газетой, а не случайным коммерческим или рекламным предприятием. Они являлись противовесом казенным правительственным «Московским ведомостям».

*** * ***

После смерти редактора Н. С. Скворцова, талантливого и идейного журналиста, материальное состояние газеты было затруднительным. В. М. Соболевский, ставший фактическим владельцем газеты, предложил всем своим ближайшим сотрудникам образовать товарищество для продолжения издания. Его предложение приняли десять человек, которые и явились учредителями издательского паевого товарищества «Русских

---

[1] Кроме них, на съезде находились Г. Е. Афанасьев, впоследствии сотрудник «Р. В.», с 1878 г. живший в провинции, и Зибер, сотрудник «Вестника Европы»

ведомостей».

В состав учредителей вошли вместе с В. М. Соболевским его товарищи по выработке основной программы газеты — А. С. Постников и А. И. Чупров, затем три ближайшие помощника его по ведению дела в конце 70-х и начале 80-х годов — Д. Н. Анучин, П. И. Бларамберг и В. Ю. Скалон и еще пять постоянных сотрудников — М. Е. Богданов, Г. А. Джаншиев, А. П. Лукин, В. С. Пагануцци и М. А. Саблин.

Составилась работоспособная редакция, а средств для издания было мало. Откликнулся на поддержку идейной газеты крупный железнодорожник В. К. фон Мекк и дал необходимую крупную сумму. Успех издания рос. Начали приглашаться лучшие силы русской литературы, и 80-е годы можно считать самым блестящим временем газеты, с каждым днем все больше и больше завоевывавшей успех. Действительно, газета составлялась великолепно и оживилась свежестью информации, на что прежде мало обращалось внимания.

Я был приглашен для оживления московского отдела газеты. Сразу мне предложили настолько хорошие условия, что я, будучи обеспечен, мог все силы отдать излюбленному мной живому репортерскому делу.

Редакция тогда помещалась в доме Мецгера, в Юшковом переулке на Мясницкой, — как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. В фасадном корпусе в бельэтаже — редакция, а в надворном, фабричного вида, — типография со штатом прекрасных наборщиков под руководством уважаемых и любимых всеми метранпажей А. О. Кононова и И. П. Яковлева.

Вход в редакцию через подъезд со двора, по шикарной лестнице, в первый раз на меня, не видавшего редакций, кроме ютившихся по переулкам, каковы были в других московских изданиях, произвел приятное впечатление сразу, а самая редакция — еще больше. Это была большая, светлая, с высокими окнами комната, с рядом столов, покрытых зеленым сукном, с книжными шкафами, с уложенными в порядке на столах газетами. Тишина полная. Разговор тихий.

Первый, кого я увидел, был А. Е. Крепов, переводчик с иностранного, старичок в очках, наклонившийся над какой-то французской газетой, в которой делал отметки карандашом. Когда-то простой наборщик, он самообразовался, изучил языки и сделался сотрудником. За другим столом театральный критик, с шикарной бородой, в золотых очках, профессорского вида, Н. М. Городецкий писал рецензию о вчерашнем спектакле, а за средним столом кроил газеты полный и розовый А. П. Лукин, фельетонист и заведующий московским отделом, в помощники к которому я предназначался и от которого получил приглашение.

Рядом с А. П. Лукиным писал судебный отчет Н. В. Юнгфер, с которым я не раз уже встречался в зале суда на крупных процессах. Около него писал хроникер, дававший важнейшие известия по Москве и место которого занял я: редакция никак не могла ему простить, что он доставил подробное описание освящения храма Спасителя ровно за год раньше его освящения, которое было напечатано и возбудило насмешки над газетой. Прямо против двери на темном фоне дорогих гладких обоев висел единственный большой портрет Н. С. Скворцова.

А. П. Лукин встретил меня, и мы прошли в кабинет к фактическому владельцу газеты В. М. Соболевскому, сидевшему за огромным письменным столом с массой газет и рукописей. Перед столом — такой же портрет Н. С. Скворцова. Кожаная дорогая мебель, тяжелые шторы, на столе подсвечник с шестью свечами под зеленым абажуром. В. М. Соболевский любил работать при свечах. В других комнатах стояли керосиновые лампы с зелеными абажурами.

И тишина, тишина…

По другую сторону стола сидел В. С. Пагануцци, необыкновенно толстый, добродушного вида, и читал рукопись. Переговорили об условиях с Соболевским, и потом, когда Лукин ушел, Пагануцци взглянул на часы и сказал, подавая рукопись:

— Можно сдавать в набор!

В. М. Соболевский позвонил и передал ее вошедшему мальчику:

— В набор!

В. С. Пагануцци еще раз вынул часы и показал!

— Уже час!

— Да, пожалуй, пора! — И Соболевский обратился ко мне:

— Владимир Алексеевич, не откажитесь с нами позавтракать. Каждое хорошее дело надо начинать с хлеба-соли.

Мы вышли через другую дверь, миновав редакцию, и В. М. Соболевский сказал швейцару:

— Я вернусь к трем часам.

Мы поехали в ресторан Тестова, или, как говорилось в Москве, «к Тестову», — я вдвоем с Соболевским, а Пагануцци полностью занял у извозчика убогую пролетку, у которой даже рессоры погнулись и колесо визжало о железо крыла.

От Тестова мы вышли полными друзьями, и я с той минуты всего себя отдал «Русским ведомостям».

* * *

Вскоре товарищество приобрело в Чернышевском переулке свой дом — бывшего городского головы князя В. А. Черкасского, который был ему поднесен в дар москвичами. Дом этот находился против теперь еще существующего дома Станкевича. Пришлось сделать большие перестройки, возвести новые корпуса. В 1886 году редакция перешла в это новое, специально приспособленное помещение. От старого, кроме корпуса, выходящего на улицу, был оставлен крошечный флигелек, уступленный М. А. Саблину, куда он и перевел статистическое отделение при канцелярии генерал-губернатора, заведующим которого он состоял.

С новой типографией увеличился формат газеты, номера стали выпускаться в 6 и 8 страниц.

Ни одна газета не вынесла столько кар и преследований со стороны цензуры, сколько вынесли «Русские ведомости». Они начались с 1870 года воспрещением розничной продажи, что повторилось в 1871 и 1873 годах, за что — указаний не было: просто взяли и закрыли розничную продажу.

В 1873 году 4 декабря предостережение «Русские ведомости» получили за то, что они «заключают в себе крайне, в циничной форме, враждебное сопоставление различных классов населения и, в частности, оскорбительное отношение к дворянскому сословию». И ежегодно шли кары, иногда по нескольку раз в год.

Это продолжалось до конца прошлого столетия. 1901 год открылся приостановкой газеты за нарушение циркуляра, запрещавшего печатать отчеты о процессах против чинов полиции, а «Русские ведомости» напечатали отчет о случившемся в судебной палате в Тамбове деле о полицейском приставе, обвинявшемся в насильственном освидетельствовании сельской учительницы.

В 1905 году было приостановлено издание с 22 декабря по 1 января 1906 года за то, что «редакция газеты «Русские ведомости» во время мятежного движения, еще не кончившегося в Москве и в других городах, явно поддерживала его, собирала открыто значительные пожертвования в пользу разных забастовочных комитетов, политических ссыльных, борцов за свободу и пр.». Дальше шли конфискации номеров, штрафы по нескольку раз в год по разным поводам; штрафы сменялись конфискациями и привлечениями к суду. Таковых наказаний в один только 1912 год редакцию постигло двенадцать раз, а за 1912–1913 годы наказаний было тридцать. Придирались и правящие круги и мелкота. Во время «княжения» в Москве «хозяина столицы» В. А. Долгорукова у него был чиновник, начальник секретного отделения, П. М. Хотинский. Он, чтобы выслужиться перед начальством, поставил себе в обязанность прославлять Долгорукова, для чего просто податливым газетам он приказывал

писать, что ему надо было, а в «Русских ведомостях» состоял даже корреспондентом, стараясь заслужить милость этого единственного непокорного издания.

«Русские ведомости» раз жестоко его подкузьмили «по ошибке корректора». Когда В. А. Долгоруков ездил по ближайшим городам, то Хотинский из каждого города телеграфировал во все газеты о торжественных встречах, устраиваемых «хозяину столицы». Насколько эти встречи были торжественны, я лично не видал, но в газетах описания были удивительные. Однажды во всех московских газетах появляется большая телеграмма из Тулы о торжественной встрече. Тут и «ура», и народ «шпалерами», и «шапки вверх». Во всех газетах совершенно одинаково, а в «Русских ведомостях» оказалась напечанной лишняя строка: «о чем, по приказанию его сиятельства, честь имею вам сообщить. Хотинский».

В телеграммах в другие газеты эта строка была предусмотрительно вычеркнута. «Русские ведомости» и секретное отделение с Хотинским во главе сделались врагами. Хотинский более уже не сотрудничал в газете.

*** * ***

Редакция в Чернышевском переулке помещалась в бельэтаже дома В. А. Черкасского, вход с улицы, общий с конторой. Шикарно, но не было той интимности особняка, что была в Юшковом переулке. Здесь было несомненно удобнее, но официально как-то, холодком веяло, В Юшковом переулке было уютно, проще и симпатичнее. Здесь по каждому отделу свой особый кабинет по обе стороны коридора, затем большой кабинет редактора и огромная редакционная приемная, где перед громадными, во все стены, библиотечными шкафами стоял двухсаженный зеленый стол, на одном конце которого заседал уже начавший стариться фельетонист А. П. Лукин, у окна — неизменный А. Е. Крепов, а у другого секретарь редакции, молодой брюнет в очках, В. А. Розенберг принимал посетителей. Он только что поступил в редакцию. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом, как раз против себя, водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный при перестройке на чердаке дома…

А. П. Лукин, кроме своих, имевших иногда успех, фельетонов в «Русских ведомостях», под псевдонимом «Скромный наблюдатель», был еще московским фельетонистом петербургских «Новостей» Нотовича и подписывался римской цифрой XII.

Псевдоним очень остроумный и правдивый, так как в фельетонах участвовало несколько человек, а Лукин собирал весь этот материал в фельетон, который выходил в Петербурге по субботам. Не знаю, как платил Нотович, но я от Лукина получал 5 копеек за строчку и много зарабатывал, так как чуть не ежедневно давал заметки, которые нельзя было печатать в Москве, а в «Новостях» они проходили.

Репортером по заседаниям Городской думы и земства был Ф. Н. Митропольский. Немало университетской молодежи обслуживало ученые общества, давало отчеты по ученым собраниям, а я вел происшествия и командировки.

В типографии нас звали: Митропольского — «недвижимое имущество «Русских ведомостей», а меня — «летучий репортер». Оба эти прозвания были придуманы наборщиками, нашими друзьями, так как, приходя поздно ночью, с экстренными новостями, мы писали их не в редакции, а в типографии или корректорской, отрывая каждые десять строк, чтобы не задержать набор.

Действительно, приходилось быть летучим, конкурируя с оставленным мною «Московским листком», где было все основано на репортаже.

Приходилось носиться по Москве. Телефонов тогда не было, резиновых шин тоже, извозчики — на клячах, а конка и того хуже.

Я мог бегать неутомимо, а быстро ездил только на пожарном обозе, что было мне разрешено брандмайором, полковником С. А. Потехиным, карточку которого с надписью берегу до сего времени: «Корреспонденту В. А. Гиляровскому разрешаю ездить на пожарном обозе». Кроме меня, этим же правом в Москве пользовался еще один человек — это

корреспондент «Московского листка», поступивший после меня, А. А. Брайковский, специальность которого была только отчеты о пожарах.

А. А. Брайковский поселился рядом с пожарным депо на Пречистенке и провел к себе в квартиру, через форточку, звонок прямо с каланчи, звонивший Одновременно с пожарным звонком, который давал команде часовой при каждом, даже маленьком пожаре.

«Русские ведомости» помещали только сведения о больших пожарах, о которых, по приказанию того же брандмайора, мне приносили повестку из Тверской пожарной команды. Нередко мне приходилось, на ходу встречая мчавшийся обоз, вскакивать на что попало и с грохотом мчаться на пожары. В сыскной полиции у меня был сторож Захар, а в канцелярии обер-полицмейстера был помощник, который сообщал все происшествия из протоколов. На вокзалах имелись служащие и сторожа, которые сообщали о крушениях и о всех происшествиях на железной дороге.

«Русские ведомости», приглашая меня, имели в виду оживить московский отдел, что мне удалось сделать, и я успешно конкурировал с «Московским листком», не пропуская крупных событий. В трущобах, вроде Хитрова рынка, Грачевки и Аржановки, у меня были свои агенты из самых отчаянных бродяг, которые и сообщали свои сенсации. Иногда удавалось доставать такие сведения уголовного характера, которые и полиция не знала, — а это в те времена ценилось и читалось публикой даже в такой сухой газете, как «Русские ведомости». Не раз полиция и администрация меня тянули, но я всегда счастливо отделывался, потому что мои хитрованцы никогда не лгали мне.

Первое время они только пугали мою молодую жену: стучит в двери этакий саженный оборванный дядя, от которого на версту несет водкой и ночлежкой, и спрашивает меня. С непривычки, конечно, ее сперва жуть брала, а потом привыкла, и никогда ни один из этих корреспондентов меня не подвел. Бывали такие эффектнейшие сведения, которые производили переполох среди властей. Любезность ко мне обитателей притонов даже раз выразилась так: осенью был пожар на Грачевке, на котором я присутствовал. Когда я стал в редакции писать заметку, то хватился часов и цепочки с именным брелоком: в давке и суматохе их стащили у меня. Часы — подарок отца… Ну — украли, так украли.

Каково же было удивление, когда на другой день утром жена, вынимая газеты из ящика у двери, нашла в нем часы с цепочкой, завернутые в бумагу! При часах грамотно написанная записка: «Стырено по ошибке, не знали, что ваши, получите с извинением». А сверху написано: «В. А. Гиляровскому». Тем и кончилось. Может быть, я и встречался где-нибудь с автором этого дела и письма, но никто не намекнул о происшедшем.

Эти молчаливые люди, никогда не говорившие своего имени, нередко, по непонятным для непосвященного причинам, и доставляли мне уголовные сведения.

Помню такой случай: из конторы богатой фирмы Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка — самого людного места — в августе месяце среди белого дня. Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов повсюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особо важным делам Кейзер, который впоследствии вел расследование событий Ходынки, где нам пришлось опять с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло три недели — дело замолкло. Выхожу я как-то вечером из дома — я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, против консерватории, — а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири:

— Я к вам, пропишите их, подлецов, в газетах! И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля: как при его главном участии увезли шкаф, отправили по Рязанской дороге в Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост, в Гуслицы, за двенадцать верст от станции по дороге в Запонорье, где еще у разбойника Васьки Чуркина был притон. В кустах взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашлось около пятнадцати тысяч рублей, поделили и поехали

обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и сбросили с поезда, думая, что он «готов». Когда же Болдоха, очухавшись, вернулся на Хитров к съемщику ночлежки — капиталисту и организатору крупных разбоев «Золотому», — тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видали, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, — а мы знать не знаем!

На следующий день в «Русских ведомостях» я написал подробнейший рассказ Болдохн, с указанием места, где лежит в речке шкаф.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, — а я смеюсь:

— Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит:

— Если это неправда, мы вас привлечем по статьям!

— Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

— А если его там нет, то вы будете под судом!

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Федот Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится взломанный в сыскном отделении.

Кейзер приехал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте другого преступления, указал всех участников. Дело «Золотого» разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

А Болдоха успел бежать.

Счастливейшее время моей работы было тогда в «Русских ведомостях», которое я вспоминаю с удовольствием. Я был молод, силен, гордился своим положением, дружеским отношением с людьми, имена которых незабвенны. Особенно дороги мне 80-е годы (середина), когда я весь отдавался «Русским ведомостям». Какие встречи! Кто-кто не работал в газете! Писали те, о которых даже не догадывались читатели, не воображала цензура. Только мы, очень немногие, далеко даже не все постоянные сотрудники, знали, что работали в газете и П. Л. Лавров, и Н. Г. Чернышевский, поместивший в 1885 году свой первый фельетон за подписью «Андреев», и другие революционные демократы.

— Кто это Андреев? — спросили М. А. Саблина в цензуре.

— Кто Андреев? Да актер Андреев-Бурлак! Тем и успокоилось начальство.

Петр Лаврович Лавров подписывал статью одной буквой или совсем не подписывался под некоторыми статьями или «письмами из Лондона».

Так никогда и не узнала об этом сотрудничестве цензура. А узнай она — за одно участие их газета была бы закрыта, да и редакторы угодили бы в ссылку.

Был такой случай: министр Д. А. Толстой потребовал сообщить имя автора какой-то статьи. Ему отвечали отказом, и министр потребовал от московского генерал-губернатора высылки из Москвы редактора В. М. Соболевского; но самолюбивый «хозяин столицы» В. А. Долгоруков, не любивший, чтобы в его дела вмешивался Петербург, заступился за В. М. Соболевского и спас его. А высылка была равносильна закрытию газеты, так как утвержденным редактором тогда был один В. М. Соболевский. Писали в это время также под псевдонимами И. И. Добровольский, Н. В. Чайковский и К. В. Аркакский (Добренович).

Восьмидесятые годы были расцветом «Русских ведомостей». Тогда в них сотрудничали: М. Е. Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Н. Н. Златовратский, А. П. Чехов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, А. Н. Плещеев, Н. Е. Каронин, Г. А. Мачтет, Н. К. Михайловский, А. С. Пругавин, Н. М. Астырев, Л. Н. Толстой, статьи по театру писал В. И. Немирович-Данченко. Какое счастье было для молодого журналиста, кроме ежедневных заметок без подписи, видеть свою подпись, иногда полной фамилией, иногда «В. Г-ский», под фельетонами полосы на две, на три, рядом с корифеями! И какая радость была, что эти корифеи обращали внимание на мои напечатанные в газете фельетоны и хорошо отзывались о них, как, например, М. Е. Салтыков-Щедрин о моем первом рассказе «Человек и собака». А разве не радость это: в 1886 году я напечатал большой фельетон «Обреченные» (очерк из жизни рабочих на белильных заводах), где в 1873 году я прожил зиму простым

рабочим-кубовщиком. В нем я дал полное впечатление каторжной работы на тех заводах, с которых люди не возвращались в жизнь, а погибали от болезней. Это был первый такой очерк из рабочей жизни в русской печати. Никогда не забыть мне беседы в редакции «Русских ведомостей», в кабинете В. М. Соболевского, за чаем, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ на это Успенский привел в пример моих только что напечатанных «Обреченных», попросил принести номер газеты и заставил меня прочитать вслух. А потом меня долго расспрашивали о подробностях, и Глеб Иванович остался победителем.

С этого дня мы подружились вплотную с Глебом Ивановичем, и он стал бывать у меня.

Такие же отношения установились с А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, В. А. Гольцевым — дружеское «ты» и полная откровенность.

Работая в «Русских ведомостях», мне приходилось встречаться с иностранцами, посещавшими редакцию. Так, после возвращения из Сибири Джорджа Кеннана, автора знаменитой книги «Сибирь и каторга», в которой он познакомил весь мир с ужасами политической ссылки, редакция поручила мне показать ему московские трущобы.

Пришлось мне встретить и возвращавшихся из Сибири американских корреспондентов Гарбера и Шютце, привезших из тундры прах полярного исследователя де Лонга.

В 1879 году редактор «Нью-Йорк Геральда» Бернет снарядил экспедицию к Северному полюсу под начальством капитана де Лонга на паровой яхте «Жаннета». К северу от Берингова пролива яхта была раздавлена льдами.

Узнав о гибели «Жаннеты», американское правительство послало пароход «Роджерс» для отыскания экипажа «Жаннеты», но «Роджерс» в ноябре 1881 года сгорел в Ледовитом океане.

Вскоре после пожара «Роджерса» была послана Бер-нетом новая экспедиция, которую возглавляли лейтенанты Гарбер и Шютце. Они должны были отыскать следы лейтенанта Чиппа с его экипажем.

— Завтра утром надеюсь вас видеть на Рязанском вокзале! — этими словами остановил меня на Мясницкой американский консул Джон Смит, прирожденный москвич.

Гляжу на него во все глаза и ничего не понимаю. Он вынул из кармана телеграмму. Читаю: «Завтра скорым, Гарбер, Шютце».

— Завтра все узнаете. Со скорым прибывает прах де Лонга и матросов, погибших на «Жаннете».

На другой день Джон Смит по выходе из вагона представил меня прибывшим, и через час мы завтракали в «Славянском базаре».

Огромное впечатление произвел на меня рассказ о гибели экипажа «Жаннеты» среди льдов и вод, над которыми через пятьдесят лет мчали по воздуху советские герои-летчики челюскинцев и спасли сто одного человека с корабля, раздавленного льдами.

Гарбер и Шютце подробно рассказали о своем путешествии за поисками трупов товарищей и показали карты, рисунки и фотографии тех мест Севера, где они побывали.

Оба лейтенанта были еще молодые люди. Гарбер среднего роста, а Шютце выше среднего, плотного телосложения, показывающего чрезвычайно большую физическую силу. Лица у обоих были свежими, энергичными. Во время своего двухлетнего путешествия они чувствовали себя совершенно здоровыми, и только Шютце жаловался на легкий ревматизм, полученный в Якутске.

— В двадцати верстах от берега Ледовитого моря, — рассказывали Гарбер и Шютце, — при впадении западного рукава Лены, была метеорологическая русская станция Сагастир, где по временам жили доктор Бунге и астроном Вагнер, с двумя казаками и тремя солдатами, для метеорологических наблюдений. Кроме этого, по восточному и западному рукавам были разбросаны на громадных расстояниях между собой несколько тунгусских зимовок, из которых главнейшей считалась находящаяся на самой Лене, до разделения ее на рукава, тунгусская деревня Булом, отстоящая на расстоянии 1400 верст от Якутска.

От Булома и до самого Ледовитого океана тянется страшная тундра. Зимой эта тундра

представляет собой гладкую снеговую поверхность, а летом — необозримое болото, кое-где покрытое мелким березовым кустарником.

Когда пароход «Жаннета», затертый льдом, утонул в Ледовитом океане, за сто верст выше устья Лены, де Лонг с экипажем отправился южнее по льду и верстах в тридцати от берега пересел на три лодки, из которых одной командовал сам, другой инженер Мельвиль, а третьей лейтенант Чипп. Вследствие бури лодки были разделены друг от друга, расстались; Мельвиль попал в восточный рукав и благополучно достиг Якутска, Чипп с экипажем пропал без вести, а де Лонг, имевший карту устьев Лены с обозначением только трех рукавов, которыми она впадает в океан, ошибочно попал в одну из глухих речек, которая шла параллельно северному рукаву Лены и терялась в тундре.

Если бы де Лонг проплыл на лодке несколько верст западнее и попал в северный рукав, он был бы спасен, так как, поднимаясь вверх, достиг бы тунгусских деревень.

Поднявшись по глухой речке, де Лонг добрался до верховья ее, где нашел брошенную тунгусскую землянку, и, обессиленный, остался отдыхать с экипажем, а двоих матросов, Норосса и Ниндермана, отрядил на поиски жилых тунгусских стоянок, так как, найдя забытую землянку, предположил, что есть близко и селение.

Долго шли смельчаки Норосс и Ниндерман по снеговой тундре, без всякой надежды встретить кого-нибудь, и уже обрекли себя на гибель. Однако близ восточного рукава Лены встретили ехавшего на оленях тунгуса, направлявшегося к югу, который взял их с собой и привез в Северный Булом.

Это спасло смельчаков, хотя встреча была случайной. На такой дикий север тунгусы никогда не заходили зимой, а на этот раз встретившийся матросам и спасший их тунгус был послан старостой селения Булом к устью восточного рукава Лены, где летом забыли пешни, употребляемые для прокола льда во время ловли рыбы.

В Буломе матросам встретился ссыльный Кузьма Ермилов — человек довольно образованный, объяснившийся с матросами по-немецки, и передал им, что месяц назад здесь прошел Мельвиль с экипажем и отправился в Якутск.

Кузьма Ермилов съездил в Якутск и привез Мельвиля, который вместе с матросами отправился разыскивать де Лонга, но безуспешно.

В тундре были страшные бураны. Только на следующее лето Мельвиль, перезимовавший в Якутске, отправился с Ниндерманом и Нороссом на поиски и нашел тела товарищей близ той самой землянки, откуда матросы ушли на разведку. Тела были собраны Мельвилем и похоронены на каменном кургане, единственном возвышении в тундре. На кургане был воздвигнут большой деревянный крест с именами погибших.

Я видел рисунок этой могилы, сделанный г. Шютце: посреди голой тундры стоит высокий курган из дикого камня, на нем возвышается огромный крест, обложенный снизу почти на сажень от земли несколькими сотнями крупного булыжника.

Гарбер и Шютце на маленькой шхуне в сопровождении шести русских матросов, переводчика, сибирского казака Петра Калинкина и офицера Ганта, спасшегося со сгоревшего парохода «Роджерс» и добравшегося до Якутска, отправились на поиски Чиппа.

На десятый день они добрались до Булома, где к ним присоединился Кузьма Ермилов, и отправились дальше.

В продолжение всего лета, захватив часть осени, пешком и на шхуне путешественники обошли, не забыв ни одного протока, ни одного самого глухого местечка, всю дельту Лены и весь берег океана.

В ноябре они, измученные, усталые, отдыхали десять дней на метеорологической станции Сагастир, потом прожили несколько дней в пустой забытой зимовке тунгусов «Китах», затем, еще раз побывав на занесенной снегом могиле товарищей, погребенных Мельвилем, отправились в Якутск и сообщили о неудачных поисках экипажа лейтенанта Чиппа.

Из Нью-Йорка было получено приказание привезти тела де Лонга и его товарищей в Америку, что и было сделано лейтенантами Гарбером и Шютце. Ими же был привезен и

дневник де Лонга, который вел он до самой своей смерти в пустынной тундре.

Последние строки этого дневника такие: «Наш завтрак состоял из пол-ложки глицерина и куска сапога. Один бог знает, что будет с нами дальше…», и еще: «…съеден последний кусок сапога…» Жизнь автора кончилась с этими строками.

Оба лейтенанта были приняты и чествуемы редакцией «Русских ведомостей». Я показал им Москву, проводил их на вокзал и по их просьбе некоторое время посылал через них корреспонденции в «Нью-Йорк Геральд», которые там и печатались.

* * *

В 1892 году мне пришлось невольно сделаться безвестным корреспондентом английской газеты. Я был командирован редакцией на холеру в Донскую область, где болезнь свирепствовала с ужасающей силой. Холера была мне не в новинку. Еще в 1871 году, когда я шел в бурлацкой лямке, немало мы схоронили в прибрежных песках Волги умерших рядом с нами товарищей, бурлаков, а придя в Рыбинск и работая конец лета на пристани, в артели крючников, которые умирали тут же, среди нас, на берегу десятками и трупы которых по ночам отвозили в переполненных лодках хоронить на песчаный остров, — я немало повидал холерных ужасов. Вот почему я и принял эту командировку не задумываясь. Мне уже пришлось до поездки в Донскую область этим летом видеть холеру в Нижнем, во время ярмарки, и очень оригинальную с ней борьбу. Губернатором был тогда старый моряк генерал Н. М. Баранов, мужчина серьезный и уж очень энергичный. Когда разыгралась во время ярмарки холера вовсю, он самолично метался всюду и распоряжался. Купцам он прямо приказывал за свой счет оборудовать лазареты и, кроме того, на огромной барже на их счет создал прекрасно поставленный плавучий госпиталь, куда свозил больных. Сам Баранов являлся внезапно в какую-нибудь мастерскую или на завод, где много рабочих, производил осмотр и, конечно, всегда находил грязь и беспорядки. Нечистые спальни, грязные столовые, плохая пища, отсутствие кипяченой воды были всюду, как и до холеры. Найдя беспорядки и указав их, Н. М. Баранов приглашал хозяина сесть с ним в его пролетку, вез на набережную и лично отвозил на лодке прямо к плавучему госпиталю, где сдавал коменданту:

«Вот, получите нового служителя, пусть моет полы и ведра таскает», — и уезжал.

Когда человек пять таких тузов отправил он в госпиталь, все начали чистить, мыть, перестраивать и кормить рабочих и служащих свежей пищей в чистых столовых. В две недели Нижнего стало не узнать: чистота на улицах и на дворах.

Кроме купцов, отправленных в служители в холерный госпиталь, Баранов стал забирать шулеров, которые съехались, по обычаю, на ярмарку. Их он держал по ночам под арестом, а днем посылал на грязные работы по уборке выгребных и помойных ям, а особенно франтоватых с девяти часов утра до обеда заставлял мести площади и мостовые у всех на виду.

В толпе шулеров, очищающих Нижний от грязи во время холеры, старался с метлой в руках бритый, как актер, пожилой франт в котелке и модном пальто. Это было на площади против ярмарочного театра. Проезжал мимо Баранов и остановился. К нему подошел пристав:

— Ваше превосходительство! Как бы неловкости не вышло…

— Что такое?

— А вот извольте видеть этого бритого…

— Где взят?

— В игорном доме. Он сказал, что он уфимский городской голова. Как бы неловко…

— Да! — задумался Баранов и смотрит, как все метут-стараются.

— Что же прикажете, ваше превосходительство?

— Ну, если… городской голова… Так отправить его мести мостовую наверх, в город, перед Думой! — и поехал. Потом, обернувшись, крикнул:

— Пусть метет три дня перед Думой!

Много тогда поработал по холере доктор и писатель С. Я. Елпатьевский, который своей неутомимостью, знанием местных условий и народа спас тысячи людей.

С. Я. Елпатьевский работал в самых опасных местах — в притонах Канавина, на пристанях, главным образом на Песках, до отказа заселенных рабочим народом.

* * *

В июле я выехал на Дон. За Воронежем уже стала чувствоваться холера. Наш почти пустой скорый поезд встречал по пути и перегонял на станциях санитарные поезда с окрашенными в белую краску вагонами, которые своим видом наводили панику. Здесь на них не обращали внимания, но на глухих станциях мне не раз приходилось слышать:

— В белых вагонах — это холеру везде развозят, чтобы народ морить… Кому надо народ морить? Как холеру развозят? Зачем и кто? — так рассуждали и говорили.

Ехать в поезде было невесело. Жара страшная. Станции пусты и провоняли донельзя карболкой.

Я решил начать поездку с Ростова, а потом пробраться или в верховья Дона, или на Волгу, через станцию Калач.

Первая встреча с холерой была у меня при выходе из вагона в Ростове. Подхожу к двери в зал первого класса — и передо мной грохается огромный, толстый швейцар, которого я увидел еще издали, сходя с площадки вагона. Оказалось — случай молниеносной холеры. Во время моей поездки я видел еще два таких случая, а слышал о них часто.

Неделю я провел верхом вдвоем с калмыком, взятым по рекомендации моего старого знакомого казака, который дал мне свою строевую лошадь и калмыка провожатым. В неблагополучных станицах мы не ночевали, а варили кашу и спали в степи. Все время жара была страшная. В редких хуторах и станицах не было разговора о холере, но в некоторых косило десятками, и во многих даже дезинфекция не употреблялась: халатность полная, мер никаких.

В одной из станиц в почтовой конторе во время приема писем упал и умер старший почтовый чиновник, и все разбежались. Пришлось чужому, проезжему человеку потребовать станичное начальство, заставить вынести из конторы тело, а контору запереть, чтобы не разграбили.

Это был второй случай молниеносной холеры. Третий я видел в глухой степи, среди артели косцов, возвращавшихся с полевых работ на родину. Мы ехали по жаре шагом. Впереди шли семеро косцов. Вдруг один из них упал, и все бросились вперед по дороге бежать. Остался только один, который наклонился над упавшим, что-то делал около него, потом бросился догонять своих. Мы поскакали наперерез бежавшим и поймали последнего.

— Что случилось? Что ты взял у него?

— Паспорт и деньги, братеник это мой, чума заела… Двое вернулись, смело подошли к нам и объяснили, что они воронежские, были на сенокосе, отработали и шли домой. Их было одиннадцать человек, но дорогой четверо умерли.

— От этой самой чумы. Четверо на земле умерли, а этот прямо… шел-шел — хлоп, и готов! Во, его братеник он!

Бледные, дрожат.

Почему они холеру звали чумой — так я и не спросил. Да вообще разговаривать было некогда, да и не к чему — помочь нельзя, ближайший хутор верстах в десяти, как сказал калмык.

Немало таких брошенных трупов валялось по степи. Их присутствие было видно издали по стаям коршунов и воронья…

Я привожу здесь маленький кусочек из этой поездки, но самое описание холерных ужасов интересно было в то время для газетной статьи, а теперь интереснее припомнить кое-что из подробностей тех дней, припомнить то, что уж более никогда не повторится, — и

людей таких нет, и быт совсем другой стал.

Как и всегда во всех моих репортерских изысканиях, да вообще во всех жизненных приключениях, и на этот раз мне, как говорится, повезло.

Когда упавшего швейцара унесли, я сел за столик в буфете и заказал яиц всмятку.

Едва я доел последнее яйцо, вырабатывая в голове, с чего и как начать мои исследования, как ко мне подошел сотник первого казачьего полка, спортсмен, мой старый знакомый и сотрудник «Журнала спорта».

— Владимир Алексеевич, где путь держите?

Истый казак, несмотря на столичную культуру, сказался в нем. Ведь ни один казак никогда не спросит, куда едете или идете, — это считается неприличным, допросом каким-то, — а так, как-нибудь стороной, подойдет к этому. Слово же «куда» прямо считается оскорблением.

«Куда идешь?» — спросит кто-нибудь, не знающий обычаев, у казака.

И в ответ получит ругань, а в лучшем случае скажут:

«Закудыкал, на свою бы тебе голову!..»

Если же встречаются друзья, которым друг от друга скрывать нечего, то разрешается полюбопытствовать:

«Где идете (или едете)?»

В ответ на его вопрос я рассказываю ему цель своей поездки: осмотреть холеру в степи, по станицам и хуторам, а потом заехать в Новочеркасск и взять официальные данные о ходе эпидемии.

— И надумал я нанять пару лошадей, доехать до одной станицы, конечно, составив предварительно маршрут, в станице снова нанять лошадей до следующей, и так далее, и закончить Новочеркасском.

— Так. Только едва ли закончите Новочеркасском, как бы в степи не побывшиться… Ведь в тех же телегах, на которых вы будете ездить, и холерных возят… Долго ли до греха…

— Что же делать?

— Что делать? А вот сперва выпить хорошего вина, а потом оно и покажет, что делать… А дело-то простое. Сейчас едем ко мне на хутор: там у меня такой третьегодняшний самодав — пальчики оближешь! Да и старые вина есть первосортные, — отец сам давит… Вот уж выморозки так выморозки — ум проглотишь! Ни у Соколова, ни у Меркуловского ничего подобного!

— Это очень завлекательно, но ведь у меня дело важное. Сейчас я наметил первым делом в город — купить бурку, чайник медный и кое-что из съестного…

— Так. И чайник, и бурку, и казанок с треногой, и суму переметную пойдем купим. До поезда еще часа два. А потом в вагон и ко мне на хутор, а маршрут мы вам с отцом составим, он все знает.

Пошли за покупками.

— А ведь вам везет! — сказал он дорогой.

— В чем?

— Да вот хоть в этом! Я уж все обдумал, и выйдет по-хорошему. На ваше счастье мы встретились: я и в город-то случайно, по делу, приезжал — безвыходно живу на хуторе и хозяйствую. Я уж год как на льготе. Пару кровных кобыл купил… свой табунок, виноградничек… Пухляковский виноград у меня очень удался ныне. Да вот увидите. Вы помните моего старого Тебенька, на котором я в позапрошлом году офицерскую скачку взял? Вы его хотели еще в своем журнале напечатать…

— Хорошо помню — караковый полукровок, от Дир-боя.

— Три четверти кровный! Вот на нем-то вы и поедете по степям. Плохому ездоку не дал бы, а вам с радостью! Из всякой беды вынесет.

— Ну, а как же… — заикнулся я, но он меня перебил:

— Да вот так же, вам всегда везет, и сейчас тоже! Вчера приехал ко мне мой бывший денщик, калмык, только что из полка отпущенный на льготу! Прямо с поезда, проездом в

свой улус, прежде ко мне повидаться, к своему командиру… Я еду на поезд — а он навстречу на своем коне… Триста монет ему давали в Москве — не отдал! Ну, я велел ему дожидаться, — а вышло кстати… Вот он вас проводит, а потом и мою лошадь привет дет… Ну, как, довольны? — и хлопнул меня по плечу.

— Счастлив! Александр… Александр…

— Ну, уж вы меня попросту, как отец зовет, Санькой! Ты, мол, Санька!

— Ну ладно, спасибо тебе, Саня!

* * *

На полустанке нас ждала пара прекрасных золотистых полукровок в тачанке, и на козлах, рядом с мальчуганом-кучером, в полной казачьей форме калмык. Он спрыгнул и вытянулся.

— Здравствуй, Ваня! Хорошо, что дождался, а я хочу тебе на неделю службу дать.

— Рад стараться, ваше благородие.

Дорогой мы все переговорили. Я спросил у калмыка его имя.

— Иван, — так меня, когда я в денщики к их благородию поступил, они меня назвали, и весь полк так звал! — очень чисто, почти без акцента ответил мне калмык.

Двое суток я прожил у милых казаков. Старик, участник турецкой кампании на Балканах, после серьезной раны безвыходно поселился на хуторе и хозяйствовал. Его дом был полная чаша, а жена, красавица с седыми кудрями, положительно закормила меня. Такого каймака я никогда и нигде не ел! Отец угощал удивительными десятилетними наливками и старыми винами, от которых голова свежая, сиди за столом и пей, только встать не пробуй — ноги не слушаются! Сначала отец как-то поморщился, узнав, что сын дает мне своего Тебенька, но когда на другой день мы устроили кавалькаду и я взял на нем два раза ограду, — он успокоился, и мы окончательно подружились. Я фотографировал группы семьи — вся семья только трое: отец, мать и холостой Саня, — потом снял калмыка, а потом… Вот я о чем жалел, когда выехал на холеру, — забыл у них свой кодак, засунув его в книги, и получил его почтой в Москву вместе с чудным окороком и гусиными копчеными полотками. (В кодаке было снято пять пластинок — в том числе был и калмык.)

«А вина и наливки пришлю после, с какой-нибудь оказией, а то эти подлецы на почте не приняли, и пришлось Саньше посылку перекупоривать», — было в письме от старика.

И действительно, зимой прислал!

А как хлопотала сама хозяйка, набив сумку съестным, — а главное, что больше всего пригодилось, — походными казачьими колобками, внутри которых находилось цельное круто испеченное яйцо! Была ветчина малосольная, пшено, рис, чудное сало, запас луку и чесноку. А каким великолепным поваром оказался мой калмык, питавший меня ежедневно в обед и в ужин кулешом, в который валил массу луку и чесноку — по рекомендации моих хозяев, против холеры лучшее средство. О напитках тоже позаботились. И, напутствуя меня, когда я уже был готов к отъезду, старый казак надел мне на шею большой медный крест на шелковом гайтане.

— Против холеры первое средство — медь на голом теле… Старинное средство, испытанное!.[2]

Вспомнил я, что и старые бурлаки во время холеры в Рыбинске носили на шее и в лаптях, под онучами, медные старинные пятаки.

Приняв от него это благословение, я распрощался с милыми людьми, — и мы с Иваном очутились в выгоревшей, пыльной степи… Дальнейшие подробности со всеми ужасами опускаю, — да мне они уж и не казались особенными ужасами после моей командировки

---

[2] Теперь, когда я уже написал эти строки, я рассказал это моему приятелю врачу-гомеопату, и он нисколько не удивился

несколько лет тому назад за Волгу, в Астраханские степи, на чуму, где в киргизских кибитках валялись разложившиеся трупы, а рядом шевелились черные, догнивающие люди, И никакой помощи ниоткуда я там не видел!

Насмотрелся я картин холеры, исписал три записные книжки.

Мы стали приближаться к Новочеркасску. Последнюю остановку я решил сделать в Старочеркасске, — где, как были слухи, много заболевало народу, особенно среди богомольцев, — но не вышло. Накануне, несмотря на прекрасное питание, ночлеги в степи и осторожность, я почувствовал недомогание, и какое-то особо скверное: тошнит, голова кружится и, должно быть, жар.

У нас во время холеры как предохранительное средство носили на шее медные пластинки. Это еще у Ганнемана есть.

Я ничего не сказал калмыку, а только заявил, что завтра поедем прямо в Новочеркасск, а в Старочеркасск заезжать не будем, хотя там висят на паперти собора цепи Стеньки Разина, которые я давно мечтал посмотреть. А слыхал я о них еще во времена моей бродяжной жизни, в бессонные ночи, на белильном заводе, от великого мастера сказки рассказывать, бродяги Суслика, который сам их видал и в бывальщине о Степане Тимофеиче рассказывал, как атамана забрали, заковали, а потом снова перековали и в новых цепях в Москву повезли, а старые в соборе повесили для устрашения…

Если я не поехал посмотреть эти цепи, так значит, уж мне плохо пришлось! Я даже отказался, к великому горю Ивана, ужинать и, по обыкновению завернувшись в бурку, седло под голову, лег спать, предварительно из фляги потянув полыновки и еще какой-то добавленной в нее стариком спиртуозной, очень вкусной смеси.

Ночь была теплая, и я проснулся утром, когда солнце взошло. Голова кружилась, тошнило. Наконец я сказал Ивану, который уже вскипятил чай:

— Уж не холера ли со мной? Ведь со вчерашнего дня!

— Никак нет, ваше благородие, а впрочем, все может быть! Только это ничего — пропотеть, и все пройдет! Напьемся чайку.

Он и о себе и обо мне одинаково говорил «мы» — чисто денщицкая привычка.

«Что нового?» — спросили денщика одного полкового адъютанта.

«Есть новость! Так что мы с барином женимся, его благородие полковницку дочку засватали»…

— Напьемся чайку напополам с вином (которого он и в рот не брал), а потом наденем на себя бурку да наметом, наметом, пока скрозь не промокнем, — и всякая боль пройдет! К Черкасску здоровы будем!

А меня дрожь пробирает и тошнит.

Поседлал Иван, туго затянул подпруги — и ахнули мы с ним вместе широким наметом — только ветер свистит кругом да голову отворачиваешь! Давно я так не скакал, а без тренировки задыхаешься. Да еще слабость…

Иногда, когда Иван отставал, я сдерживал моего Тебенька, — но сын славного Дир-боя, отмахав верст двадцать, был свеж, только фырчит, ноздри раздувает, а повода не спускает, все попрашивает. И у калмыка хорош конь — тоже свеж.

— Он от Подкопаевского Тумана… Лошади цены нет, — хвалился Иван.

Я был мокрый насквозь, но чувствовал себя бодро.

— Ваня, а ведь я здоров!

— Пропотел — и здоров. Это «она» была с вами! Ляг только — застынешь и умрешь!.. Может, кашу сварить?

— Нет уж, не стоит…

— Так винца выпейте!

Через час мы были в Новочеркасске, у подъезда «Европейской гостиницы», где я приказал приготовить номер, а сам прямо с коня отправился в ближайший магазин, купил пиджачную пару, морскую накидку, фуражку и белье. Калмык с лошадьми ждал меня на улице и на все вопросы любопытных не отвечал ни слова, притворяясь, что не понимает.

Вымуштрованный денщик был — и с понятием!

* * *

До сего времени не знаю, был ли это со мной приступ холеры (заразиться можно было сто раз) или что другое, но этим дело не кончилось, а вышло нечто смешное и громкое, что заставило упомянуть мою фамилию во многих концах мира, по крайней мере в тех, где получалась английская газета, выходившая в миллионах экземпляров.

Отпустив калмыка, я напился чаю и первым делом пошел в редакцию газеты «Донская речь», собрать кое-какие данные о холере. Газета подцензурная, и никаких сведений о холере, кроме кратких, казенных, в ней не было. Чтобы получить подробные официальные сведения о ходе холеры во всей области, мне посоветовали обратиться в канцелярию наказного атамана. Между прочим, шутя я рассказал в редакции о том, как меня калмык от холеры вылечил.

Я отправился в канцелярию, и только вышел, встречаю знакомого генерала А. Д. Мартынова, начальника штаба, в те дни замещавшего наказного атамана, бывшего в отпуску. Я ему сказал, что иду в канцелярию за справками.

— Не беспокойтесь, все у меня в руках, все будет сделано, а теперь ко мне завтракать; мне карачаевских барашков привезли да икры ачуевской!

— С удовольствием!

— Вы из Москвы? Ну, как там?

Не успел я ответить, как из-за угла выскочили два бешено мчавшихся всадника — офицер и казак.

— Стой! — крикнул казаку офицер, на всем скаку посадил на задние ноги коня, казак на лету подхватил брошенные поводья, а офицер, вытянувшись в струнку, отрапортовал генералу:

— Сейчас я остановил поезд-шахтерку на посту. Обошел все вагоны, нашел троих холерных, высадил их и отправил в холерный барак.

— Подальше, подальше, Василий Иванович, а то еще холеру принесете. Поезжайте переоденьтесь!

А сам назад пятится.

— Слушаю, ваше превосходительство! — откозырял офицер, прямо с земли, без стремени прыгнул в седло и умчался с казаком.

— Это Власов! Наш полицмейстер, отчаянная голова… Да! Да! Вы из Москвы сейчас?

— Нет, из степи! — И я рассказал ему сделанный мной маршрут, украсив его виденными картинами.

Изменился еще больше, чем от рапорта Власова, генерал:

— Так это вы из самого очага холеры?! Посмотрел на часы.

— Знаете? Ведь мы опоздали! Уж второй час, а я думал — двенадцать! Пойдемте завтракать в «Ротонду», у меня дома, я думаю, позавтракали.

А сам все жмется от меня. Пришли в городской сад, в «Ротонду», где я за завтраком рассказал, какие мне надо получить сведения.

— Канцелярия не даст! И я ничего не могу сделать — о шествии холеры мы даже в Петербург сообщаем в пакетах с подписью «совершенно секретно»… Циркуляр строжайший, а главное, чтобы в печать не попало!

Из ресторана я пришел в номер, купив по пути пачку бумаги. Я решил прожить два дня здесь, на свободе привести в порядок мои три сплошь исписанные записные книжки, чтобы привезти в Москву готовые статьи, и засел за работу.

После обеда, на другой день, я опять был в «Донской речи», и редактор мне подал гранку «Калмыцкое средство от холеры», перекрещенную красными чернилами.

В двадцати строках рассказано происшествие с корреспондентом «Русских ведомостей», — далее полностью мои инициалы и фамилия. Точь-в-точь как было!

Гранку эту отдали мне, и по приезде в Москву я показал ее — и все много смеялись.

В числе видевших гранку был репортер «Петербургского листка» И. М. Герсон.

Дня через три вдруг я вижу в этой газете заметку «Средство от холеры» — по цензурным условиям ни о Донской области, ни о корреспонденте «Русских ведомостей» не упоминалось, а было напечатано, что «редактор журнала «Спорт» В. А. Гиляровский заболел холерой и вылечился калмыцким средством: на лошади сделал десять верст галопа по скаковому кругу — и болезнь как рукой сняло».

Прошло недели две. В редакции «Русских ведомостей» заведующий иностранными газетами А. Е. Крепов преподнес мне экземпляр газеты, в которой была перепечатана эта заметка из «Петербургского листка».

Еще в некоторых иностранных газетах появился перевод заметки из «Петербургского листка» — так тогда заграница интересовалась холерой!

Это курьез из моей репортерской поездки, но она дала мне и нечто более серьезное.

* * *

За полгода до моей поездки на холеру, в Москве, на одной из студенческих тайных вечеринок в пользу Донского землячества, я прочел мою поэму «Стенька Разин».

Поэма эта как запрещенная всегда имела у молодежи успех, а у донцов особенный. Во время обычных танцев после программы на эстраде я отдыхал в буфете. Ко мне подошел знакомый композитор и музыкальный хроникер Грабовский и попросил разрешения представить мне свою жену, донскую казачку, которая очень заинтересовалась поэмой. Познакомились. Она рассказала, что ее отец известный на Дону педагог, теперь уже живущий на пенсии, еще будучи студентом и учителем в станице, много работал по собиранию материала о Стеньке Разине, и если я позволю ей переписать это стихотворение для ее отца, то доставлю ему нескончаемое удовольствие.

— Мне думается, что если бы вы с ним повидались, то от него получили бы, наверное, много неизвестных данных. Так, например, я помню, отец всегда говорил, что казнь Разина была не на Красной площади, как пишут историки, а на Болоте.

Я удивился — в первый раз слышу!

— Он очень счастлив будет получить поэму о его любимом герое. А если будете на Дону — повидайте его обязательно!

Я записал адрес и обещал прислать стихи, но как-то, за суетой, так и не послал.

* * *

Сидя третий день в номере «Европейской гостиницы», я уже кончал описание поездки, но вспомнил о цепях Стеньки Разина, и тут же пришло на память, что где-то в станице под Новочеркасском живет известный педагог, знающий много о Разине, что зовут его Иван Иванович, а фамилию его и название станицы забыл.

Я отправился на счастье в «Донскую речь», — может быть, там знают известного педагога Ивана Ивановича и помнят его фамилию. В кабинете редактора были еще два сотрудника.

— Какой у вас на Дону есть известный педагог Иван Иванович? Я его фамилию забыл!

— Иван Иванович? — в один голос сказали все трое. — Да мы все трое ученики его… Он воспитал три поколения донцов. Кто не знает нашего любимого учителя!.. Инспектор реального училища! Теперь на пенсии!

И с какой любовью они рассказывали об этом старике!

Иван Иванович из простых казаков. Кончил гимназию, кончил математический факультет Харьковского университета, и, как лучшему выпускнику, ему предложено было остаться при университете, но он отказался:

«У нас на Дону ученые нужнее!»

Вернулся на Дон и поступил на службу народным учителем в станице. И долго он был народным учителем, а потом наконец перешел учителем в гимназию в Новочеркасск, а затем, много-много лет прослужив учителем математики, получил место инспектора реального училища, продолжая в нем и преподавание. Он пользовался общей любовью всего Дона, ученики чуть не молились на него, начальство уважало его за знания и за исключительную честность, но невзлюбил его наказной атаман Святополк-Мирский, присланный на эту должность из Петербурга.

«Святополк-Окаянный», — звали его все донцы, ненавидя за всевозможные пакости.

На несчастье Ивана Ивановича, в реальном училище учились два племянника Святополка, франтики и лентяи. Иван Иванович два года подряд оставлял их в одном и том же классе, несмотря на то, что директор, по поручению Святополка, просил Ивана Ивановича поставить им на выпускном экзамене удовлетворительный балл:

«Родственники атамана! Надо сделать!»

«Для меня все ученики равны, а до того, что им атаман-родственник, мне нет дела!»

И вкатил им по двойке. Пришлось им выйти из училища, но пришлось выйти из училища и Ивану Ивановичу…

Как уж там атаман устроил — любимца-педагога уволили с крохотной пенсией.

Все возмутились, но сделать ничего нельзя было. Отозвались тем, что начали ему наперебой давать частные уроки, — и этим он существовал, пока силы были. Но пришла старость, метаться по урокам сил нет, семьища — все мал мала меньше… В нужде живет старик в своем домишке в станице Персияновка.

— Спросите там Ивана Ивановича — всякий укажет!

Тут я и станицу вспомнил, записанную в потерянном мной адресе: Персияновка!

Через час извозчик привез меня в станицу верстах в десяти от города.

Я застал старика с большой седой бородой, в одной рубахе и туфлях, с садовым ножом в руках за обрезкой фруктовых деревьев в прекрасном садике. Я передал ему поклон от дочери и рассказал о цели моего приезда.

— Рад, очень рад! А вот первым делом пойдем обедать, слышите — зовут, а после обеда и поговорим.

Старик представил меня жене, пожилой, но еще красивой южной, донской красотой. Она очень обрадовалась поклону от дочери. За столом сидели четыре дочки лет от четырнадцати и ниже. Сыновей не было — старший был на службе, а младший, реалист, — в гостях. Выпили водочки — старик любил выпить, а после борща, «красненьких» и «синеньких», как хозяйка нежно называла по-донскому помидоры, фаршированные рисом, и баклажаны с мясом, появилась на столе и бутылочка цимлянского.

Когда дети ушли, начался наш разговор.

Я прочел отрывки из моей поэмы, причем старушка не раз прослезилась, а Иван Иванович тоже расчувствовался и сказал:

— Превосходно! Это, пожалуй, лучшее из всего, что я читал о Разине. Только позвольте мне указать на некоторые детали. Повторите мне первые строки казни.

Читаю:

…Утро ясно встает над Москвою,
Солнце ярко кресты золотит,
И народ еще с ночи толпою
К Красной площади, к казни спешит…

— Вот тут историческая неверность, впрочем, — сказал он, — утвержденная нашими учеными историками; на самом деле Разин казнен не на Красной площади, а на Болоте. Я могу утверждать это. Со студенческой скамьи и в первые годы учительства, холостым еще, я страстно увлекся двумя нашими героями — Разиным и Булавиным, а потом и потерпел за это увлечение — был под надзором, и все работы мои пропали. Вот она знает кое-что… На мою

карьеру повлияло: сколько лет в городе места не давали. Разин-то еще не так, а вот особенно за Булавина досталось. Больше Разина его боялись! Да и о Стеньке песни только в степях певали, а в училищах строго запрещалось! Вот тогда еще узнал я о казни на Болоте — рылся у нас в архивах, хотел в Москву ехать, худа донские дела того времени были от нас отосланы, а как случилась беда — все бросил! Вот сейчас с вами в первый раз разговариваю о нем.

И много мне Иван Иванович рассказал из преданий, сохранившихся в семьях потомков разинцев, хранивших эти предания от своих дедов, прадедов, участников разинского бунта, присутствовавших при казни, видевших, как на Болоте четвертовали их атамана и как голову его на высокий шест, рядом с помостом, поставили на берегу Москвы-реки.

— Тогда, перед казнью, много наших донцов похватали! Приехали они в Москву атамана спасать. Похватали и сослали кого в Соловки, кого куда. Уж через пять лет, когда воцарился Федор, вернули, и многие из них шли через Москву и еще видели на шесте, против Кремля, на Болоте, голову своего атамана.

Назвал он мне несколько фамилий, где еще живы предания меж стариков.

— Только вряд ли старики говорить будут. Опасаются чужих людей. Есть и прямые потомки Разина.

Пришли дети к чаю и перебили как раз на этих словах наш разговор. При детях старик об этом не говорил.

Потом, на закате, на скамейке в саду он жалел, что пропали все песни и сказы о Разине, которые он собрал.

— Особенно жаль одну былину, в Пятиизбянской станице я ее записал: о голове Стеньки, которая в полночь с Москвой-рекой разговаривает о том, что опять Разин явится на земле и опять поведет народ.

Я хотел уехать с почтовым поездом, — станция была рядом, — но он оставил меня ночевать и много-много рассказывал из донской старины. По его просьбе я раза три прочел ему поэму и обещал ее прислать.

Прощаясь, он сделал еще замечание:

— Да вот еще Фролка. У вас его казнили вместе с атаманом. Это неправда. Его отвели в тюрьму и несколько лет пытали и допрашивали, где Степан клады зарыл. Возили его сыщики и по Волге, и к нам на Дон привозили. Старики в Кагальнике мне даже места указывали, где Фролка указывал. Места эти разрывали, но нашли ли что, никто не знает, тайно все делалось. Старики это слыхали от своих дедов очевидцев.

У казаков, с издревле и до последнего времени, говорится не Степан Разин, а Стенька. Это имя среди казаков почетнее.

«Стенька, Фролка — это пережиток старого, это позорящие имена. Надо говорить Степан, Фрол», — нередко приходится слышать такие замечания.

Это неверно. По-староказацки Стенька, Фролка — почетно. Такое прозвище заслужить надо.

Старинная песня пела про атамана, что «на том струге атаман сидит, что по имени Степан Тимофеевич, по прозванию Стенька Разин сын».

Это же было и с его предшественником, другим Тимофеевичем, Ермаком. Ермак — прозвание, его имя было Ермил. «Атаманом быть Ермилу Тимофеевичу», — поют в одной песне. В другой Ермак о себе: «Я шатался, мотался, Ермил, разбивал я, Ермил, бусы-корабли». Это было в донской его период, а потом, когда он на Волге и в Сибири прославился, — из Ермила стал Ермаком. На Дону и на низовьях Волги это было особенно в моде.

У Л. Н. Толстого в «Казаках» есть Ерошка. На самом деле это был удалец, герой, старый казак Епифан Сехин, но его из почтения звали дядя Епишка.

Когда его племянник, сын его брата Михаила, Димитрий Сехин, войсковой старшина, был в гостях в Ясной Поляне и назвал Льва Николаевича графом, — тот обиделся. Тогда Сехин стал его звать «Лев Николаевич».

«Нет, вы меня попроще, по-гребенскому. Как бы меня, старика, там вы звали?»
«Как самого почтенного человека — дядя Левка».
«Ну вот и хорошо, дядя Левка и зовите».
Многие незнающие редакторы исправляют Стеньку на Степана. Это большая и обидная ошибка: Стенька Разин — это почетно. Стенька Разин был один, а Степанов много…
— Поройтесь в московских архивах и летописях того времени! — посоветовал мне на прощанье Иван Иванович.

* * *

Я записал рассказы старика и со скорым поездом выехал в Москву, нагруженный материалами, первое значение, конечно, придавая сведениям о Стеньке Разине, которых никогда бы не получил, и если бы не был репортером, легенда о Красной площади жила бы нерушимо и по сие время.
Вернувшись, я первым делом поблагодарил дочь Ивана Ивановича за знакомство с отцом, передал ей привет из дома и мою тетрадь со стихами, где был написан и «Стенька Разин». Стихи она впоследствии переписала для печати. В конце 1894 года я выпустил первую книгу моих стихов «Забытая тетрадь».
Но, издавая книгу, я, не имея документальных данных, напечатал о казни Стеньки Разина на Красной площади и вскоре, проездом на Дон, лично вручил мою книгу Ивану Ивановичу.
— Все-таки на Красной площади? — улыбнулся он.
— Да, не хотел пока идти против всех. Ведь и в песнях о Разине везде поют, что

В Москве на Красной площади
Отрубили ему буйну голову!

— Ну, конечно, так красивее! А все-таки!..
Он так много рассказал мне, что во втором издании «Забытой тетради», в 1896 году, я сделал ряд изменений в поэме и написал:

…А народ еще с ночи толпою
К месту казни шумливо спешит.

— Вот насчет Фролки… Ну это так, для стиха хорошо:

Изрубили за ним есаула,
На кол головы их отнесли… —

читает он по книжке. — О, все-таки поройтесь в архивах!
— Да я уж пробовал, Иван Иванович! Обратился к самому главному начальнику с просьбой поискать материалов по бунту Разина для литературной работы, но его превосходительство так меня пугнуло, что я отложил всякие попытки.
«Прославлять вора, разбойника, которого по церквам проклинают!»
Горячилось его превосходительство, двигая вставными челюстями, и грозило принять какие-то меры против меня лично, если я осмелюсь искать материалы.
«Пока я жив, и вообще пока существует цензура, — этого не будет. Пока…»
Я не дал ему договорить, повернулся и, уходя, сказал: «Подождем, ваше превосходительство!»
Расхохотался Иван Иванович, хлопнул меня по плечу и ласково сказал:
— Дождешься, еще молод… Дождешься!

* * *

Я вернулся в Москву из поездки по холерным местам и сдал в «Русские ведомости» «Письмо с Дона», фельетона на три, которое произвело впечатление на В. М. Соболевского и М. А. Саблина, прочитавших его при мне. Но еще более сильное впечатление произвели на меня после прочтения моего описания слова Василия Михайловича:

— Удивительно интересно написано, но нельзя печатать!

И он показал циркуляр, запрещающий писать о холере.

* * *

Я не любил работать в редакции — уж очень чинно и холодно среди застегнутых черных сюртуков, всех этих прекрасных людей, больших людей, но скучных. То ли дело в типографии! Наборщики — это моя любовь. Влетаешь с известием, и сразу все смотрят: что-нибудь новое привез! Первым делом открываю табакерку. Рады оторваться от скучной ловли букашек. Два-три любителя — потом я их развел много — подойдут, понюхают табаку и чихают. Смех, веселье! И метранпаж рад — после минутного веселого отдыха лучше работают.

— Что нового принесли? — любопытствует метранпаж И. П. Яковлев.

— Да вот, буду сдавать, Иван Пафнутьич.

И бегу в корректорскую. Пишу на узких полосках, отрываю и по десяти строчек отсылаю в набор, если срочное и интересное известие, а время позднее. Когда очень эффектное — наборщики волнуются, шепчутся, читают кусочками раньше набора. И понятно: ведь одеревенеешь стоять за пахучими кассами и ловить, не глядя, освинцованными пальцами яти и еры, бабашки и лапочки или выскребать неуловимые шпации…

Тогда еще о наборных машинах не думали, электричества не было, а стояли на реалах жестяные керосиновые лампы, иногда плохо заправленные, отчего у наборщиков к утру под носом было черно… Пахнет копотью, керосином, свинцовой пылью от никогда не мытого шрифта.

Как же не обрадовать эту молчаливую рать тружеников! И бросишь иногда шутку или экспромт, который тут же наберут потихоньку, и заходит он по рукам. Рады каждой шутке. Прямо, как войдешь, так и видишь, что набирают что-нибудь нудное: или передовую, или отчет земского заседания, или статистику. А то нервничают с набором неразборчивой рукописи какого-нибудь корифея. Особенно ругались, набирая мелкие и неясные рукописи В. И Немировича-Данченко. Специально для него имелись два наборщика, которые только и привыкли разбирать его руку. Много таких «слепых» авторов было, и бегают наборщики друг к другу:

— Чего это накарябано — не разберу?

Жаль смотреть в такие вечера на наборщиков, и рады они каждому слову.

— Что новенького, Владимир Алексеевич? — И смотрят в глаза.

Делаешь серьезную физиономию, показываешь бумажку:

— Генерал-губернатор князь Долгоруков сегодня… ощенился!

И еще серьезнее делаешь лицо. Все оторопели на миг… кое-кто переглядывается в недоумении.

— То есть как это? — кто-то робко спрашивает.

— Да вот так, взял да и ощенился! Вот, глядите, — показываю готовую заметку.

— Да что он, сука, что ли? — спрашивает какой-нибудь скептик.

— На четырех лапках, хвостик закорючкой! — острит кто-то под общий хохот.

— Четыре беленьких, один рыжий с подпалинкой!

— Еще слепые, поди! — И общий хохот.

А я поднимаю руку и начинаю читать заметку. По мере чтения лица делаются серьезными, а потом и злыми. Читаю:

«Московский генерал-губернатор ввиду приближения 19 февраля строжайше воспрещает не только писать сочувственные статьи, но даже упоминать об акте освобождения крестьян».

Так боялась тогда администрация всякого напоминания о всякой свободе!

Слово «ощенился» вошло в обиход, и, получая статьи нелюбимых авторов, наборщики говорили:

— Этот еще чем ощенился?

Спустя долгое время я принес известие об отлучении Л. Н. Толстого от церкви и объявил в наборной:

— Победоносцев ощенился!

— Ну, уж в это не поверим! — послышалось из угла.

— Ну, опоросился! — крикнули из другого.

— Вот это вернее! — И опять общий хохот.

Любили стихи наборщики. В свободные минуты просили меня прочесть им что-нибудь, и особенно «Стеньку Разина». Когда же справляли 25-летний юбилей метранпажа А. О. Кононова, то ко мне явилась депутация от наборной с просьбой написать ему на юбилей стихи, которые они отпечатали на плотной бумаге с украшением и поднесли юбиляру.

Я написал:

В жизни строгой и суровой,
Труд поставив за кумир,
Был ты в армии свинцовой
Четверть века командир.
Некрасивы, молчаливы
Эти полчища солдат.
Четверть века ты на диво
Выставлял их в стройный ряд.
Чуть лишь полчище готово,
Вмиг солдаты оживут, —
Воплощал в живое слово
У станка безмолвный труд…
Тяжким воздухом свинцовым
Четверть века ты дышал,
Был всегда к труду готовым,
День работал, ночь не спал.
Велика твоя заслуга:
Средь рабочей суеты
Для чужого и для друга
Был всегда отзывчив ты.
С честью званье человека
Носишь в жизни ты своей…
Счастлив будь! Чрез четверть века
Справим новый юбилей!

Стихотворную мою шутку на пьесу Л. Н. Толстого «Власть тьмы» в день ее первой постановки на сцене разнесли по Москве вмиг. На другой вечер всюду слышалось:

В России две напасти:
— Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти…

* * *

Весело было в наборной и корректорской! К двенадцати часам ночи, если не было в Москве какого-нибудь особо важного случая, я всегда в корректорской. Здесь в это время я писал срочные заметки для набора и принимал моих помощников с материалом. Я приспособил сотрудничать небольшого чиновника из канцелярии обер-полицмейстера, через руки которого проходили к начальству все экстренные телеграммы и доклады приставов о происшествиях. Чиновник брал из них самый свежий материал и ночью приносил мне его в корректорскую. Благодаря ему мы не пропускали ни одного интересного события и обгоняли другие газеты, кроме «Московского листка», где Н. И. Пастухов имел другого такого чиновника, выше рангом, к которому попадали все рапорты раньше и уже из его рук к младшему, моему помощнику. У меня был еще сотрудник, Н. П. Чугунов, который мнил себя писателем и был о себе очень высокого мнения, напечатав где-то в провинции несколько сценок. У меня же он ограничивался ежедневным доставлением из типографии «Полицейских ведомостей», в которых сообщалось о приехавших и выехавших особах не ниже четвертого класса. Безобидный, мирный, громадный человечина был Н. П. Чугунов, но я раз шуткой его обидел.

В свободное между заметками время, за чаем, в присутствии корректоров, метранпажа и сотрудников я сказал, что приготовил для издания книгу своих рассказов и завтра несу ее в набор.

— Я тоже готовлю том своих сочинений! — важно заявил Н. П. Чугунов.

— Почему же не два, Николай Петрович, у тебя и на два наберется! Первый том — приехавшие, а второй — выехавшие!

Через год Н. П. Чугунов отомстил мне. Когда моя книга «Трущобные люди» была сожжена, он мне в той же корректорской при всех сказал:

__ По нынешним временам выгоднее приехавших и выехавших писать — они мне триста рублей в год дают!

— Правда, Коля! А я вот триста рублей задолжал.

* * *

Товарищество «Русских ведомостей» состояло из двенадцати пайщиков, почему Н. И. Пастухов в своем «Листке» и называл «Русские ведомости» газетой двенадцати братчиков.

— Поди-ка, пойми, — говаривал он, — где у них начинаются либералы и где кончаются обиралы.

По уставу Товарищества полагалось процентное вознаграждение из дивиденда каждому из всех служащих в редакции по расчету получаемого жалованья, так сказать, «участие в прибылях».

С покупкой дома и уплатой старых долгов дивиденда первое время не было, и только на 1890 год он появился в изрядной сумме, и было объявлено, что служащие получат свою долю. И действительно, все получили, но очень мало.

Славные люди были в конторе, служившие еще в старом доме. Ф. В. Головин, главный бухгалтер, тогда еще совсем молодой человек, очень воспитанный, сама доброта и отзывчивость, С. Р. Скородумов, принимавший объявления, Митрофан Гаврилов, строгого солдатского вида, из бывших кантонистов, любимец газетчиков и наборщиков, две славные, молчаливые барышни, что-то писавшие, — и глава над всем, леденившая своим появлением всю контору, Ю. Е. Богданова, сестра одного из пайщиков, писавшего статьи о банках.

Силу она забрала после смерти общего любимца В. С. Пагануцци, заведовавшего конторой и хозяйством. При нем все было просто, никакой казенщины и канцелярщины.

После В. С. Пагануцци конторой и хозяйством заведовали А. П. Лукин и М. А. Саблин, но я их никогда не видел в конторе. Главенствовала Ю. Е. Богданова. Она имела при конторе маленькую комнатку, поминутно шмыгала из нее в контору: остановится в дверях и смотрит

сквозь очки, стриженая, в короткой юбке и черной кофте. Ее появление нервировало служащих. Ф. В. Головин устроился за своей конторкой спиной к ее двери, так же повернул свой стул и невозмутимый М. Г. Гаврилов, а С. Р. Скородумов загородился от ее взоров кучей книг на конторке.

— Чтобы не видеть! От ее глаз руки отваливаются! — говорил он.

Дошло ли это до Юлии Егоровны или уж просто она чувствовала ненависть старика, но его уволили.

На место его взяли славного юношу, сына Гаврилова, Колю, который служил долго.

Уже после я узнал, как все служащие, получавшие прежде праздничные подарки, ругались за грошовый дивиденд. Больше всех ругались швейцар и кухарка.

— На Рождество трешную допрежь того давали, на Пасху трешную, а теперь, гляди, дивиденд, проваленные, придумали, да вместо шести рублей семьдесят восемь копеек отвалили! Да пропадите вы пропадом! — и ушла с места, не попрощавшись.

А швейцар Леонтий, бывший солдат, читавший ежедневно газету с передовой до объявлений, так в наборной ругался, что теперь я повторить не могу, кроме только одной памятной фразы:

— Пишут одно, а делают другое, ихняя економическая политика нам в карман лезет!

* * *

Я время от времени заходил в редакцию. Отговорился от заведования отделом и работал эпизодически: печатал рассказы и корреспонденции, а по московской хронике ничего не давал.

Иногда заходил в типографию «табаку понюхать», попить чайку в корректорской и поболтать с друзьями-наборщиками. Сама же верхняя редакция мне опротивела чопорностью и холодностью.

Как-то Антон Чехов сказал о «Русской мысли»: «Там сидят копченые сиги!»

Когда я вернулся из весенней зелени степей, зашел в редакцию — будто в погреб попал, и все эти чопорные, застегнутые на все пуговицы члены профессорской газеты показались мне морожеными судаками. Все, чем я так недавно восторгался, особенно в той, первой, редакции, в Юшковом переулке, и здесь, в первые годы, теперь подверглось моему критическому разбору. Все, кроме В. М. Соболевского и Н. И. Бларамберга, да еще А. И. Чупрова, изредка бывавшего в редакции, стали какими-то высокопарными, уселись по отдельным кабинетам. И важны же были эти «мороженые судаки»!

Я стал работать в других газетах, а главным образом весь отдался спорту и коннозаводству, редактируя, как знаток конского дела, спортивный журнал.

В «Русских ведомостях» изредка появлялись мои рассказы. Между прочим, «Номер седьмой», рассказ об узнике в крепости на острове среди озер. Под заглавием я написал: «Посвящаю Г. А. Лопатину», что, конечно, прочли в редакции, но вычеркнули. Я посвятил его в память наших юных встреч Герману Лопатину, который тогда сидел в Шлиссельбурге, и даже моего узника звали в рассказе Германом. Там была напечатана даже песня «Слушай, Герман, друг прекрасный…».

Об этом знали и говорили только друзья в редакции. Цензуре, конечно, и на ум не пришло.

В 1896 году, перед коронационными торжествами, ко мне приехал М. А. Саблин и от имени редакции просил меня давать для газеты описания событий, связанных с торжествами.

Около двухсот русских и иностранных корреспондентов прибыло к этим дням в Москву, но я был единственный из всех проведший всю ночь в самом пекле катастрофы, среди многотысячной толпы, задыхавшейся и умиравшей на Ходынском поле.

Накануне народного праздника вечером, усталый от дневной корреспондентской работы, я прямо из редакции «Русских ведомостей» решил поехать в скаковой павильон на Ходынку и осмотреть оттуда картину поля, куда с полудня шел уже народ.

Днем я осматривал Ходынку, где готовился народный праздник. Поле застроено. Всюду эстрады для песенников и оркестров, столбы с развешанными призами, начиная от пары сапог и кончая самоваром, ряд бараков с бочками для пива и меда для дарового угощения, карусели, наскоро выстроенный огромный дощатый театр под управлением знаменитого М. В. Лентовского и актера Форкатия и, наконец, главный соблазн — сотни свеженьких деревянных будочек, разбросанных линиями и углами, откуда предполагалась раздача узелков с колбасой, пряниками, орехами, пирогов с мясом и дичью и коронационных кружек.

Хорошенькие эмалевые белые с золотом и гербом, разноцветно разрисованные кружки были выставлены во многих магазинах напоказ. И каждый шел на Ходынку не столько на праздник, сколько за тем, чтобы добыть такую кружку. Каменный царский павильон, единственное уцелевшее от бывшей на этом месте промышленной выставки здание, расцвеченное материями и флагами, господствовало над местностью. Рядом с ним уже совсем не праздничным желтым пятном зиял глубокий ров — место прежних выставок. Ров шириной сажен в тридцать, с обрывистыми берегами, отвесной стеной, где глиняной, где песчаной, с изрытым неровным дном, откуда долгое время брали песок и глину для нужд столицы. В длину этот ров по направлению к Ваганьковскому кладбищу тянулся сажен на сто. Ямы, ямы и ямы, кое-где поросшие травой, кое-где с уцелевшими голыми буграми. А справа к лагерю, над обрывистым берегом рва, почти рядом с краем ее, сверкали заманчиво на солнце ряды будочек с подарками.

* * *

Когда я вышел из Чернышевского переулка на Тверскую, она кишела гуляющими москвичами, а вереницы рабочего народа с окраин стремились по направлению к Тверской заставе. Извозчиков по Тверской не пускали. Я взял у Страстного лихача, надел ему на шляпу красный кучерский билет, выданный корреспондентам для проезда всюду, и через несколько минут, лавируя среди стремительных толп, был на скачках и сидел на балконе членского павильона, любуясь полем, шоссе и бульваром: все кишело народом. Гомон и дым стояли над полем.

Во рву горели костры, окруженные праздничным народом.

— До утра посидим, а там прямо к будкам, вот они, рядом!

Оставив павильон, я пошел на Ходынку мимо бегов, со стороны Ваганькова, думая сделать круг по всему полю и закончить его у шоссе. Поле было все полно народом, гулявшим, сидевшим на траве семейными группами, закусывая и выпивая. Ходили мороженщики, разносчики со сластями, с квасом, с лимонной водой в кувшинах. Ближе к кладбищу стояли телеги с поднятыми оглоблями и кормящейся лошадью — это подгородные гости. Шум, говор, песни. Веселье вовсю. Подбираясь к толпе, я взял от театра направо к шоссе и пошел по заброшенному полотну железной дороги, оставшейся от выставки: с нее было видно поле на далеком расстоянии. Оно тоже было полно народом. Потом полотно сразу оборвалось, и я сполз по песку насыпи в ров и как раз наткнулся на костер, за которым сидела компания и в том числе мой знакомый извозчик Тихон от «Славянского базара», с которым я часто ездил.

— Пожалуйте рюмочку с нами, Владимир Алексеевич! — пригласил он меня, а другой его сосед уж и стаканчик подает. Выпили. Разговариваем. Я полез в карман за табакеркой. В другой, в третий… нет табакерки! И вспомнилось мне, что я забыл ее на столе в скаковом павильоне. И сразу все праздничное настроение рухнуло: ведь я с ней никогда не расстаюсь.

— Тихон, я ухожу, я табакерку забыл!

И, несмотря на уговоры, встал и повернул к скачкам.

Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. Прямо к скачкам пройти было невозможно, все было забито, кругом море народа. Я двигался посредине рва, с трудом лавируя между сидящими и прибывающими новыми толпами со стороны скачек. Душно

было и жарко. Иногда дым от костра прямо окутывал всего. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!» Я повернул направо по дну рва навстречу наплывавшему люду: все стремление у меня было — на скачки за табакеркой! Над нами встал туман.

Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то… Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор. Остальные были неподвижны: колыхались все вместе, отдельных движений нет. Иного вдруг поднимет толпой, плечи видно, значит, ноги его на весу, не чуют земли… Вот она, смерть неминучая! И какая!

* * *

Ни ветерка. Над нами стоял полог зловонных испарений. Дышать нечем. Открываешь рот, пересохшие губы и язык ищут воздуха и влаги. Около нас мертво-тихо. Все молчат, только или стонут, или что-то шепчут. Может быть, молитву, может быть, проклятие, а сзади, откуда я пришел, непрерывный шум, вопли, ругань. Там, какая ни на есть, — все-таки жизнь. Может быть, предсмертная борьба, а здесь — тихая, скверная смерть в беспомощности. Я старался повернуть назад, туда, где шум, но не мог, скованный толпой. Наконец, повернулся. За мной возвышалось полотно той же самой дороги, и на нем кипела жизнь: снизу лезли на насыпь, стаскивали стоящих на ней, те падали на головы спаянных ниже, кусались, грызлись. Сверху снова падали, снова лезли, чтобы упасть; третий, четвертый слой на голову стоящих. Это было именно то самое место, где я сидел с извозчиком Тихоном и откуда ушел только потому, что вспомнил табакерку.

Рассвело. Синие, потные лица, глаза умирающие, открытые рты ловят воздух, вдали гул, а около нас ни звука. Стоящий возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мной кого-то рвало. Он не мог даже опустить головы.

Впереди что-то страшно загомонило, что-то затрещало. Я увидал только крыши будок, и вдруг одна куда-то исчезла, с другой запрыгали белые доски навеса. Страшный рев вдали: «Дают!.. давай!.. дают!..» — и опять повторяется: «Ой, убили, ой, смерть пришла!..»

И ругань, неистовая ругань. Где-то почти рядом со мной глухо чмокнул револьверный выстрел, сейчас же другой, и ни звука, а нас все давили. Я окончательно терял сознание и изнемогал от жажды.

Вдруг ветерок, слабый утренний ветерок смахнул туман и открыл синее небо. Я сразу ожил, почувствовал свою силу, но что я мог сделать, впаянный в толпу мертвых и полуживых? Сзади себя я услышал ржание лошадей, ругань. Толпа двигалась и сжимала еще больше. А сзади чувствовалась жизнь, по крайней мере ругань и крики. Я напрягал силы, пробирался назад, толпа редела, меня ругали, толкали.

Оказалось, что десяток конных казаков разгонял нелезавших сзади, прекращая доступ новым, прибывавшим с этой стороны. Казаки за шиворот растаскивали толпу и, так сказать, разбирали снаружи эту народную стену. Это понял народ и двинулся назад, спасая свою жизнь. Я бросился среди убегавших, которым было уже не до кружки и не до подарка, и, вырвавшись, упал около забора беговой аллеи. Я рвал траву и ел, это утоляло жажду, и я забылся. Сколько времени это продолжалось — не знаю. Когда пришел в себя, почувствовал,

что лежу на камне. Полез в задний карман и нашел там табакерку… Я лежал на ней и думал — камень!

— К черту смерть! К черту Ходынка! Вот она где!

Я воскрес, смотрю на сверкающее солнце и сам не верю. Открываю, нюхаю. И всю усталость, весь ужас пережитого как рукой сняло. Я никогда и ничему так не радовался, как этой табакерке. Это был подарок моего отца.

«Береги на счастье», — сказал он мне, даря ее еще в 1878 году, когда я приехал к нему, вернувшись с турецкой войны. И это счастье я чувствовал.

В этот миг я думал только об одном — попасть домой, взять ванну и успокоить своих. Я забыл и газеты и корреспондентскую работу, мне противно было идти на Ходынку. Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся. На мое счастье, из скаковой аллеи выезжал извозчик. Я вскочил на пролетку, и мы поехали по шоссе, кипящему народом. Извозчик мне что-то говорил, но я не понимал, с восторгом нюхал табак, а у Тверской заставы, увидав разносчика с апельсинами, остановил лошадь, схватил три апельсина, взяв деньги из промокшей насквозь от пота пачки новеньких кредиток. Съел сразу два апельсина, а третьим, разорвав пополам, вытер себе пылавшее лицо.

Навстречу громыхали пожарные фуры, шли наряды полиции.

В Столешниковом переулке, расплатившись с извозчиком, я тихо своим ключом отпер дверь квартиры, где все еще спали, и прямо — в ванную; напустил полную холодной воды, мылся, купался.

Несмотря на душистое мыло, все же чувствовалось зловоние. Мое разорванное, провонявшее пальто я спрятал в дрова, прошел в кабинет и через минуту уснул.

В девять часов утра я пил в семье чай и слушал рассказы об ужасах на Ходынке:

— Говорят, человек двести народу передавили! Я молчал.

Свежий и выспавшийся, я надел фрак со всеми регалиями, как надо было по обязанностям официального корреспондента, и в 10 часов утра пошел в редакцию. Подхожу к Тверской части и вижу брандмейстера, отдающего приказание пожарным, выехавшим на площадь на трех фурах, запряженных парами прекрасных желтопегих лошадей. Брандмейстер обращается ко мне:

— Поглядите, Владимир Алексеевич, последние пары посылаю!

И объяснил, что с Ходынки трупы возят.

Я вскочил на фуру без пальто, во фраке, в цилиндре, и помчался. Фуры громыхали по каменной мостовой. Народу полна Тверская.

Против фабрики Сиу, за заставой, повстречались две пожарные фуры, полные покойников. Из-под брезентов торчат руки, ноги и болтается ужасная голова.

Никогда не забыть это покрытое розовой пеной лицо с высунутым языком! Навстречу ехали такие же фуры.

По направлению к Москве плетется публика с узелками и кружками в руках: подарки получили!

У бегущих туда на лицах любопытство и тревога, у ползущих оттуда — ужас или безразличие.

Я соскочил с фуры: не пускают. Всемогущий корреспондентский билет дает право прохода. Я иду первым делом к наружной линии будок, которые на берегу рва, я их видел издали утром из-под насыпи. Две снесены, у одной сорвана крыша. А кругом — трупы… трупы…

Описывать выражение лиц, описывать подробности не буду. Трупов сотни. Лежат рядами, их берут пожарные и сваливают в фуры.

Ров, этот ужасный ров, эти страшные волчьи ямы полны трупами. Здесь главное место гибели. Многие из людей задохлись, еще стоя в толпе, и упали уже мертвыми под ноги бежавших сзади, другие погибли еще с признаками жизни под ногами сотен людей, погибли раздавленными; были такие, которых душили в драке, около будочек, из-за узелков и

кружек. Лежали передо мной женщины с вырванными косами, со скальпированной головой.

Многие сотни! А сколько еще было таких, кто не в силах был идти и умер по пути домой. Ведь после трупы находили на полях, в лесах, около дорог, за двадцать пять верст от Москвы, а сколько умерло в больницах и дома! Погиб и мой извозчик Тихон, как я узнал уже после.

* * *

Я сполз вниз по песчаному обрыву и пошел между трупами. В овраге они еще лежали, пока убирали только с краев. Народ в овраг не пускали. Около того места, где я стоял ночью, была толпа казаков, полиции и народа. Я подошел. Оказывается, здесь находился довольно глубокий колодец со времен выставки, забитый досками и засыпанный землей. Ночью от тяжести народа доски провалились, колодец набился доверху рухнувшими туда людьми из сплошной толпы, и когда наполнился телами, на нем уже стояли люди. Стояли и умирали. Всего было вынуто из колодца двадцать семь трупов. Между ними оказался один живой, которого только что перед моим приходом увели в балаган, где уже гремела музыка.

Праздник над трупами начался! В дальних будках еще раздавались подарки. Программа выполнялась: на эстраде пели хоры песенников и гремели оркестры.

У колодца я услыхал неудержимый смех. Вынутые трупы лежали передо мной, два в извозчичьих халатах, и одна хорошо одетая женщина с изуродованным лицом была на самом верху — лицо ногами измято. Сначала из колодца достали четверых мертвых, пятый был худощавый человек; оказался портной с Грачевки.

— Живой этот! — кричит казак, бережно поднимая его кверху из колодца. Поднятый шевелил руками и ногами, глубоко вздохнул несколько раз, открыл глаза и прохрипел:

— Мне бы пивца, смерть пить хотца! И все расхохотались.

Когда мне это рассказывали, тоже хохотали.

Нашли офицера с простреленной головой. Тут же валялся револьвер казенного образца. Медицинский персонал ходил по полю и подавал помощь тем, у кого были признаки жизни. Их развозили по больницам, а трупы на Ваганьково и на другие кладбища.

В два часа я уже был в редакции, пришел в корректорскую и сел писать, затворив дверь. Мне никто не мешал. Закончив, сдал метранпажу на набор. Меня окружили наборщики с вопросами и заставили прочитать. Ужас был на всех лицах. У многих слезы. Они уже знали кое-что из слухов, но все было туманно. Пошли разговоры.

— На беду это! Не будет проку в этом царствовании! — самое яркое, что я слышал от старика наборщика. Никто не ответил на его слова, все испуганно замолчали… и перешли на другой разговор.

Метранпаж сказал:

— Надо подождать редактора!

— Наберем! Давай набирать! — закричали наборщики.

— В гранках редактор прочтет! — И десятки рук потянулись к метранпажу.

— Наберем! — И, разделив на куски, стали набирать. Я вернулся домой пешком — извозчиков не было -

и, не рассказывая подробностей пережитого, лег спать. Проснулся на другое утро в 8 часов и стал готовиться к работе. Подали «Московские ведомости», «Московский листок». О катастрофе ничего не нашел. Значит, запретили! Собрался перед работой забежать в «Русские ведомости», взять на память грядущим поколениям гранки статьи, если успели набрать. Принесли наконец «Русские ведомости». Глазам не верю: ХОДЫНСКАЯ КАТАСТРОФА — крупное заглавие, — план катастрофы и подпись «В. Гиляровский». Домашние в ужасе смотрят на меня. Замерли и смотрят. А я, свежий, прекрасно выспавшийся, чувствую себя вполне нормально. Рассказываю о своем путешествии, прежде взяв слово, чтобы меня не ругали, так как — победителей не судят! А я чувствовал себя победителем!

Входят двое: русский, Редер, корреспондент австрийской газеты, а с ним японец, корреспондент токийской газеты. Меня интервьюируют. Японец с удивлением смотрит на меня, поражается, а Редер сообщает, что «Русские ведомости» арестованы и в редакции у газетчиков отбирают номера газеты.

Они уходят, я надеваю фрак и хочу идти. Звонок. Входят еще трое: мой знакомый, старый москвич Шютц, корреспондент какой-то венской газеты, другой, тоже знакомый, москвич, американец Смит, который мне представляет типичнейшего американского корреспондента газеты. Корреспондент ни слова по-русски, ему переводит Смит. Целый допрос. Каждое слово американец записывает.

На другой день Смит сказал, что американец послал телеграмму в 2 тысячи слов — всю мою статью, все, рассказанное мной.

Я бросился первым делом в редакцию. Там В. М. Соболевский и М. А. Саблин. Радостно меня встречают. Благодарят. На дворе шумят газетчики — получают газету для розницы, мне устраивают овацию.

— Действительно, — говорит В. М. Соболевский, — газету, как только ее роздали для разноски подписчикам, явившаяся полиция хотела арестовать, но М. А. Саблин поехал к генерал-губернатору и узнал, что газету уже разрешили по приказанию свыше. Целый день допечатывали газету. Она была единственная с подробностями катастрофы.

В корреспондентском бюро меня тоже встретили овацией русские и иностранные корреспонденты. Интервьюировали, расспрашивали, осматривали, фотографировали. Художник Рубо зарисовал меня. Американцы и англичане ощупывали мои бицепсы и только тогда поверили, что все написанное — правда, что я мог вынести эту давку.

«Русская газета»

«Русская газета» — было весьма убогое, провинциального вида издание, почти не имевшее подписки, не имевшее розницы и выплакивавшее у фирм через своих голодных агентов объявления, номинальная цена которых была гривенник за строку, а фирмы получали до 70 процентов скидки.

Издавалась «Русская газета» несколько лет. Основал ее какой-то Александровский, которого я в глаза не видал, некоторое время был ее соиздателем Н. И. Пастухов, но вскоре опять ушел в репортерскую работу в «Современные известия», потратив последние гроши на соиздательство.

В 1880 году издавал газету И. И. Смирнов, владелец типографии и арендатор всех театральных афиш, зарабатывавший хорошие деньги, но всегда бывший без гроша и в долгу, так как был азартный игрок и все ночи просиживал за картами в Немецком клубе. В редких случаях выигрыша он иногда появлялся в редакции и даже платил сотрудникам. Хозяйственной частью ведал соиздатель И. М. Желтов, одновременно и книжник и трактирщик, от которого зависело все дело, а он считал совершенно лишним платить сотрудникам деньги.

— За что? У тебя фирма есть — тебя печатаем, чего же тебе еще? Ну и кормись сам.

Многие и кормились, помещая рекламные заметки или собирая объявления за счет гонорара. Ухитрялась получать от И. И. Смирнова деньги заведовавшая редакцией «Соколиха», Александра Ивановна Соколова, которой было «все все равно» и которая даже не обиделась, когда во время ее отпуска фельетонист Добронравов в романе «Важная барыня» вывел ее в неказистом виде. Добронравов в романе вставлял рекламы фирм и получал с них за это взятки.

Кормились объявлениями два мелких репортерчика Козин и Ломоносов. Оба были уже весьма пожилые. Козин служил писцом когда-то в участке и благодаря знакомству с полицией добывал сведения для газеты. Это был маленький, чистенький старичок, живой и быстрый, и всегда с ним неразлучно ходила всюду серенькая собачка-крысоловка, обученная им разным премудростям. И ее и Козина любили все. Придет в редакцию — и всем весело.

Сядет. Молчит. Собачка сидит, свернувшись клубочком, у его ноги. Кто-нибудь подходит.

— Мосявка, дай лапку!

Ощетинится собака, сидит недвижимо и жестоко начинает лаять.

— Дай лапку!

Еще больше лает и злится. Все присутствующие смотрят, знают, что дальше будет, и ждут. Подходит кто-нибудь другой.

— Мосява Мосявовна, соблаговолите ножку дать, — и наклоняется к ней.

Мосявка важно встает, поворачивается к говорящему задом и протягивает левую заднюю ногу.

И это повторяется несколько раз — даже сам сумрачный И. М. Желтов улыбается. Лет десять я помнил Козина с Мосявкой.

Ломоносов был не Ломоносов, а Свистунов, бывший конторщик, горький пьяница. Что он Свистунов, почти никто не знал: Ломоносов да Ломоносов. А это прозвище он получил за то, что у него в драке когда-то был переломлен нос и торчал кончик его как-то вправо. Он давал торговые сведения и, как говорили, собирал милостыню по церквам на паперти.

В этом мне пришлось убедиться года через три после наших встреч в редакции «Русской газеты».

* * *

В темном, душном подвале анатомического театра лежало десять трупов. Исхудалые, истощенные, изломанные. Между ними лежал труп девушки лет шестнадцати.

Это все жертвы катастрофы, случившейся накануне, и катастрофы странной, небывалой.

В погоне за десятикопеечной подачкой десятитысячная толпа задавила десять человек. За два дня перед этим умер московский миллионер, чайный торговец А. С. Губкин.

В день смерти вечером проходившим мимо громадного, мрачного с виду дома Губкина нескольким нищим подали по серебряной монете с просьбой помянуть усопшего. С быстротой телефона по ночлежным приютам распространился между нищими слух, что на поминовение Губкина раздают деньги пригоршнями.

Тревожно провели нищие эту ночь в ожидании подаяния, в ожидании горсти серебра на каждого. Еще затемно толпы их хлынули на Рождественский бульвар, но решетчатые железные ворота были заперты. Стучались, просили, дрожали на морозе, стоя полубосыми ногами на льду тротуара и на снегу мостовой. А народ с каждой минутой прибывал.

Сотни нищих бежали со всех улиц и переулков, и скоро десятитысячная толпа заняла проезд Рождественского бульвара от Сретенских ворот до Трубной площади. Ни прохода, ни проезда. Толпа была словно спаянная: яблоку упасть было некуда.

Набег нищих настолько был стремителен, что полиция не успела принять никаких мер… Катастрофу не предупредили, она должна была случиться и случилась. Ворота все еще не отпирались, сунутые несколько двугривенных только зажгли толпу, каждый стремился пролезть вперед, толпа хлынула и прижала несчастных, добившихся своей цели: встать первыми у железных ворот.

В то время тротуар у этого дома был очень высок, чуть не на аршин выше мостовой. Стоявшие на мостовой равнялись головами с поясом стоявших на тротуаре. Всем хотелось быть ближе к воротам, ближе к цели. С мостовой влезали, хватаясь за платье стоявших выше, и падали вместе с ними. Кто-то вдруг из передних крикнул:

— Подавать начали!..

Как один человек, вся толпа подвинулась на шаг вперед. Кого-то стащили с тротуара, наступили на него, раздался страшный крик:

— Задавили!..

Толпа ломилась еще больше. Сзади давили на ворота, ближайшие от ворот, задыхаясь в давке, стремились назад, падали с высокого тротуара на мостовую, на них лезли задние, не

видя, что творится впереди. Гул толпы прерывался криками о помощи и предсмертными стонами. Когда уже все свершилось, явилась полиция и казаки. Дворники били нищих палками, городовые — ножнами, казаки — плетьми. Эти поминки надолго у многих не изгладились из памяти, хотя рубцы уже давно зажили. Опорков и рваных шапок увезли с места давки два воза.

Это было 28 ноября 1883 года. Вскоре после этого я встретил Козина с его Мосявкой, и он сказал мне, что в числе задавленных на Рождественском бульваре был и сотрудник «Русской газеты» Свистунов-Ломоносов.

* * *

Газета давно уже прекратилась, ее в первый же год забил «Московский листок», а все-таки мне вспоминается один факт, связанный со временем моего в ней кратковременного сотрудничества.

Десятки лет в Московском зоологическом саду жил до самой своей смерти Мамлик, величайший слон в Европе, привезенный из Индии. Равного ему не было даже в берлинском зоологическом саду.

Это было огромное существо добрейшего нрава, любимец москвичей, а особенно детей, которых водили смотреть слона даже из далеких в то время мест Рогожской и Таганки.

У его логовища стоял сторож — его друг, который торговал булками, и публика их покупала и собственноручно совала в хобот. Помню курьез. В числе публики, кормившей булками Мамлика, был мальчик лет восьми, который, сняв свою соломенную шляпенку, начал совать ее слону в хобот. Мамлик взял шляпу, и она в один миг исчезла у него во рту. Публика захохотала, мальчик в слезы.

— Зачем шляпу под хвост сунул! Дяденька, отдай, мама ругаться будет, — рыдая, обращался он к слону.

Милый был слон! Но бывали весенние дни, когда он бунтовал, и его заранее, видя признаки наступающей поры любви, очень крепко приковывали на специальные цепи.

В эти дни он был особенно буен и стремился все разрушать. Но раз, совсем неожиданно, такой период пришел осенью. Мамлик сорвался с цепей и вышел в задние ворота зоологического сада.

Это было после обеда. Слон зашагал по Большой Пресне, к великому ужасу обывателей и шумной радости мальчишек и бежавшей за ним толпы. Случилось это совершенно неожиданно и в отсутствие его друга сторожа. Другие сторожа и охочие люди из толпы старались, забегая вперед, вернуть его обратно, но слон, не обращая внимания ни на что, мирно шагал, иногда на минуту останавливаясь, поднимал хобот и трубил, пугая старух, смотревших в окна.

Начальство сада перепугалось и послало по трактирам отыскивать сторожа. Мирно подошел слон к заставе, остановился около полицейской будки, откуда выскочил городовой и, обнажив ржавую «селедку», бросился к великану, «делающему непорядок».

Ударил ли он шашкой слона или только замахнулся, но Мамлик остервенел и бросился за городовым, исчезнувшим в двери будки. Подняв хобот, слон первым делом сорвал навес крыльца, сломал столбы и принялся за крышу, по временам поднимая хобот и трубя. Городовой пытался спастись в заднее окно, но не мог вылезть: его толстая фигура застряла, и он отчаянно вопил о помощи.

Нашлись смельчаки, протащившие его сквозь маленькое окно не без порчи костюма. А слон разносил будку и ревел. Ревела и восторженная толпа, в радости, что разносит слон будку, а полиция ничего сделать не может. По Москве понеслись ужасные слухи. Я в эти часы мирно сидел и писал какие-то заметки в редакции «Русской газеты». Вдруг вбегает издатель-книжник И. М. Желтов и с ужасом на лице заявляет:

— Сейчас народ бежит с Пресни, там бунт. Рабочие взбунтовались, зверей из

зоологического сада выпустили. Тигров! Львов!.. Ужас! Узнай, пожалуйста, — обратился он ко мне.

Я побежал — трамваев тогда не было, а извозчики не по карману — и у зоологического сада увидал толпы народа. В саду я узнал подробности. Озаглавил заметку «Взбунтовавшийся слон на Пресне».

Заметка эта не пошла, так как цензура послала распоряжение — никаких подробностей происшествия не сообщать. Зато слухи в городе и по губерниям разошлись самые невероятные. Многие возвратились с дач, боясь за своих родных в Москве и за свое имущество.

Первая публикация появилась в Петербурге, куда я послал сообщение А. А. Соколову для «Петербургского листка», а потом его перепечатала провинция, а в Москве появились только краткие известия без упоминания о городовом и разнесенной будке.

Это был в Москве первый «бунт» против полицейской власти и первый случай разгрома казенного здания — более сорока лет тому назад. И это случилось на Пресне.

«Современные известия»

«Современные известия» около двадцати лет издавал известный публицист Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр Духовной академии, славянофил и сотрудник И. С. Аксакова.

Было время, когда «Современные известия» были самой распространенной газетой в Москве и весьма своеобразной: с одной стороны, в них печатались политические статьи, а с другой — они с таким же жаром врывались в общественную городскую жизнь и в обывательщину. То громили «Коварный Альбион», то с не меньшим жаром обрушивались на бочки «отходников», беспокоивших по ночам Никиту Петровича Гилярова-Платонова, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка, в нижнем этаже, окнами на улицу.

Н. П. Гиляров-Платонов был человеком именно не от мира сего. Он спал днем, работал ночью, редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал.

Я только один раз был у него летом, кажется, в мае месяце. Он, по обыкновению, лежал на диване; окна были открыты, была теплая ночь, а он в меховой шапке читал гранки. Руки никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Тогда газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью — второй редактор, племянник его Ф. А. Гиляров, известный педагог-филолог и публицист. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

Его перу принадлежал в «Современных известиях» ряд фельетонов о наших революционерах в Швейцарии — тема, по тому времени совершенно запрещенная.

Статьи эти случайно проскочили в «Современных известиях» благодаря почтению к имени Н. П. Гилярова-Платонова, но когда Ф. А. Гиляров собрал их в отдельную книгу, то пропущены они не были.

Кроме того, Федор Александрович писал недурные театральные рецензии, а затем сам издавал какой-то театральный листок, на котором прогорел вдребезги.

Самыми хлесткими сотрудниками, делавшими успех газеты в розницу, были фельетонисты П. А. Збруев, чиновник особых поручений при секретном отделении обер-полицмейстера, благодаря своей службе знавший все тайны Москвы, и Н. И. Пастухов.

Первый писал воскресные фельетоны под псевдонимом «Берендей», а второй — московские заметки, которые подписывал «Старый знакомый».

Среди недели они также помещали мелкие наброски, в которых тот и другой «прохватывали» и «протаскивали» богачей купцов и обывателей, не щадя интимных сторон жизни, и имели огромный успех.

Москва читала взасос эти фельетоны, дававшие огромный материал для излюбленных тогда сплетен.

Надо еще заметить, что, «Современные известия» были единственной газетой, не стеснявшейся пробирать вовсю духовенство и даже полицию.

Большим успехом пользовались в газете обличительного характера заметки Н. Седельникова, автора нескольких романов. Его фельетон в стихах, подражание «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова, наделал много шуму.

Здесь досталось буквально всем москвичам, от самых высших до самых низших, и все себя узнавали, но так было ловко написано, что придраться было нельзя. Особенно досталось крупным московским капиталистам, которых он смешал с грязью.

Если им до его фельетона жилось спокойно, то после него они стали притчей во языцех, и оказалось, что никому в Москве хорошо не жилось, кроме ростовщиков: им было все равно — пиши не пиши!

И шло бы все по-хорошему с газетой. Но вдруг поступила в контору редакции, на 18 рублей жалованья, некая барынька Мария Васильевна, и случилось как-то, что фактическое распоряжение кассой оказалось у нее в руках.

Надо сказать, что здесь и намека на какой-нибудь роман не было, а просто Никита Петрович Гиляров-Платонов доверял ей вполне и во всем. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла так же неожиданно, как и появилась.

Ее место заступил новый управляющий, неизвестно кем рекомендованный, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Н. П. Гиляров-Платонов отвечал всем одно и то же:

— А, оставьте эти деньги, так это все противно!

Наконец в 1887 году «Современные известия», окончательно забитые конкуренцией «Московского листка», закрылись. Вскоре умер Никита Петрович Гиляров-Платонов.

«Московский телеграф»

«Московский телеграф». Первого января 1881 года в Москве вышла самая большая по размеру и, безусловно, самая интересная по статьям и информации газета «Московский телеграф».

Редактор-издатель ее был Игнатий Игнатьевич Родзевич.

Интересные сведения и даже целые статьи, появившиеся накануне в петербургских газетах, на другой день перепечатывались в Москве на сутки раньше других московских газет, так как «Московский телеграф» имел свой собственный телеграфный провод в Петербург, в одной из комнат редакции, помещавшейся на Петровке в доме Московского кредитного общества.

В газете приняли участие лучшие литературные силы. Особенно читались фельетоны Д. Д. Минаева, пересыпавшего прозу стихами самого нецензурного по тому времени содержания.

Преобразование полиции, совершившееся тогда, Д. Д. Минаев отметил так:

Мы все надеждой занеслись — Вот-вот пойдут у нас реформы. И что же? Только дождались — Городовые новой формы!

В письмах о Москве он писал:

Москва славна Тверскою,
Фискалом М. Н. К.[3]
И нижнею губою
Актера Бурлака.

О Петербурге:

---

[3] М. Н. Катков

Великий Петр уже давно
В Европу прорубил окно,
Чтоб Русь вперед стремилась ходко.
Но затрудненье есть одно —
В окне железная решетка.

В этом же духе были статьи, фельетоны и корреспонденции, не щадившие никого.

Цензура ошалела и руками разводила, потому что, к великому ее удивлению, нагоняев пока из Петербурга не было, а ответа на цензорские донесения о прегрешениях газеты Московским цензурным комитетом, во главе которого стоял драматург В. И. Родиславский, не получалось.

Говорили, что за И. И. Родзевичем стояло в Петербурге какое-то очень крупное лицо. Пошла газета в розницу, пошла подписка.

Особенно резки были статьи Виктора Александровича Гольцева, сделавшие с первых номеров газету популярной в университете: студенты зачитывались произведениями своего любимого профессора и обсуждали в своих кружках затронутые им вопросы.

«Московские ведомости» то и дело писали доносы на радикальную газету, им вторило «Новое время» в Петербурге, и, наконец, уже после 1 марта 1881 года посыпались кары: то запретят розницу, то объявят предупреждение, а в следующем, 1882 году газету закрыли административной властью на шесть месяцев — с апреля до ноября. Но И. И. Родзевич был неисправим: с ноября газета стала выходить такой же, как и была, публика отозвалась, и подписка на 1883 год явилась блестящей.

Правительство наказало подписчиков: в марте месяце газету закрыли навсегда «за суждения, клонящиеся к восстановлению общественного мнения против основных начал нашего государственного строя и неверном освещении фактов о быте крестьян».

Незадолго перед этим цензура закрыла по тем же самым мотивам журнал «Земство», выходивший с 1880 года под редакцией В. Ю. Скалона, постоянного сотрудника «Русских ведомостей». Полоса реакции после 1 марта разыгралась вовсю!

«Русский курьер»

«Русский курьер» основан был В. Н. Селезневым в 1879 году, но шел в убыток. Пришлось искать денег. Отозвался московский купец Н. П. Ланин, владелец известного завода шипучих вод и увековечивший свое имя производством искусственного «ленинского» шампанского, которое подавалось подвыпившим гостям в ресторанах за настоящее и было в моде на всех свадьбах, именинах и пирушках средней руки.

От ланинского редерера
Трещит и пухнет голова!

На его красивом, с колоннами доме у Москворецкого моста, рядом с огромной вывеской, украшенной гербом и десятком медалей с разных выставок, появилась другая вывеска: «Русский курьер» — ежедневная газета».

Под газетой стояла подпись: «Издатель — Н. П. Ланин, редактор — В. Н. Селезнев». Вид газета имела самый провинциальный. Полстраницы последней полосы занимало чуть ли не единственное объявление с гербами и медалями о шипучих водах и «ланинском» шампанском.

Н. П. Ланину, обладавшему огромным капиталом и состоявшему гласным Городской думы, спалось и виделось быть редактором.

Откупившись от В. Н. Селезнева, он с рекомендациями «хозяина столицы» князя В. А. Долгорукова и со свидетельством благонадежности от обер-полицмейстера поехал в

Петербург в Главное управление по делам печати просить о назначении его редактором.

Ценз у Н. П. Ланина для редактора был весьма желательный для правительства: московский купец первой гильдии, фабрикант поддельного русского шампанского да еще рекомендованный генерал-губернатором как благонадежный обыватель.

Утвердили Н. П. Ланина редактором-издателем: пусть рекламирует шипучие воды и русское шампанское. Но и с новым редактором газета не шла.

На счастье Н. П. Ланина, в это время молодой приват-доцент по полицейскому праву, уже сверкавший на кафедре Московского университета, В. А. Гольцев «за неблагонадежность и внедрение вредных идей молодежи» был лишен кафедры.

Молодому ученому, подававшему большие надежды, пришлось искать заработка, и он перешел в журналистику, сделавшись постоянным сотрудником «Московского телеграфа». Н. П. Ланин предложил ему организовать редакцию и быть фактическим редактором «Русского курьера», газеты без предварительной цензуры.

Принял В. А. Гольцев предложение, но только с одним условием, чтобы Н. П. Ланин совершенно не вмешивался в редакционные дела.

Н. П. Ланин согласился на все условия, и В. А. Гольцевым была составлена молодая редакция, в которую вошли и народники: Ф. Д. Нефедов, С. А. Приклонский, только что вернувшийся из ссылки, Н. М. Астырев, П. И. Кичеев, сибиряк М. И. Мишла-Орфанов, В. И. Немирович-Данченко и многие другие передовые люди того времени.

Сразу газета расцвела и засверкала к ужасу цензоров и администрации. Подписки было еще мало, но газета блестяще шла в розницу.

Н. П. Ланин ликовал, «ланинское» шампанское, усиленно рекламированное, шло великолепно и покрывало расходы по газете. Газета, как обухом по лбу, хватила и цензуру и разрешившую Н. П. Ланину газету администрацию своим неслыханным дотоле ярким либерализмом.

Подписка на 1881 год шла великолепно, особенно по провинции, жадной до всякого либерального слова.

В Москве шла только розница. Москвичам были интереснее фельетоны Збруева в «Современных известиях» я «Московский листок» Н. И. Пастухова. Эти два издания начали глумиться над «Русским курьером», называя его не иначе, как «кислощейной газетой», а самого Н. П. Ланина — липовым редактором.

Обидно это было «кандидату в городские головы». Иронизировали над ним и юмористические журналы. Особенно же его прямо-таки убила карикатура, пущенная Н. И. Пастуховым в своем юмористическом журнале «Колокольчик».

Приемная комната. У затворенной двери с надписью «Редакция» стоит, нагнувшись, как живой, Н. П. Ланин и, приложив ухо к замочной скважине, сосредоточенно слушает. А внизу подпись: «Хоть отсюда послушать, о чем толкуют мои молодцы!»

Ни в городе, ни даже в Думе ему после этого проходу не было — смеялись:

— О чем там толкуют твои молодцы?!

Эта насмешка окончательно обозлила Н. П. Ланина, и он решил неукоснительно избавиться от В. А. Гольцева, уже редактировавшего около двух лет газету, что было известно всей Москве, и самому стать фактическим редактором.

Н. П. Ланину и тут помогло счастье. Газета действительно сверкала яркостью, и, наконец, ей дали уже второе предостережение и лишили розницы «за вредное направление, выражающееся в суждениях о существующем государственном строе и в подборе и неверном освещении фактов, чтобы возбудить смуту в умах».

Этим удобным случаем и воспользовался Н. П. Ланин, чтобы отказать В. А. Гольцеву и самому сесть в редакторское кресло, с которого, как ему казалось, удобно перебраться и в кресло городского головы.

Ушел В. А. Гольцев, ушли с ним его друзья, главные сотрудники, но либеральный дух, поддерживаемый Н. П. Ланиным, как ходовой товар, остался, только яркость и серьезность пропали, и газета стала по отношению к прежней, «гольцевской», как «ланинское»

шампанское к настоящему редереру.

Провинция этого не раскусила сначала и продолжала подписываться, а Н. П. Ланин уже видел себя московским городским головой.

Сидела как-то в ресторане «Петергоф» тесная компания сотрудников одной газеты и решила вышутить Н. П. Ланина.

Один из поэтов, кажется, Петр Иванович Кичеев, на поданном ресторанном счете написал звучное стихотворение в десять строк, подходящее к моменту, весьма либеральное и вполне цензурное. Прочел его сидящим. Все были в восторге, но когда поэт показал маленький секрет написанного, все разразились неудержимым хохотом.

Потребовали конверт, почтовой бумаги, марки и при серьезном письме «уважаемому господину редактору» послали Н. П. Ланину это произведение.

На другой день стихотворение появилось в «Русском курьере» на почетном месте и — о ужас! — оказалось акростихом: «Ланин — дурак».

Пропала кандидатура в городские головы, а потом закрылся и «Русский курьер»!

«Новости дня»

«Новости дня» вышли 1 июня 1883 года, издатель их Абрам Яковлевич Липскеров в это время был стенографом у М. Н. Каткова в «Московских ведомостях».

Он числился по паспорту подмастерьем пестрядинного цеха, так как, будучи евреем, не имел права жительства в Москве. М. Н. Катков уже позднее выхлопотал ему почетное гражданство и газету.

Газета вначале была малозаметной. Редакцию трудно было отыскать — часто переезжала она с места на место, и типографии менялись то и дело: задолжали — и в другую!

Газета в первые годы шла слабо, печаталось две тысячи экземпляров, объявлений платных почти не было, кредита никакого, бумагу покупали иногда на один номер, а назавтра опять выворачивайся, опять занимай деньги на бумагу.

Сотрудникам платили по грошам и то редко наличными, но никто не уходил, — голодали, да работали. Сам Абрам Яковлевич был очень мил и симпатичен, его бедность была налицо, и всякий старался помочь ему, а он надеялся на успех и сыпал обещаниями:

— Вот пойдет газета — тогда другое дело! Всех сотрудников обеспечу, ничего не пожалею. Разве я не отдаю теперь последнее?

Действительно, он делился с сотрудниками последним.

В «Новостях дня» я за все время их существования постоянно почти не работал, но первые годы по усиленной просьбе А. Я. Липскерова помочь ему давал иногда интересный материал, и он действительно платил, как умел.

Мне как-то причиталось получить сорок рублей с редакции.

— Нет ни копейки! Повесь меня вот на ламповый крюк и бей палкой, может быть, червонцы из меня посыплются! — заявил мне А. Я. Липскеров.

— Абрам Яковлевич, да мне надо штаны и пальто купить!

— Ну вот, давно бы так и говорил! На, покупай! — и написал мне письмо в магазин готового платья «Аронтрихера» на Петровке, чтобы за счет редакции отпустили товару на сорок рублей.

С магазином А. Я. Липскеров расплачивался объявлениями, а магазин отпускал сотрудникам готовое платье из скверного, гнилого, линючего лодзинского материала.

Иногда приходилось нам получать и наличными, но всегда одним и тем же способом, памятуя одиннадцатую заповедь: не зевай! По крайней мере, так было, когда крохотная редакция и такая же контора помещались при квартире А. Я. Липскерова, на углу Тверской и Газетного переулка, в старинном доме Шаблыкина, в нижнем этаже, имея общий вход с улицы рядом с каким-то портным, изобразившим вместо вывески огромные жестяные ножницы.

Тогда то и дело повторялись стереотипные сценки: приходит сотрудник или заведующий конторой к милейшей барышне:

— Елена Евсеевна, дайте в счет пять рублей. Она открывает кассу и показывает мелочь:

— Около рубля наберется. Погодите, может быть, что-нибудь с объявлений набежит, только не прозевайте, а то Абрам Яковлевич все бегает, справляется.

И в этот момент отворяется дверь, появляется в клетчатом старом халате А. Я. Липскеров:

— Как дела, Елена Евсеевна?

— Ничего нет.

— За деньгами? — обращается он к сотруднику.

— Надо бы!

— Ну вот полакомься! — И сует в руку конфету в бумажке.

— Спасибо!

— Пойдем ко мне! — И ведет в квартиру. А там стол накрыт, сидит молодая красивая его жена, кругом толпа детишек и кое-кто из сотрудников. На столе самовар, огурцы и огромное блюдо картофельного салата. Сидят, закусывают, чай пьют, иногда водочки поставят.

А. Я. Липскеров то и дело исчезает в контору, возвращается и пьет чай или жует колбасу. Через полчаса срочно нуждавшийся в деньгах сотрудник прощается и идет в кассу.

— Елена Евсеевна!

— Ну и прозевали. Абрам Яковлевич два раза все обобрал. Я говорила, не зевайте, вот и позавтракали! У нас знают, когда угостить!

Была ли Елена Евсеевна в заговоре с хозяином — вопрос оставался открытым.

Занятый постоянной работой в «Русских ведомостях», я перестал бывать у А. Я. Липскерова. Знаю, что он переживал трудные дни, а потом, уже когда на него насели судебные пристава, к нему, на его счастье, подвернулся немец типографщик, дал взаймы на расплату семь тысяч рублей, а потом у него у самого типографию описали кредиторы…

Но эти семь тысяч спасли А. Я. Липскерова. Вообще ему везло. Затевая издание газеты, он не задавался никакими высокими идеями, а смотрел на газету как на коммерческое дело с конечной целью разбогатеть по примеру Н. И. Пастухова, а что писалось в газете, его занимало мало. Его интересовали только доходы.

В первое время редактором была А. И. Соколова, из закрывшейся «Русской газеты», а секретарем — провинциальный журналист Е. А. Балле де Барр. Сам А. Я. Липскеров был малограмотен. Он писал «одна ножница», «пара годов» и т. п.

Редакция состояла из фактического редактора А. И. Соколовой, секретаря Балле де Барра и нескольких мелких сотрудников.

А. И. Соколова — образованная вполне, литературная дама, в прошлом воспитанница Смольного института, много лет работала в разных изданиях, была в редакции все.

Она была родная мать В. М. Дорошевича, но не признавала его за своего сына, а он ее за свою мать, хотя в «Новостях дня» некоторое время он служил корректором и давал кое-какие репортерские заметки.

Никто не знал об их родстве. В. М. Дорошевич одним из первых своих псевдонимов взял себе «Сын своей матери».

У А. И. Соколовой, или как ее звали, у «Соколихи», были сын Трифон, поразительно похожий на В. М. Дорошевича, только весь в миниатюре, и дочь Марья Сергеевна, очень красивая барышня, которую мать не отпускала от себя ни на шаг. Трифон Сергеевич, младший, и Марья Сергеевна были Соколовы, а старший — Влас Михайлович — Дорошевич.

Эту тайну никто не знал, и только много лет спустя Влас Михайлович сказал как-то мне, что его в детстве еще усыновил московский пристав Дорошевич.

Это было уже тогда, когда мать была в Петербурге и работала в «Петербургском листке» и в «Историческом вестнике».

Трифон окончательно спился, обитал в плохой квартирке на Сретенке в Стрелецком переулке, куда я не раз носил ему деньги для уплаты за квартиру по просьбе Александры Ивановны, писавшей мне об этом из Петербурга.

Кроме того, деньги впоследствии Трифону посылал и Влас Михайлович.

Трифон вскоре умер, а затем умерла и Александра Ивановна.

Она долго работала после «Новостей дня» в «Московском листке», писала маленькие фельетончики и романы под псевдонимом «Синее домино».

Псевдоним этот — отзвук какого-то ее личного романа дней юности в Петербурге, в котором было замешано одно очень крупное лицо.

Она мне что-то рассказывала об этом. Помню, что она происходила из какой-то известной дворянской фамилии и уже в Москве вышла замуж за Соколова, повенчавшись после рождения В. М. Дорошевича.

Соколов тоже принадлежал отчасти к журнальному миру и был живой портрет Дорошевича, один из представителей того мирка, которому впоследствии присвоили наименование «богема».

Самым ярким сотрудником первых лет издания «Новостей дня» был Гурлянд, сперва студент, а потом приват-доцент, а вскоре и профессор административного права Демидовского лицея в Ярославле.

Гурлянд писал под псевдонимом «Арсений Гуров» хлесткие злободневные фельетоны, либеральные, насколько было возможно либеральничать газете, выходившей под жестокой цензурой, а также писал большие повести два раза в неделю.

А. Я. Липскеров очень дорожил талантливым сотрудником, хотя цензура считала его ультракрасным.

И кто бы мог подумать, что из ультракрасного молодого писателя вырастет «известный Гурлянд» — сотрудник официозных изданий. В Ярославле в это время был губернатором, впоследствии глава царского правительства, Штюрмер, напыщенный вельможа.

Франтоватый, красивый, молодой приват-доцент сделался завсегдатаем губернаторского дома, и повторилась библейская история на новый лад: старый Пентефрий остался Пентефрием, жена его, полная жизни, красивая женщина, тоже не изменилась, но потомок Иосифа Прекрасного не пошел в своего библейского предка…

Перевели Пантефрия к фараонову двору и самую что ни на есть высшую должность дали ему: после фараона он самым что ни есть первым человеком в стране стал, а Иосиф Прекрасный сделался его первым помощником в делах управления страной. Штюрмер стал председателем совета министров, а Гурлянд его вторым «я». Арсений же Гуров, конечно, растаял и исчез со страниц «Новостей дня».

Писал в этой газете в начале литературной юности А. П. Чехов, писал А. В. Амфитеатров и, кажется, даже Вас. Ив. Немирович-Данченко. Детей А. Я. Липскерова репетировал бывавший часто у Чехова студент Н. Е. Эфрос, он и уговорил Чехова дать в газету повесть, которая и была напечатана в нескольких номерах «Новостей дня».

Вскоре Соколова и Балле де Барр перешли в «Московский листок», и редактировать газету стал А. П. Лансберг, редактор закрывшегося вскоре после его ухода «Голоса Москвы».

Талантливый беллетрист и фельетонист, он сумел привлечь сотрудников, и газета двинулась. После А. П. Лансберга редактором стал Н. Е. Эфрос, а затем А. С. Эрманс, при котором многие из сотрудников покинули газету.

Позднее А. С. Эрманс редактировал крупную и бойко шедшую газету в Одессе, но и здесь его постигла неудача.

В конце девяностых годов «Новости дня» имели огромный успех и свою публику. Их читала интеллигенция, «цивилизованное» купечество, театральная и бульварная публика.

В газете появился В. М. Дорошевич со своими короткими строчками, начавший здесь свой путь к славе «короля фельетонистов». Здесь он был не долго. Вскоре его пригласил Н. И. Пастухов в «Московский листок», а потом В. М. Дорошевич уехал в Одессу и в свое

путешествие на Сахалин.

На счастье А. Я. Липскерова приехал из Одессы маленький репортерик, одетый более чем скромно: Семен Лазаревич Кегулихес, впоследствии взявший фамилию Кегульский, — и начал ставить в «Новостях дня» хронику.

С год проработал он, быстрый и неутомимый, пригляделся, перезнакомился с кем надо и придумал новость, неслыханную в Москве, которая ему дала деньги и А. Я. Липскерова выручила. С. Л. Кегульский первый ввел практикуемые давно уже на Западе «пюблисите», то есть рекламы в тексте за большую плату.

Дело пошло. Деньги потекли в кассу, хотя «Новости дня» имели подписчиков меньше всех газет и шли только в розницу, но вместе с «пюблисите» появились объявления, и расцвел А. Я. Липскеров. Купил себе роскошный особняк у Красных ворот. Зеркальные стекла во все окно, сад при доме, дорогие запряжки, роскошные обеды и завтраки, — все время пьют и едят. Ложа в театре, ложа на скачках, ложа на бегах.

Всегда узнавалась издали ложа А, Я. Липскерова по куче богато одетых его детей. Но этого было ему мало. Завел свою скаковую конюшню.

Как-то Н. И. Пастухов, за обедом у Тестова просматривая «Новости дня», указал на объявление портновской фирмы Мандля в полстраницы и сказал:

— Штанами плотють!

В довершение всего А. Я. Липскеров стал спортсменом. Он держал около тридцати скаковых лошадей, которые классные призы выигрывали редко.

Его гораздо больше привлекала слава знаться с высшим обществом, и он любил заседать в членской беседке павильона наряду с графами и князьями.

Огромная конюшня, обнесенная забором, была в виду у всех на Ходынке, рядом со скаковым кругом. Расход был огромный, лошади, конечно, себя не оправдывали, и на содержание их не хватало доходов от газеты. Пошли векселя.

Как-то А. Я. Липскеров пригласил осмотреть конюшни и сделал мне выводку лошадей.

Когда я пересмотрел лошадей, он гордо сказал:

— Ну, как? Только правду говори!

— Вот что я тебе, Абрам, скажу по-дружески: послушайся меня и, если исполнишь мой совет, то будешь ты опять богат. Вот у тебя хлыст в руках, прикажи сейчас же отпереть все конюшни и всех до одной лошадей выгони в поле, ворота запри, а сам на поезд на два месяца в Крым. Иди и не оглядывайся!

Ошалел А. Я. Липскеров и даже обиделся. Прошло года три. «Новости дня» опять в долгу, лошадей кредиторы с аукциона продали. Встречаю его, он как-то весь полинял.

— Следовало бы тебя послушать, богат был бы, — сказал он, хлопнув меня по плечу и улыбаясь.

«Московский листок»

«Московский листок». Немного сейчас — в двадцатые годы XX века — людей, которые знают, что это за газета. А в восьмидесятые годы прошлого столетия «Московский листок» и в особенности его создатель — Николай Иванович Пастухов были известны не только грамотным москвичам, но даже многим и неграмотным; одни с любопытством, другие со страхом спрашивали:

— А что в «Листке» пропечатано?

Популярность «Московского листка» среди москвичей объяснялась не только характером и направленностью издания, но и личностью издателя, крепко державшего в руках всю газету.

Он и мне запомнился очень характерными для него как человека особенностями, которые делали его фигуру необычайно колоритной для газетной Москвы того времени.

* * *

«Московский листок» — создание Н. И. Пастухова, который говорил о себе:

— Я сам себе предок!

Это — яркая, можно сказать, во многом неповторимая фигура своего времени: безграмотный редактор на фоне безграмотных читателей, понявших и полюбивших этого человека, умевшего говорить на их языке.

Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету охотнорядца, лавочника, извозчика, трактирного завсегдатая и обывателя, мужика из глухих деревень.

Мало того, что Н. И. Пастухов приучал читать газету, — он и бумагу для «Листка» специальную заказывал, чтобы она годилась на курево.

Из-за одного этого он конкурировал с газетами, печатавшимися, может быть, на лучшей, но негодной для курева бумаге, даже это было учтено им!

Интересовался Н. И. Пастухов для своего «Листка» главным образом Москвой и Московской губернией.

— С меня Москвы хватит, — говорил он. Интересовался также городами, граничащими с ней, особенно фабричными районами. Когда он ездил на любимую им рыбную ловлю, то в деревнях и селах дружил с жителями, каким-то чутьем угадывая способных, и делал их своими корреспондентами.

— Да я малограмотный!

— На что мне твоя грамотность. У меня на то корректора есть. Ольга Михайловна все поправит! Ты только пиши правду, соврешь — беда будет!

И давал в кратких словах наставление, что и как писать.

— Вот ежели убийство или что другое такое крупное, сам в Москву приезжай, разузнавши все обстоятельно, что говорят и что как, а на дорогу и за хлопоты я тебе заплачу!

И получались от новых корреспондентов очень интересные вещи, и почти ни один никогда не соврал.

Н. И. Пастухов действительно не жалел денег на такие сообщения и получал сведения вне конкуренции.

Для распространения подписки в ближайших городах он посылал своих корреспондентов.

— Разнюхай там, о чем молчат!

* * *

Мое знакомство с Н. И. Пастуховым произошло в первых числах августа 1881 года в саду при театре А. А. Бренко в Петровском парке, где я служил актером. В этот вечер я играл в «Царе Борисе» Хлопко и после спектакля с Н. П. Кичеевым, редактором «Будильника», вдвоем ужинали в саду.

— Здравствуйте, Николай Петрович!

И, поздоровавшись с Н. П. Кичеевым, подошедший человек, очень похожий на писателя Писемского, сел за стол и протянул мне руку:

— Здравствуй!

Н. П. Кичеев нас познакомил:

— Пастухов Николай Иванович, редактор «Московского листка», и актер Гиляровский.

— Чего играешь? — спросил меня Николай Иванович.

— А вот сейчас атамана играл, — пояснил Н. П. Кичеев.

— Хорошо! Здорово ты их за шиворот тряханул! Потом, закуривая, сказал:

— Ты бы что-нибудь написал в «Листок».

— Не знаю, что написать! Н. П. Кичеев заметил:

— Стихи пишет. Хорошие стихи, я в «Будильник» взял.

— Ну, вот стихи давай, а то театральные анекдоты.

— Это могу! Я их много знаю.

— Ну и пиши…

Николай Иванович оглядел меня.

— Чего это ты в высоких сапогах?

— Да так, по привычке!

На другой день я послал несколько анекдотов, которые и были напечатаны в ближайшем номере под рубрикой «Записки театральной крысы».

Уже в первый год издания «Московский листок» заинтересовал Москву обилием и подробным описанием множества городских происшествий, как бы чудом на другой день попадавших на страницы газеты.

В газете наряду со сценами из народного быта печатались исторические и бытовые романы, лирические и юмористические стихи, но главное внимание в ней уделялось фактам и событиям повседневной московской жизни, что на газетном языке называлось репортажем.

Н. И. Пастухов, узнав от Кичеева и Андреева-Бурлака кое-что из моего прошлого, а главное, его подкупила георгиевская ленточка, со свойственным ему газетным чутьем заметил, видимо, во мне, как он впоследствии назвал, — тягу к репортажу.

Вскоре после знакомства Н. И. Пастухов усадил меня на извозчика и начал возить по разным местам Москвы и знакомить с людьми, которые были интересны для газеты.

Я видел, как он добывал сведения, как ловко задавал умелые вопросы, рассказывал мне о каждом уголке, где мы бывали, рассказывал о встреченных людях, двумя словами, иногда неопровержимо точно определяя человека.

В саду «Эрмитаж» как-то к нам подошел щеголевато одетый пожилой, худенький брюнет с бриллиантовым перстнем и протянул с любезными словами Н. И. Пастухову руку. Тот молча подал ему два пальца и, отвернувшись, продолжал разговаривать со мной. Брюнет постоял и немного конфузливо отошел от стола.

— Николай Иванович, кто это?

— Просто сволочь!.. И ни слова больше.

Позднее я узнал, что это один из ростовщиков популярного антрепренера М. В. Лентовского. Он держал для видимости довольно приличный винный погребок и гастрономический магазин, а на самом деле был шулер и ростовщик. От одного из таких же типов, тоже шулера, я узнал, что брюнет до этого, имея кличку Пашки-Шалуна, был карманником у Рязанского вокзала, а позднее работал по этим же делам в поездах. Я об этом рассказал Н. И. Пастухову.

— Знаю, было! — ответил он.

* * *

Николай Иванович Пастухов, как я уже сказал, был одним из ярких, чисто московских типов за последние полстолетия. Только своеобразная, своебытная торговая Москва могла создать такое явление, каким был этот издатель.

Тридцать лет я был близко знаком с Н. И. Пастуховым и благодаря ему самому и близким к нему людям достаточно хорошо знал его прошлое.

За тридцать лет он не переменился сам в себе до мелочей, даже и в то время, когда стал из голодного репортера благодаря своей газете миллионером.

— В жилу попал, — говорило купечество, видя, как Николаю Ивановичу газета дает ежегодно сотни тысяч барыша.

Действительно, Н. И. Пастухов знал всю подноготную, особенно торговой Москвы и московской администрации. Знал, кто что думает и кто чего хочет. Людей малограмотных, никогда не державших в руках книгу и газету, он приучил читать свой «Листок».

В 1881 году ему было разрешено издание газеты, а первого августа этого года вышел первый номер «Московского листка».

В «Будильнике» предварительно появилась следующая карикатура: по Тверской едет на рысаке господин в богатой шубе, с портфелем под мышкой — портрет Н. И. Пастухова, а

на спинке саней надпись: «Московский листок». Под карикатурой подписано: «На своей собственной…»

С гордостью Н. И. Пастухов показывал этот номер своим знакомым:

— На своей собственной!

Человек, выбившийся из ничего, загнанный, вечно нуждающийся в копейке, и вдруг…

— На своей собственной! Редактор своей газеты!..

— Вот я им покажу, чего я стою, — говорил Н. И. Пастухов по адресу людей, издевавшихся над его нуждой.

И показал!

Человек огромной силы воли, за год перед этим никем не признаваемый, при полном отсутствии воспитания и образования, совершил почти невозможное.

Трудно было думать, что через несколько лет после издания своей газеты этот человек будет гостем на балу у президента Французской республики господина Карно, во время франко-русских торжеств в Париже!

Мещанин города Гжатска Смоленской губернии, служивший во время крепостного права подвальным и поверенным при винных откупах, он уже искал света, читал, что попадало под руку, и писал стихи.

Я бережно храню библиографическую редкость — книжку в 48 страниц: «Стихотворения из питейного быта и комедия «Питейная контора», сочинение Николая Пастухова. Москва, 1862 год».

Комедия жестоко обличительная. В ней только и есть грабители — купцы, сплошь взяточники, крупные власти и горькие пьяницы-чиновники.

Только в 1862 году, в первый год после уничтожения крепостного права, и могла проскочить такая книжка.

Даря мне книжку, Н. И. Пастухов сказал: — Во как мы писали! Поди-ка пошли ее теперь в цензуру — в Сибирь сошлют!

Всю свою душу, все свои беды и невзгоды вылил автор-самоучка в немудрых стихах, давая картинки своей трудной жизни:

С квартиры выгнали, в другую не пускают:
Все говорят, что малый я пустой,
Срок паспорта прошел, в полицию таскают.
Отсрочки не дают без денег никакой…
Теперь сижу один я на бульваре
И думаю, где мне ночлег сыскать.
Одной копейки нет в моем кармане,
Пришлось последнее продать…

Но энергичная натура не поддавалась нужде, и он верил в свое счастье:

Я думаю, когда-нибудь
Должна же радость проглянуть!..

Но эта радость долго не приходила. В стихах этой же книжечки говорит Н. И. Пастухов об единственной утехе, которая скрашивала его тяжелые дни:

Люблю я летом с удочкой
Над речкою сидеть…

Рыбная ловля была единственным бессменным удовольствием Н. И. Пастухова с детства до его смерти. Не самая ловля, не добыча рыбы, а часы в природе были ему дороги.

По нескольку суток, днем и ночью, он ездил в лодке по реке, тут же спал на берегу

около костра, несмотря ни на какую погоду. Даже по зимам уезжал ловить и в двадцатиградусные морозы просиживал часами у проруби на речке.

Много рассказов написал он во время своих поездок по рекам и озерам. Первое стихотворение в его книжке — о рыбной ловле. Книжка и есть начало его будущего благосостояния, начало и «Московского листка».

Н. И. Пастухов открыл в Москве около Арбата небольшое «питейное заведение», и с этого момента начинается его перерождение.

Широкий по натуре, добрый и хлебосольный, Н. И. Пастухов помогал студенческой молодежи, которая кормилась, дневала и ночевала у него.

В числе их были, между прочим, студент Ф. Н. Плевако, потом знаменитый адвокат, А. М. Дмитриев — участник студенческих беспорядков в Петербурге в 1862 году и изгнанный за это из университета (впоследствии писатель «Барон Галкин», автор популярной в то время «Падшей») и учитель Жеребцов.

Большую часть своего времени вместо торговли Н. И. Пастухов проводил с ними, слушая, что они читают, читал сам.

И, конечно, проторговался, но никогда не падал духом. В его банкротстве было его будущее счастье. Жеребцов и Дмитриев работали тогда в только что начавших издаваться Н. С. Скворцовым «Русских ведомостях».

Н. И. Пастухов благодаря своим широким знакомствам добывал репортерские сведения и, написав, как умел на клочке бумаги, передавал их для газеты. Сведения эти переделывались и печатались.

При упорном труде Н. И. Пастухов выучился сам в конце концов писать заметки о происшествиях, добывая их у полиции и у трущобников, и вскоре сделался первым и единственным московским репортером, которому можно было верить безусловно.

Он бросил свою торговлю и весь отдался газетному делу. Ради какого-нибудь удавившегося портного в Рогожской или пожара в Марьиной роще Н. И. Пастухов бегал десятки верст пешком и доставлял сведения, живые и точные.

Потом в газете «Современные известия» он стал писать заметки и фельетоны. Одновременно с этим А. А. Соколов, редактор «Петербургского листка», пригласил Н. И. Пастухова сотрудничать в своей газете, где он и писал «Письма из Москвы», имевшие большой успех.

«Современные известия» стали командировать его на Нижегородскую ярмарку, откуда он доставлял обстоятельные торговые сведения и разные статьи. Статьи, обличавшие ярмарочные безобразия, читались нарасхват и обратили на автора внимание нижегородских губернаторов, в том числе и градоначальника Н. П. Игнатьева.

Когда последний в мае 1881 года был назначен министром внутренних дел, Н. И. Пастухов, учтя впечатление, которое он произвел на Н. П. Игнатьева, обратился к нему с ходатайством о разрешении издавать в Москве ежедневную газету.

Ходатайство было удовлетворено, разрешение получено, и Н. И. Пастухов с помощью богатого купца-писчебумажника, давшего денег «на первое обзаведение», начал издание «Московского листка».

Н. И. Пастухов к газетной работе относился строго и жестоко разносил репортеров, которые делали ошибки или недомолвки в сообщениях.

— Какое же это самоубийство, когда он жив остался?! Врешь все! — напустился раз Н. И. Пастухов на репортера С. А. Епифанова, который сообщил о самоубийстве студента, а на другой день выяснилось, что это было только покушение на самоубийство.

— Жив, а ты самоубийство!

— Да как же, Николай Иванович, его замертво в больницу увезли, только к утру он стал подавать признаки жизни!

— А ты пойди и пощупай. Если остыл, тогда и пиши самоубийство! В гроб положат — не верь. Вон червонные валеты Брюхатова в гроб положили, а как понесли покойника, с духовенством, на Ваганьково мимо «Яра», он выскочил из гроба да к буфету! Мало ли что

бывает!

Репортеров он ценил больше всех других сотрудников и не жалел им на расходы, причем всегда давал деньги сам лично, не проводя их через контору, и каждый раз, давая, говорил:

— Это на расходы! Никому только не говори!

По душе это был добрейший человек, хотя нередко весьма грубый. Но после грубо брошенного отказа сотруднику в авансе призывал к себе и давал просимое.

— Николай Иванович, у меня вчера сын родился, — докладывает сотрудник А. М. Пазухин, собиравшийся просить аванс.

— Я здесь ни при чем!

— Авансом бы мне пятьдесят рублей. Ведь расходы, новорожденный!

— Сами виноваты! Мне какое дело? Ничего не дам! — И начинает ходить по кабинету быстро-быстро.

Потом остановится: — Ступайте в контору и скажите, что я велел дать 25 рублей.

— Пятьдесят бы!

В конце концов Н. И. Пастухов смягчался, начинал говорить уже не вы, а ты и давал пятьдесят рублей. Но крупных гонораров платить не любил и признавал пятак за прозу и гривенник за стихи. Тогда в Москве жизнь дешевая была. Как-то во время его обычного обеда в трактире Тестова, где за его столом всегда собирались сотрудники, ему показали сидевшего за другим столом поэта Бальмонта.

— Пишет стихи? — спросил он.

— Да, Николай Иванович, прекрасные стихи пишет.

— Федя, — обратился он к своему редактору Ф.К.Иванову, — чего же он у нас не пишет! Позови его! Пусть пишет!

— Да он дорог.

— Все равно. Пускай пишет. Уж ежели я сказал, чтоб писал, так, стало быть, денег не жалею!

— Ведь он за стихи по рублю за строку берет, — сказал кто-то из собеседников.

— По рублю? За строку?

— Да! Ну вот, видите, и не годится!

Но Николай Иванович не смутился и обратился к Ф. К. Иванову:

— Федя, скажи ему… пусть напишет… так строчки три. Мы заплатим по рублю.

Бывали случаи, что Н. И. Пастухов действительно платил своим сотрудникам, и очень крупно.

Когда он издавал свой журнал «Гусляр», то А. П. Полонскому и А. Н. Майкову он платил по 100 рублей за стихотворение, крупно также платил известному тогда поэту Л. Н. Граве, переводчику Леопарди.

Как-то сидела в редакции «Гусляра» компания, в которой был и Л. Н. Граве. Говорили о стихах Леопарди. Входит Н. И. Пастухов и садится. Л. Н. Граве обращается к нему, как бы продолжая наш разговор:

— Николай Иванович, а вы что скажете о Леопарди?

— Чего?

— Что вы скажете о Леопарди?

— Что сказать? Зверь как зверь!

Н. И. Пастухов был иногда очень откровенен и никогда не любил рисоваться. Раз как-то «хозяин столицы» князь В. А. Долгоруков спросил его:

— Как идет ваша газета?

— Слава богу, ваше сиятельство, кормимся!

Тогда на Н. И. Пастухова набросились за эти слова сотрудники либеральной печати, говоря, что подобный ответ унижает достоинство журналиста.

— Ну что ж! И кормимся! А вы-то что ж, даром в своей газете работаете? Тоже кормитесь, да не одним гонораром, а еще за проведение идей с банков берете. Чья бы корова

мычала, а уж ваша-то бы молчала!

Ставши миллионером, он не менял своих привычек, так же репортерствовал сам, как и прежде, и добывал такие сведения, которых добыть никто не мог.

Во время коронации 1896 года он поручил своим сотрудникам во что бы то ни стало добыть заранее манифест, чтобы первому его опубликовать в своей газете.

Ни репортеры, ни чиновники не могли этого сделать, даже никто не мог узнать, где он печатается, так как это все велось в строжайшей тайне.

Н. И. Пастухов, рыскавший целый день, дознался, что манифест печатается в Синодальной типографии, на Никольской. Он познакомился с курьерами и околачивался все время в швейцарской и ждал, когда повезут отпечатанный манифест во дворец.

Наконец, начали выносить крепко завязанные пачки, чтоб грузить в присланную за манифестом коляску с придворным лакеем на козлах.

— Достань-ка, братец, из пачки парочку манифестиков, на память хочется в семье иметь. — И сунул в руку двадцатипятирублевку.

Через минуту два экземпляра манифеста были в кармане Николая Ивановича, а через час газетчики и мальчишки носились с особым приложением к «Московскому листку» и продавали манифест на улицах за сутки до обнародования в других газетах.

Н. И. Пастухов ликовал: не столько наживе радовался, сколько ловкости репортерской и редакторской.

— Мы первые!

А на другой день струсил: его вызвали к министру.

— Я у вас не буду спрашивать подробностей, каким путем вы ухитрились добыть манифест, ответьте только на один вопрос: легальным путем или нет вы добыли манифест?

— Легальным, ваше высокопревосходительство, двадцать пять рублей на чай дал!

* * *

«Московский листок» сразу приобрел себе такую репутацию, что именитое и образованное купечество стыдилось брать в руки эту газету, никогда на нее не подписывалось, но через черный ход прислуга рано утром бегала к газетчику и потихоньку приносила «самому» номер, который он с опаской развертывал и смотрел главным образом рубрику «Советы и ответы».

— Уж не прохватил ли меня этот!

Радовался, если уцелел, а прохватили кого-нибудь из знакомых.

Каждый номер газеты являлся предметом для разговоров.

— И откуда эта ищейка все разнюхает, всю подноготную вывернет? — удивлялись они.

— Посмотрим, кажется, говорят, опять сегодня Гаврила Гаврилыча разделал.

— Это вчера было и всего две строчки, написал без имени и фамилии, а как влил, наизусть помню:

Пред совестью хозяина Пассажа
Пас сажа.

Половой приносил сидящим в трактире именитым посетителям «Листок», и начиналось вслух чтение «Раешника».

«Изволите видеть, ходит мимо красавец почтенный, мужчина степенный, усы завиты, бачки подбриты, глядит молодцом, барином, не купцом. Ходит по Кузнецкому мосту, ищет денег приросту, с первого числа, грит, удружу, на всех по полтыщи наложу, мы им наживать даем, значит, повысим за наем.

Ходит посвистывает, книжечку перелистывает, адреса ищет, барыни, раскрасавицы, сударыни, денег, грит, пообещаю, любовью настращаю, что, мол, погубите, коли не любите, а там насчет денег яман, держи шире карман, надуем первый сорт».

Хохочут именитые при чтении таких строчек.

— Дальше не стоит! Эй, унеси газету, давай-ка закусить!

Половой уносит, улыбаясь, газету и смеется со своими товарищами на кухне.

— Про Солодовникова процыганили! А как дошло дело до них, до самих фабрикантов, и газету велели унести! Небось, дома уж каждый прочитал, каждому подходит.

А в газете писалось:

«Пожалте сюда, поглядите-ка, хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а миллионный фабрикант попить, погулять охочий на труд на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, все на него работают. А народ-то фабричный, ко всему привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка, да гнилая одежка, подводит живот да бока у фабричного паренька.

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не позволяют покупать продукты, примерно хочешь лук ты — посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки. Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело табак, беги в фабричный кабак. В другом будешь скупей, а тут на книжку пей, штучка не мудра, дадут и полведра.

А в городе хозяин ходит, как граф, пользу да штраф, да прибыль, провизия, значит, не в ремизе я, а там на товар процент дает хороший дивиденд, а уж при подряде своего тоже не упустим, такого Петра Кириллова запустим, что на поди! Значит, пей да гуляй, да певиц бриллиантами наделяй, а ежели учинишь дебош, адвокат у нас хорош, это нам не в убытки, потому прибытки прытки».

И так ежедневно, в каждом номере «Листка» обязательно пробирали и купечество именитое, и мелких хозяйчиков, и думу, и земство.

«Листок», конечно, не любили, считали его шантажным. Н. И. Пастухова называли шантажистом.

Но нередко те из газетных работников, кто называл так его, приходили к Н. И. Пастухову за авансом, и он «нанимал их в сотрудники», разве только скажет цитату из его же фельетона и закончит:

— Отутюжь-ка мне двенадцать братчиков, у них что-то от вчерашней статьи насчет Земельного банка жареным запахло!

— Мне неудобно, Николай Иванович, в «Русских ведомостях» у меня есть знакомые!

— Ну, как хочешь, сам отчихвощу! Да ты что, в доле с ними? Лапку сосешь? Уж не ты ли объявления в банке для них получаешь? Принеси и нам.

— Я бы принес, Николай Иванович, да ведь вы подведете, как тогда с Гужоном было, он сдал вам объявление, а вы в том же номере и написали, что завод Гужона всю Москву-реку заразил из потайных труб нечистотами.

— Что же, меня купили объявлениями? Все равно выругаю их, кто заслуживает. Кто рыбу морит в реке, народ отравляет, я о них за объявления молчать буду?

— Ресторан «Эрмитаж» опять обижается, опять выругали, что у них в кухне грязно, а сколько он вам объявлений сдает?

— Пусть не сдает, не надо, а завтра опять его дербану!

И на другой день появляется в «Советах и ответах» следующее: «Повару Оливье на Трубу. Рябчики-то ваши куда как плохи, нельзя ли подавать посвежей. Узнает о том санитарная комиссия — протокол составит».

Эти «Советы и ответы» придумал Н. И. Пастухов, и в первый год издания они сразу двинули розницу газеты.

Каждый из торгового мира москвич покупал газету и развертывал с трепетом: «Не попался ли я?»

Все обиженные стали возмущаться, равно как и те, которые чувствовали за собой какую-нибудь вину. Многие газеты, конечно, набросились на «Листок», выражали презрение к нему, и сотрудничество в нем стало считаться зазорным.

— У них газета нейдет, они и завидуют, — говорил Н. И. Пастухов.

Н. П. Кичеев, редактировавший «Листок» с первых номеров, как только появились «Советы и ответы», под влиянием этих разговоров отказался от редактирования и лишился большого заработка.

Многие ругали «Листок», и все его читали. Внешне чуждались Н. И. Пастухова, а к нему шли. А он вел свою линию, не обращал на такие разговоры никакого внимания, со всеми был одинаков, с утра до поздней ночи носился по трактирам, не стеснялся пить чай в простонародных притонах и там-то главным образом вербовал

своих корреспондентов и слушал разные разговоры мелкого люда, которые и печатал, чутьем угадывая, где правда и где ложь.

Бывали случаи, что старались поймать Н. И. Пастухова, сообщали ложные сведения, чтоб подвести газету, много посылали анонимных писем, но его провести было трудно. Он чувствовал, где ложь и где правда.

Некоторые же, достойные внимания известия, всегда посылал проверить самых опытных репортеров.

— Гляди, чтоб комар носа не подточил, тихомолом разнюхай!

Репортерам приходилось иногда идти пешком — тогда еще и конок не было — в Хамовники, или в Сокольники, или в Даниловку разнюхивать на фабрике, чем кормят рабочих, как они живут и берут ли с них штрафы.

Разузнает все репортер, принесет подробное сообщение, а Н. И. Пастухов лично переделает три-четыре строки и хватит в «Советах и ответах» провинившегося фабриканта, назвав его по приметам или по прозвищу так, что все узнают; и к суду привлечь никак нельзя.

В результате таких «Советов и ответов» часто незаконные штрафы прекращались, пища и жилище улучшались, а репортер прямо из рук Н. И. Пастухова получал за эти три-четыре строки пять, а то и десять рублей гонорара.

Кто сообщил, кто написал, — никому не известно, а главное, к суду привлечь нельзя.

Многим помогали эти «Советы и ответы», и многим попадало в них ежедневно, а больше всего тем, кто притеснял рабочих, служащих, обиженных.

«Мебельщику С-ому. На Большую Дмитровку.

Вы жалуетесь, что Вам снятся сны неспокойные, погодите — не такие еще будут сниться, если Вы только не перестанете обижать и обсчитывать своих рабочих».

«Околоточному Рабиновичу, Серпуховский участок.

Кажется, прошло то время, когда ваша братия ходила славить, блуждая по лавкам, а вы все еще это занятие не оставляете, смотрите, как бы вас за это начальство не припугнуло», — и полиция по Москве начинает остерегаться брать взятки.

«Фабриканту Емельянычу в Бронницкий уезд. Пожалуйста, не выворачивайте кармана, раненько задумали, как бы вам в капкан не попасть!»

«В Охотный ряд Илюше Пузатому. Кормите приказчиков побольше, а работать заставляйте поменьше, сам пузо нажрал, небось!»

Смотришь, фабрикант Емельяныч не устраивает дутого банкротства, и не один Пузатый, а и другие хозяева Охотного ряда начинают больше заботиться о приказчиках.

Газету читали и читали, с каждым днем рос тираж, корреспонденции шли со всех углов, из самых глухих деревень, потому что Н. И. Пастухов умел уговаривать писать всякого, писать ему всякую новость. Учил, что и как писать.

Много и безграмотной ерунды, конечно, присылали, но Н. И. Пастухов умел извлекать интересное, и не было во всей Московской губернии ни одного трактира, где не получался бы «Листок».

«Кабацкий листок» — звали его либеральные газеты.

* * *

Одним из главных магнитов, привлекавших простодушного читателя «Листка», были ежедневно печатавшиеся в газете романы-фельетоны.

Романы шли шесть раз в неделю, а по воскресеньям шел фельетон И. И. Мясницкого, его сценки из народного или купеческого быта. И. И. Мясницкого читала праздничная публика, а романы, можно сказать, читались более широко. Каждый романист имел свои два дня в неделю. Понедельник и среда — исторический роман Опочинина, вторник и пятница — роман из высшего круга с уголовщиной «Синее домино» (псевдоним А. И. Соколовой), а среда и суббота — А, М. Пазухин, особый любимец публики, дававший постоянных подписчиков.

В контору газеты, помню, при мне пришли две старушки и заявили принимающей подписку:

— На Пазухина на полгода подпишите нас.

Многие читали только А. М. Пазухина, его незатейливые романы из мещанской и купеческой жизни, всегда кончавшиеся общим благополучием.

А. М. Пазухин писал непрерывно, круглый год, два фельетона-романа в неделю, а в тексте еще сценки.

Другие романисты менялись, появлялись романы Рудниковского (М, Н. Былов), П. М. Старицкого, украинского актера, из запорожской жизни, А. А. Соколова и другие, но А. М. Пазухин был несменяем.

Наконец, сам Н. И. Пастухов «загремел» своим романом «Разбойник Чуркин» — тоже два раза в неделю. «Листок» так пошел в розницу, что даже А. М. Пазухина забил. Роман подписывался псевдонимом «Старый знакомый», но вся Москва знала, что это псевдоним Н. И. Пастухова.

Еще до «Листка» псевдоним «Старый знакомый» много лет появлялся в «Современных известиях» и в «Русской газете» под жестокими, обличительными фельетонами.

Этот псевдоним имел свою историю. Н. И. Пастухов с семьей, задолго до выхода своей газеты, жил на даче в селе Волынском за Дорогомиловской заставой. После газетной работы по ночам, за неимением денег на извозчика, часто ходил из Москвы пешком по Можайке, где грабежи были не редкость, особенно на Поклонной горе. Уж очень для грабителей место было удобное — издали все кругом видно.

Придорожные грабители Н. И. Пастухова никогда не трогали потому, что и по костюму видно, что денег у такого прохожего не предвидится, да, кроме того, он их то папироской угостит, то, захватив с собой бутылку водки на дачу, разопьет с ними где-нибудь в канаве.

Знали они, что он писал в газетах и подписывался — еще в «Русской газете» — «Праздношатающийся», и говорили ему шутя:

— Мотри, малай, нас не пропиши!

— Я знакомых не трогаю!

Как-то в августовскую ночь Н. И. Пастухов, закупив провизии, поехал на дачу на извозчике. На Поклонной горе ватага остановила извозчика и бросилась к пролетке, а Н. И. Пастухов сидит и курит.

— Не узнали, что ли, своего, ребята!

— А! Да это старый знакомый! Ну, поезжай… Через день он подписал свой фельетон: «Старый знакомый», и этот псевдоним он сохранил до конца жизни.

Кроме «Старого знакомого», Н. И. Пастухов подписывал иногда свои статьи «Дедушка с Арбата» — в память, видимо, того времени, когда он, приехав в Москву, жил по разным квартирам в арбатских переулках.

Мелкообличительные статейки, состоящие из диалогов с каким-то «корнетом» и «Его благородием», он подписывал «Праздношатающийся», а заметки, за которые могла последовать, как он выражался, «волосотрепка от начальства», шли под «Не я».

— Чтобы без греха отделаться!

— Это вы писали? — спросит иногда начальство. Или купец прохваченный привяжется:

— Это ты меня, Николай, отчихвостил? Я отвечаю с чистой совестью:
— Неграмотный ты, что ли? Видишь, напечатано? «Не я»!
— Стало быть, не ты! Врешь! А ну-ка, побожись! И божишься — не я писал!

* * *

Репортаж Н. И. Пастухов ценил выше всего, потому что весь интерес газеты строил на быстроте сообщений, верности факта, образности и яркости изложения.

Экстренные поручения давались им на ходу: в редакции, на улице, где придется. Редакция помещалась тогда на Софийской набережной в маленьких комнатушках нижнего этажа при типографии Д. М. Погодина, сына известного историка.

Когда редактор Балле де Барр ушел из «Листка» и уехал в Самару, где очень долго работал в газетах, его место занял Федор Константинович Иванов, который стал фактическим редактором и был им до конца своей жизни.

За ним Н. И. Пастухову можно было спокойно спать, ловить рыбу и уезжать на лето в Нижний и издавать там свою ярмарочную газету «Нижегородская почта».

Ф. К. Иванов был все. Он любил кутнуть, и даже нередко, но пока матрица не отлита, пока он не просмотрит оттиска, — из редакции не выходил. Но когда газету спускали в машину, Федор Константинович мчался на лихаче к «Яру» или в «Золотой якорь», где его уже ждала компания во главе с номинальным редактором Виктором Николаевичем Пастуховым, сыном редактора.

Раз такой пир в «Стрельне» кончился неблагополучно. В рождественскую вьюжную ночь, когда метель была такая, что ямщику лошадей не видно, компания возвращалась на тройках и на парных извозчиках-«голубчиках». Дорогой где-то в парке потеряли В. М. Дорошевича, который ни с того ни с сего выскочил из саней и исчез в метели. Как это случилось — никто не заметил. Ночь была морозная. Около застав и по улицам горели костры, и к такому костру у Пресненской заставы подошел человек без шапки, весь обмороженный. Это был В. М. Дорошевич. Его отправили в приемный покой Пресненской части. Как он ухитрился пройти мимо бегов, мимо скачек, вьюжным Ходынским полем от Тверской заставы к Пресненской, он не помнил. Всю жизнь после этого В. М. Дорошевич страдал ревматизмом.

Редакционная компания «Листка» гуливала часто. Как-то летом, до солнышка, вышла она из загородного ресторана и увидела, что едет огромная фура для перевозки мебели, запряженная парой огромных битюгов, в ней была навалена солома для упаковки.

— Стой! Что возьмешь сейчас нас отвезти на дачу в Царицыно? — предложил Ф. К. Иванов.

— Двадцать пять рублей!

— Ладно, поехали!

Все с восторгом приняли предложение, быстро расположились в фуре и с места уснули на мягкой соломе, проспав до самого Царицына, где всех разбудили в полдень.

Федор Константинович умел гулять, но умел и работать. Любимец типографии и сотрудников, но строгий и требовательный, он последнюю полосу прочитывал сам и как редактор и как корректор, чтобы в запятой ошибки не было.

Корректуре он доверял только в те дни, когда дежурила Ольга Михайловна Турчанинова, служившая корректоршей с самого первого номера газеты. У ней ошибок не бывало.

Как-то, в четвертом часу утра, заезжаю в редакцию, вхожу в кабинет к Ф. К. Иванову и вижу, он сидит один в кабинете и хохочет, как сумасшедший.

Перед ним первый оттиск газеты из машины. Он хохочет и, ничего не говоря, тычет пальцем в напечатанную на первом месте крупным шрифтом телеграмму в две строки:

«Петербург. Высочайший вор выехал в Гатчину».

— Видел! Не дождался бы я номера из машины — и газету бы закрыли, и меня бы с Н.

И. Пастуховым в Сибирь послали! В корректуре «Двор», в полосе «Двор», а в матрице буква запала!

Н. И. Пастухов ценил его и при всех затруднительных случаях обязательно обращался к нему.

У Н. И. Пастухова осталась еще с молодых лет боязнь всякого начальства, и каждому власть имущему он старался угодить всеми возможными способами, давая всякому, кому только можно, взятки: кому денег даст взаймы без отдачи, у кого ненужную лошадь купит. И у главного московского цензора Назаревского купил две дачи в Пушкине за несуразно дорогую цену.

— Да на что вам дачи в Пушкине? — спросил кто-то из своих.

— Мало ли что! И он, и дачи пригодятся со временем!

— А сколько тысяч вы лишков переплатили?

— Ничего, ощенятся!

Впоследствии оказалось, что Н. И. Пастухов был прав.

Каждый год первого августа — день основания газеты — Н. И. Пастухов праздновал в Пушкине, где у него присутствовали и крупные власти и где, не берущим взяток, он проигрывал крупно в карты.

— Что же, тем кормятся! На казенное жалованье не проживешь! — оправдывал он взяточников, не стесняясь с ними в обращении.

Зато неберущих боялся и разговаривать с ними не решался, посылая за себя Ф. К. Иванова.

— Федя, милый, съезди к его сиятельству! Выручи, ты уж знаешь, что сказать!

Ф. К. Иванов ехал к генерал-губернатору и выручал газету. Великим дипломатом был Федор Константинович, но раз попался.

Поздним вечером в редакции было получено от какого-то случайного очевидца известие, что между Воробьевыми горами и Крымским мостом опрокинулась лодка и утонуло шесть человек. Пользуясь знакомством с Н. И. Огаревым, бывшим в это время за обер-полицмейстера, Ф. К. Иванов, несмотря на поздний час, отправился к нему и застал полковника дома в его знаменитой приемной.

Вся стена приемной была украшена карикатурами на полицию, начиная с древнейших времен. Здесь были и лубки, и вырезки из сатирических журналов, и оригиналы разных художников.

— Дорогая коллекция. Много лет ее собираю и не
жалею денег! — говорил Н. И. Огарев. Здесь он и встретил Ф. К. Иванова.

— Что скажете?

— Да я к вам проверить сведение. Прислали заметку о шести утонувших, правда ли это?

— Правда, утонули сегодня днем. А ну-ка, покажите заметку!

Н. И. Огарев прочел заметку и сказал:

— Все верно. Только здесь вот вставьте: «Лодка плыла от Воробьевых гор к Москве». А у вас не видно, откуда она плыла. А это важно! Понимаете? Оттуда, не отсюда!

Ф. К. Иванов сделал требуемую вставку, и заметка была на другой день напечатана.

Часа в четыре дня в редакцию «Московского листка» влетел правитель канцелярии московского губернатора, гроза всей губернии Карпенко.

— Федор Константинович, я к вам по важному делу. Губернатор Василий Степанович (Перфильев) сердится очень на газету. Что у вас за репортеры!

— В чем дело?

— У вас сегодня напечатано… Ну, на Москве-реке вчера шестеро утонувших…

— Да, напечатано.

— Напрасно: у вас написано, что оттуда, а надо отсюда. Василий Степанович сердится!

— Ничего не понимаю! Что оттуда, что отсюда?

— Да лодка плыла туда, а не сюда. То есть не в Москву она плыла, а из Москвы.

Понимаете, если она из Москвы плыла, отвечать будет московская полиция, а ежели с Воробьевых гор, так уездная полиция.

— Да ведь она плыла на самом деле оттуда, так и написано.

— А на самом деле она плыла отсюда, а написано оттуда! Теперь князь Владимир Андреевич нас тянет.

— Да мне вчера лично Н. И.Огарев сказал, что именно лодка плыла оттуда сюда, а не отсюда туда! Да еще подтвердил, что очень важно написать, что она оттуда.

— По-ни-маю! Так и доложу его превосходительству… Значит, лично полковник Н. И. Огарев! Это его штуки! Только уж вы, Федор Константинович, если еще утонут, так нас спрашивайте, а не Н. И. Огарева. Подвел он нас!

* * *

— Репортер, как вор на ярмарке: все видь, ничего не пропускай, — сказал мне Н. И. Пастухов в первые дни работы в «Листке».

С момента приглашения меня, писавшего тогда в «Русской газете» и еженедельных журналах, назначенным фактическим редактором газеты Н. П. Кичеевым, я работал в репортаже.

— Репортер должен знать все, что случилось в городе. Не прозевать ни одного сенсационного убийства, ни одного большого пожара или крушения поезда, — настойчиво поучал меня Н. И. Пастухов, целыми часами посвящая в тайны репортерства и рассказывая интимную жизнь города, которую знал в подробностях, вызывавших искреннее удивление.

Что случалось за городом, Н. И. Пастухов имел сведения от исправника и канцелярии губернатора, а меня посылал по провинции, когда там случались события, казавшиеся ему нужными для освещения в газете.

Одной из таких поездок была в Орехово-Зуево на расследование пожара на фабрике Морозова, случившегося 28 мая 1882 года.

По приезде в Орехово я узнал, что в грудах обломков и пепла на месте пожарища на фабрике найдено было одиннадцать трупов. Детей клали в один гроб по нескольку. Похороны представляли печальную картину: в телегах везли на Мызинское кладбище.

Кладбищ в Орехово-Зуеве было два: одно — Ореховское, почетное, а другое — Мызинское, для остальных. Оно находилось в полуверсте от церкви в небольшом сосновом лесочке, на песчаном кургане; там при мне похоронили семнадцать умерших в больнице и одиннадцать найденных на пожарище.

Рабочие были в панике. Накануне моего приезда 31 мая в казарме № 5 кто-то крикнул: «Пожар!», и произошел переполох.

Уже после моего приезда замазанные в казармах окна порасковыряли сами рабочие и приготовили веревки для спасения.

Когда привозили на кладбище гробы из больницы, строжайше было запрещено говорить, что это жертвы пожара. Происшедшую катастрофу покрывали непроницаемой завесой.

Перед отъездом в Москву, когда я разузнал все и даже добыл список пострадавших и погибших, я попробовал повидать официальных лиц. Обратился к больничному врачу, но и он оказался хранителем тайны и отказался отвечать на вопросы.

— Скажите, по крайней мере, доктор, сколько у вас в больнице обгорелых, — спрашивал я, хотя список их у меня был в кармане.

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору или к полицейскому надзирателю.

— Их двадцать девять, я знаю, но как их здоровье?

— Ничего-с, ничего не могу вам сказать, обратитесь в контору.

— Но скажите хоть, сколько умерло, ведь это же не секрет.

— Ничего-с, ничего… — и, не кончив говорить, быстро ретировался.

Решил рискнуть и пошел разыскивать самого квартального. Довольно быстро я узнал, что он на вокзале, пошел туда и встретил по дороге упитанного полицейского типа.

— Скажите, какая, по-вашему, причина пожара?

— Поджог, — ответил он как-то сразу, а потом, посмотрев на мой костюм, добавил строго: — А ты кто такой за человек есть?

— Человек, брат, я московский, а ежели спрашиваешь, так могу тебе и карточку с удостоверением показать.

— А, здравствуйте! Значит, оттуда? — И подмигнул.

— Значит, оттуда! Вторые сутки здесь каталажусь… Все узнал. Так поджог?

— Поджог, лестницы керосином были облиты. — А кто видел?

— Там уж есть такие, найдутся, а то расходы-то какие будут фабрике, ежели не докажут поджога! Ну, а как ваш полковник поживает?

— Какой?

— Как какой, известно, ваш начальник, полковник Муравьев! Ведь вы из сыскного?

— Вроде того, еще пострашнее, вот глядите! Захотев поозорничать, я вынул из кармана книжку с моей карточкой и печатным бланком корреспондента «Московского листка» и показал ему. В лице изменился и затараторил!

— Вот оно что, ну, ловко вы меня поддели! Нет, что уж… только меня, пожалуйста, не пропишите, будто мы с вами не видались, сделайте милость, — сами понимаете, дело подначальное, а у меня семья, дети…

— Даю вам слово, что я о вас не упомяну, только ответьте на мои некоторые вопросы.

Мы побеседовали, и я от него узнал всю подноготную жизни фабрики. И далеко не в пользу хозяев говорил он.

* * *

В Москву я вернулся ночью, написал корреспонденцию, подписал ее псевдонимом «Проезжий корнет» и привез рано утром Н. И. Пастухову.

Н. И. Пастухов увел меня в кабинет, прослушал корреспонденцию, сказал: «Ладно», потом засмеялся.

— Корнет? Так корнету и поверят! Зачеркнул и подписал: «Свой человек».

— Пусть у себя поищут, а то эти подлецы купцы узнают и пакостить будут. Посмотрим, как они завтра завертятся, как караси на сковородке, пузатые! Вот рабочие, наверное, обрадуются, читать газету взасос будут, а там и сами нас завалят корреспонденциями про свои беспорядки.

Через два дня прихожу утром к Н. И. Пастухову, а тот в волнении.

— Сегодня к двенадцати генерал-губернатор, князь В. А. Долгоруков, вызывает, купцы нажаловались, беда будет, а ты приходи в четыре часа в тестовский трактир, я от князя прямо туда. Ехать боюсь!

Сотрудник «Московского листка» Герзон и я к трем часам дня сидели за трактирным столом.

Входит Н. И. Пастухов сияющий и начинает рассказывать:

— Прихожу я к подъезду, к дежурному, — князь завтракает. Я скорей на задний двор, вхожу к начальнику секретного отделения П. М. Хотинскому, — человек, конечно, он свой, приятель, наш сотрудник. Спрашиваю его:

«Павел Михайлович, зачем меня его сиятельство требует? Очень сердит?»

«Вчера Морозовы ореховские приезжали оба, и Викула и Тимофей, говорят, ваша газета бунт на фабрике сделала, обе фабрики шумят. Ваш «Листок» читают, по трактирам собираясь толпами, на кладбище тоже все читают. Князь рассердился: корреспондента, говорит, арестовать и выслать».

Ну, я ему: «Что же делать, Павел Михайлович, в долгу не останусь, научите!»

«А вот что: князь будет кричать и топать, а вы ему только одно: виноват, ваше

сиятельство. А потом спросит, кто такой корреспондент. А теперь я уже спрашиваю: кто вам писал?» А я ему говорю: «Хороший сотрудник, за правду ручаюсь». — «Ну вот, говорит, это и скверно, что все правда. Неправда, так ничего бы и не было. Написал опровержение — и шабаш. Ну, да все равно, корреспондента-то мы пожалеем! Когда князь спросит, кто писал, скажите, что вы сами слышали на бирже разговоры о пожаре, о том, что люди сгорели, а тут в редакцию двое молодых людей пришли с фабрики, вы им поверили и напечатали. Он ведь этих фабрикантов сам не любит. Ну, идите».

Иду. Зовет к себе в кабинет. Вхожу. Владимир Андреевич встает с кресла в шелковом халате, идет ко мне и сердито показывает отмеченную красным карандашом корреспонденцию.

«Как вы смеете? Ваша газета рабочих взбунтовала!»

«Виноват, ваше сиятельство, — кланяюсь ему, — виноват, виноват!»

«Что мне в вашей вине, я верю, что вас тоже подвели. Кто писал? Нигилист какой-нибудь?»

Я рассказал ему, как меня научил П. М. Хотинский. Князь улыбнулся:

«Написано все верно, прощаю вас на этот раз, только если такие корреспонденции будут поступать, так вы посылайте их на просмотр к Хотинскому… Я еще не знаю, чем дело на фабрике кончится, может быть, беспорядками. Главное, насчет штрафов огорчило купцов. Ступайте!»

Я от него опять к Павлу Михайловичу, а тот говорит:

«Ну, заварили вы кашу! Сейчас один из моих агентов вернулся. Рабочие никак не успокоятся, а фабрикантам в копеечку влетит. Приехал сам прокурор судебной палаты на место. Лично ведет строжайшее следствие. За укрывательство кое-кто из властей арестован; потребовал перестройки казарм и улучшения быта рабочих, сам говорил с рабочими, это только и успокоило их. Дело будет разбираться во Владимирском суде».

Ну, заварил ты кашу, Гиляй, сидеть бы тебе в пересыльной, если бы не Павел Михайлович! — закончил Н. И. Пастухов.

«Московский листок» сразу увеличил розницу и подписку. Все фабриканты подписались, а Н. И. Пастухов оригинал взял из типографии, уничтожил его, а в книгу сотрудников гонорар не записали — поди узнай, кто писал.

Года через три, в 1885 году, во время первого большого бунта у Морозовых, — я в это время работал в «Русских ведомостях», — в редакцию прислали описание бунта, в котором не раз упоминалось о сгоревших рабочих и прямо цитировались слова из моей корреспонденции, но ни строчки не напечатали «Русские ведомости» — было запрещено.

Как-то Н. И. Пастухов позвал меня к себе в кабинет:

— Гляди!

На столе лежала толстенная кипа бумаги в казенного типа синей обложке с надписью: «Дело о разбойнике Чуркине».

— Вчера мне исправник Афанасьев дал. Был я у него в уездном полицейском управлении, а он мне его по секрету и дал. Тут за несколько лет собраны протоколы и вся переписка о разбойнике Чуркине. Я буду о нем роман писать. Тут все его похождения, а ты съезди в Гуслицы и сделай описание местностей, где он орудовал. Разузнай, где он бывал, трактиры опиши, дороги, притоны… В Законорье у него домишко был, подробнее собери сведения. Я тебе к становому карточку от исправника дам, к нему и поедешь.

— Карточку, пожалуй, я исправничью на всякий случай возьму, а к становому не поеду, у меня приятель в Ильинском погосте есть, трактирщик, на охоту езжал с ним.

— Ну, это лучше, больше узнаешь!

На другой день я был в селе Ильинский погост у Давыда Богданова, старого трактирщика. За чаем я ему откровенно рассказал, что приехал собрать материал об атамане Чуркине. Давыд Богданов сразу меня осадил:

— Ваську-то описывать? Какой он атаман, просто рвань, бывший фабричный от Балашова, спившийся с круга! Действительно, была у него шайчонка, грабил по дорогам,

купоны фальшивые от серий печатал, — да кто у нас их не печатает, — а главное, ходил по фабрикам. Придут втроем, вчетвером; вызовет Васька хозяина: «Давай, говорит, четвертную, а то спалю». Ну, и давали, чтобы отвязаться. В поездах под Канабеевым из вагонов товар сбрасывали. Вот и все. А то — «атаман!». Просто сволочь. У меня в трактире они бывали. Только не баловал их — деньги вперед, а то и вина не дам…

Приехав в Гуслицы, я побывал в Законорье у кривого трактирщика Семена Иванова, приятеля Чуркина, побывал в доме самого Чуркина, недалеко от этого трактира, познакомился с его женой Ариной Ефимовной и дочкой.

Пошли мои странствования по Гуслицам. Гуслицы — название неофициальное. Они были расположены в смежных углах трех губерний: Московской, Владимирской и Рязанской. Здесь всегда было удобно скрываться беглым и разбойникам, шайки которых, если ловят в одной губернии, — перекочевывали рядом, в соседнюю, где полиция другой губернии не имела права ловить. Перешагнул в другую — недосягаем! Гусляки ездили еще по городам собирать на погорелое с фальшивыми свидетельствами. Этот промысел много давал.

Глухое место были Гуслицы: леса, болота, а по деревням хмелевища. Тогда богородские гусляки ткали на ручных станках нанку и канаус и разводили лучший «богемский» хмель. Кроме того, славились печатанием фальшивых денег, которые стали даже нарицательными: «гуслицкими» назывались в Москве все фальшивки. Оттуда вышло много граверов. Печатали у себя серии и много лет печатали купоны от серий в 2 руб. 16 коп., которыми в 80-х годах наводнили Москву. «Дай-ка купонной машинки, попечатать надо, на базар еду», — обращались соседи друг к другу.

Н. И. Пастухов знал, куда меня посылал, и посоветовал взять револьвер:

— Всяко может быть! Меня, брат, бивали, когда пронюхивали, что я репортер. Гляди в оба!

Я бродил по деревням, знакомился, выспрашивал, а для видимости с ружьем караулил хорьков, которые водились в хмелевищах. Курьёзов со мной было немало.

Пью чай в Ильинском погосте у трактирщика Богданова. Подсел к нам местный крестьянин, про которого все знали, что он имеет дома машинку и печатает купоны от серий. Дотошный мужик, рожа лукавая.

— Где же при тебе, охотничек, собачка? — вдруг спросил он у меня, и озадачил, да выручил Богданов:

— На что ему собака? Он самопугом — идет лесом, а дичина вылетает, заяц выбегает — он их и хорп! А на хмелевищах хорька бить — собака одна помеха.

И с тех пор, когда меня спрашивали о собаке, я отвечал, что охочусь «самопугом», что вполне удовлетворяло любопытных.

Исходил я все деревни, описал местность, стройку, трактиры, где бывал когда-то Чуркин, перезнакомился с разбойниками, его бывшими товарищами, узнал, что он два раза был сослан на жительство в Сибирь, два раза прибегал обратно, был сослан в третий раз и умер в Сибири — кто говорит, что пристрелили, кто говорит, что в пьяной драке убили. Его жена Арина Ефимовна законно считалась три года вдовой.

Гусляки меня хорошо принимали благодаря Богданову. Около Законорья был Спасо-Гуслицкий монастырь, фабрика купца Балашова, называвшаяся, кажется, по селу Куровскому.

Я познакомился с монастырским казначеем, отцом Памво, монахом пудов на девять веса, который мог пить сколько угодно и когда угодно.

Как-то в ярмарочный день Памво с компанией гулял в лесу, где был ведерный бочонок водки, всякая закуска, на полянке.

Я шел с сыном Богданова, Василием, который служил писарем в Москве при окружном штабе. Это был развитой малый, мой приятель, иногда мы с ним охотились. Мы наткнулись на эту компанию и удостоились приглашения отца Памво. У Василия Богданова были все приятели: представил он и меня им как своего друга.

Не успели выпить, как подошли еще трое с гармонией.

— Костя! Иди к нам! — закричал им Памво. Подошли, одеты в поддевки, довольно чисто, но у всех трех были уж очень физиономии разбойничьи, а Костя положительно был страшен: почти саженного роста, широкий, губы как-то выдались вперед, так что усы торчали прямо, а из-под козырька надвинутой на узкий лоб шапки дико глядели на нас, особенно на меня — чужого, злые, внимательные глаза.

Сели, на гармонии заиграли. Потом еще подошли мужики, поодаль сели.

Затеялась борьба. Костя швырял противников, как я заметил, одним и тем же приемом, пользуясь своим большим ростом. Отец Памво особенно восторгался, а я не удержался и отозвался на вызов Кости.

— Ну, выходи, дьяволы! С кем на ведро схватимся? Особенного риску не было. Я вышел. Все заорали, смеются, а Василий Богданов уговаривает меня не бороться и все шепчет: «Знаешь, кто это, знаешь?..»

Я встал — схватились, и я, не дав ему укрепиться, сразу бросил его на спину и прижал.

Под радостное и удивленное оранье бросился на меня Костя:

— Врешь, я оскользнулся, давай еще, по-другому!

— Давай!

Тут я воспользовался другим, моим любимым приемом и легко положил его в полминуты. Он встал при восторгах и криках, подошел ко мне, снял шапку, поклонился и протянул мне огромную лапищу.

Пирушка кончилась благополучно. Я с Васей Богдановым заночевал в келье у Памво, где явились и балык, и икра, и мадера. Были еще два монаха пожилых и старый служащий с фабрики Балашова. Пировали до полуночи, и тут-то я узнал, и с кем я боролся, и всю характеристику Чуркина от лиц, много лет и очень близко знавших его.

Все говорили в один голос и все одно и то же, и, что рассказали они, повторили мне впоследствии и остальные гусляки.

Все сводилось к тому, что Васька Чуркин, бывший фабричный, пьяница, со своей шайкой грабил по дорогам и чужих и своих, обворовывал клети да ходил по хозяевам-фабрикантам по нескольку раз в год.

— К нам, бывало, — рассказывал служащий Балашова, — придет с Костей и еще с кем-нибудь — всегда на эти дела втроем ходили — и требует у хозяина 25 рублей или 50, грозя спалить фабрику. Только нахальством брал, и хозяин, чтобы покойнее было, откупался. В крупных грабежах все делал Костя, но молчал, отчего Чуркин и считался атаманом. Уж и били его, бывало, когда без Кости попадется! Наконец в Сибири его добили. Избавились Гуслицы… Только теперь этот Костя посмирнее без Чуркина стал, а все-таки сразу в трех губерниях живет, везде у него притон, полиция поймать не может!

Я был в этот вечер героем дня, но меня предупредили, что если Костя в лесу встретится, прямо стрелять в него, а то убьет, не простит позора.

На другой день мы были в Законорье, у вдовы Чуркина Арины Ефимовны, которая жила с дочкой-подростком в своем доме близ трактира. В трактире уже все знали о том, что Костя осрамился, и все радовались. Вскоре его убили крестьяне в Болоте, близ деревни Беливы. Уж очень он грабил своих, главным образом сборщиков на погорелое, когда они возвращаются из поездок с узлами и деньгами.

Много сборщики набирали. Мне показывали дома с заколоченными окнами и дверями — это поехали с «викторками» и «малашками» за подаянием. «Викторками» и «малашками» называли издавна фальшивые документы: паспорта фальшивые делал когда-то какой-то Викторка, и свидетельства о сгоревших домах мастерил с печатями Малашкин, волостной писарь. Платили ему за вид на жительство три рубля, а за «малашку» — рубль.

Когда я, уже собрав достаточно сведений о Чуркине, явился к Н. И. Пастухову, он вынул из шкафа «Дело Чуркина», положил его на стол, а я выложил начерченную мною карту с названиями сел, деревень, дорог, районов, где «работал» Чуркин, отметив все

разбойничьи притоны.

Очень остался доволен Н. И. Пастухов, задавал вопросы, касающиеся описания местностей, но когда я ему рассказал все отзывы, услышанные мною о Чуркине, и много еще других подробностей, характеризующих его как шпану и воришку, Н. И. Пастухов, уже ранее нарисовавший в своем воображении будущего героя по Ринальди Ринальдино, изменился в лице, его длинные брови и волосы, каемкой окружавшие лысину, встали — признак, что он злится.

— Все они, подлецы, врут на него! И ты тоже врешь! Исправник-то меньше вас знает? Гляди, дело-то какое, с полпуда!

— А вы его прочли?

— Ничего я не читал! Буду писать — буду и читать. По порядку писать буду. А ты все врешь. Еще разок-другой съезди, — смягчился он. — Молчок, где был, куда ездил — никому! О Чуркине ни гу-гу, и слово это забудь!

Потом я подал ему интереснейшую корреспонденцию об ужаснейшем положении рабочих, гибнущих на кустарных фабричках серных и фосфорных спичек в Егорьевском уезде. Он даже и читать не стал:

— Да что ты! О Гуслицах давай, а об этом ни слова, пока я Чуркина не напишу…

— Николай Иванович! Да ведь там народ сотнями гибнет. От фосфору целые деревни вымирают: зубы вываливаются, кости гниют, лицо — язва сплошная, пальцы отгнивают! В помещения войдешь — дурно делается, а рабочие больше полусуток в них работают.

— Спрячь, говорю! Вот когда Чуркина писать буду-тогда! Спрячь и молчи. Не нашего это ума дело! И о Чуркине молчи, был — не был!

Только года через два, объехав еще не раз ужасный спичечный район, я начал свою кампанию против ужасного производства в «Русских ведомостях» и в петербургских газетах.

Это вызвало и передовые статьи и отклики ученых о вреде серно-фосфорного спичечного производства, которое лет через пять было законом воспрещено.

Н. И. Пастухов начал печатать своего «Разбойника Чуркина» по порядку протоколов, сшитых в деле, украшая каждый грабеж или кражу сценами из старых разбойничьих романов, которые приобрел у букинистов, а Ваську Чуркина преобразил чуть ли не в народного героя и портрет его напечатал.

Для портрета он снял во весь рост известного тогда певца Павла Богатырева, высокого и стройного богатыря, в пиджаке, с казацким поясом.

— Николай Иванович! Ведь гусляки над вашим Чуркиным смеются, — сказал я как-то ему.

— Зато подписываются на «Листок»! А розница-то какая!

Действительно, газета в первые месяцы удвоилась, а потом все росла, росла. Московские газеты стали намекать, что описание похождений Чуркина развращает читателей, учит, как воровать и грабить.

Н. И. Пастухов печатал в это время уже четвертую книгу о разбойнике Чуркине и объявил о выходе пятой.

Слухи и жалобы заставили наконец всесильного «хозяина столицы» генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова вызвать к себе Н. И. Пастухова:

— Вы что там у меня воров и разбойников разводите своим Чуркиным? Прекратить его немедленно, а то газету закрою!

Струсил Н. И. Пастухов. Начал что-то бормотать в защиту, что неудобно сразу, надо к концу подвести.

— Разрешаю завтра последний фельетон!

— Да как же! Ведь Чуркин!

— Удави Чуркина или утопи его! — рассердился князь и повернулся спиной к ошалевшему Н. И. Пастухову.

— Ваше сиятельство… Ваше сиятельство… В. А. Долгоруков вопросительно обернулся.

— Завтра кончу-с! То есть, так его расказню, что останетесь довольны!

И расказнил! На другой день появился последний фельетон: конец Чуркина, в котором свои же разбойники в лесу наклонили вершины двух берез, привязали к ним Чуркина и разорвали его пополам.

* * *

Прошло несколько лет. Как-то, вернувшись в Москву из поездки на юг, я нашел у себя на квартире забитый большой ящик, адресованный на мое имя, со штемпелем «Дулево, фабрика М. С. Кузнецова».

В ящике записка на мое имя: «От благодарных гусляков» и прекрасный фарфоровый чайный сервиз, где, кроме обычной дюжины чашек, две большие с великолепным рисунком и надписью золотом: «В. А. Гиляровскому от Гуслиц». Другая такая же на имя жены. Одна именная чашка сохранилась до сих пор.

Кто заказал сервиз — так и не удалось мне узнать ни в конторе М. С. Кузнецова, ни на Дулевской его фабрике в Гуслицах.

* * *

Компанией мы 28 июня собрались у М. В. Лентовского в его большом садовом кабинете.

На турецком диване спал трагик Анатолий Любский, напившийся с горя. Он должен был уехать в Курск с почтовым поездом на гастроли, взял билет, но засиделся в буфете, и поезд ушел без него. Прямо с вокзала он приехал к М. В. Лентовскому и с огорчения уснул на диване.

На рассвете сели ужинать, все свои — близкие; из чужих был только приятель М. В. Лентовского, управляющий Московско-Курской железной дорогой Константин Иванович Шестаков.

Ели почти молча, только изредка перебрасываясь словами. Солнце золотило верхушки деревьев и освежал нас приятный холодок, когда вдруг вбежал официант — и прямо к К. И. Шестакову:

— Вас курьер с вокзала спрашивает, Константин Иванович, — несчастье на дороге!

— Что такое? Зови сюда! Нет, лучше я сам выйду. Через минуту он вернулся.

— Извините, ухожу! Схватил шапку, весь бледный.

— Что такое, Костя? — спросил его М. В. Лентовский.

— Несчастье, под Орлом страшное крушение, московский почтовый поезд провалился под землю. Прощайте!

Пока он жал всем руки, я сорвал с вешалки шапку и пальто и незамеченный исчез.

У подъезда на Божедомке в числе извозчиков увидал лихача-мальчугана Птичку, дремавшего на козлах.

— Птичка, на Курский вокзал, вали!.

— Три рубля, — ответил он спросонья.

— Вали!

Минут через двадцать я отпустил Птичку, не доезжая до вокзала, где на подъезде увидал толпу разного начальства, и задними воротами пробежал к платформе со стороны рельсов.

У платформы стоял готовый поезд с двумя вагонами третьего класса впереди и тремя зеркальными, министерскими, сзади.

Я залез под вагон соседнего пустого состава и наблюдал за платформой, по которой металось разное начальство, а начальник станции Игнатов говорил двум инженерам:

— Константин Иванович сейчас приедет. Около Мценска, говорят, весь поезд погиб и все… телеграмма ужасная… — слышались отрывистые фразы Игнатова.

— Идет, идет, прошу садиться!

«Ну, — решил я, — просят садиться, будем садиться!» Я вскочил прямо с полотна на подножку второго министерского вагона, где, на счастье, была не заперта дверь, и нырнул прямо в уборную. Едва я успел захлопнуть дверь, как послышались голоса входящих в вагон.

Через минуту — свисток паровоза, поезд двинулся и помчался, громыхая на стрелках. Мы уж за городом… Поезд мчится с безумной скоростью, меня бросает на лакированной крышке. Я снял с себя неразлучный пояс из сыромятного калмыцкого ремня и так привернул ручку двери, что никаким ключом не отопрешь.

Остановились в Серпухове, набрали наскоро воды, полетели опять. Кто-то подошел к двери, рванул ручку, и, успокоившись — «занято», — ушел. Потом еще остановка, опять воду берут, опять на следующем перегоне проба отворить дверь. А вот и Тула, набрали воды, мчимся. Кто-то снова пробует вертеть ручку и, ругаясь, уходит. Через минуту слышу голоса:

— Посмотри, не испортился ли запор.

Слышу металлический звук кондукторского ключа и издаю громкое недовольное рычание и начальственным тоном спрашиваю:

— Кто там?

— Виноват, ваше превосходительство, — и потом тот же голос отвечает: — Нет, занято, — и меня уж больше никто не беспокоил.

Я ехал, ничего не видя сквозь запертое матовое стекло, а опустить его не решался.

Вот наконец Скуратово, берут воду. У самого окна слышу разговор:

— За Чернью, около Бастыева. У нас всю ночь был такой ливень! Вырвало всю насыпь и поезд рухнул, — а потом голоса слились и замолкли.

После бешеной езды поезд останавливается. Слышу шаги выходящих и разговоры:

— Сейчас тут рядом, ваше превосходительство, извольте видеть, где народ.

Я развязал ремень и, когда голоса стихли, вышел на площадку и соскользнул на полотно через левую дверь.

* * *

Суток через двое из Москвы и Петербурга на место катастрофы приехали Львов-Кочетов из «Московских ведомостей», А. Д. Курепин из «Нового времени», Н. П. Кичеев из «Новостей» Нотовича и много разных корреспондентов разных газет и публики из ближайших городов и имений.

Ширь, даль, зелень. По обе стороны этого многолюдного экстренного лагеря кипела жизнь, вагоны всех классов, от товарных до министерских населенные, начиная от прокурора палаты и разных инженер-генералов до рабочих депо и землекопов. Город на колесах.

Вокруг кольцо войск охраны и толпы гуляющих зевак, съехавшихся сюда, как на зрелище.

Это была двести девяносто шестая верста от Москвы. В первой телеграмме, посланной мной в газету в день прибытия, я задумался над названием местности и спросил, как называется ближайшая деревня.

— Кукуевка, — ответили мне, и я телеграфировал о катастрофе под деревней Кукуевкой. Отсюда и пошло: «Кукуевская катастрофа», «Кукуевский овраг» и «Кукуевцы» — последнее об инженерах.

— Кукушка, прокукуй мне про Кукуй, — сострил кто-то в «Будильнике».

Отчетливо сохранился в памяти момент приезда на место крушения: впереди шел управляющий дорогой, за ним инженеры, служащие и рабочие.

Огромный глубокий овраг пересекала узкая, сажен до двадцати вышины, насыпь полотна дороги, прорванная на большом пространстве, заваленная обломками вагонов.

На том и другом краю образовавшейся пропасти полувисят, готовые рухнуть, разбитые вагоны. На дне насыпи была узкая, аршина в полтора диаметром, чугунная труба — причина

катастрофы.

Страшный ночной ливень 29 июня 1882 года, давший море воды, вырвал эту трубу и образовал огромную подземную пещеру в насыпи, в глубину которой и рухнул шедший из Москвы поезд. Два колена трубы, пудов по двести каждый, виднелись на дне долины в полуверсте от насыпи — такова была сила потока…

Оторвался паровоз и первый вагон, оторвались три вагона в хвосте, а вся середина поезда разлетелась вдребезги, так как машинист, растерявшись во время крушения, дал контрпар, разбивший вагоны, рухнувшие вместе с людьми на дно пещеры, где их и залило наплывшей жидкой глиной и засыпало землей, перемешанной тоже с обломками вагонов и погибавшими людьми.

«Не опоздай на поезд Любский — быть бы ему здесь!» — первое, что мне пришло на ум.

Четырнадцать дней я посылал с нарочным и по телеграфу сведения о каждом шаге работы, и все это печаталось, и «Московский листок», который первый поместил мою большую телеграмму о катастрофе, стал в это время раскупаться нарасхват.

Все другие газеты опоздали. На третий день ко мне приехал с деньгами от Н. И. Пастухова сотрудник А. М. Дмитриев, известный беллетрист. Его знаменитая в свое время повесть «Падшая» была переведена на иностранные языки. «Русский Золя» — называли его, но, к сожалению, в некрологах. При жизни он весьма нуждался.

«Телеграфируй о каждой мелочи, деньгами не стесняйся», — писал мне Н. И. Пастухов, и я честно исполнил его требование.

С момента начала раскопок от рассвета до полуночи я не отходил от производящих раскопки рабочих. Четырнадцать дней, с 8 июля, когда московский оптик Пристлей поставил электрическое освещение, я присутствовал на работах, ночью, дремал, сидя на обломках, и меня будили при каждом показавшемся из земли трупе.

Я пропах весь трупным запахом и более полугода страдал галлюцинацией обоняния и не мог есть мясо.

Первый раз это явление почувствовалось так: уже в конце раскопок я как-то поднялся наверх и встретил среди публики моего знакомого педагога — писателя Е. М. Гаршина, брата Всеволода Гаршина. Он увидел меня и ужаснулся. Действительно, обросший волосами, не чесаный и не мытый больше недели, с облупившимся от жары, загоревшим дочерна лицом, я был страшен.

— Ты ужасен! Поедем к нам, это рядом, поедем, вот

мои лошади. Вымоемся, передохнем! — стал он меня уговаривать.

В этот день экстренного ожидать было нечего. На девятой сажени сверху на всем пространстве раскапывания пещеры был толстый слой глины, который тщетно снимали и даже думали, что ниже уже ничего нет, но в дальнейшем выяснилось, что под этим слоем оказалось целое кладбище.

Я провел Е. М. Гаршина по работам, показал ему внизу, далеко под откосом, морг, вырытый в земле, куда складывали трупы. Здесь их раздевали, обмывали, признавали, а потом хоронили.

Запах был невыносимый. В то время, когда мы вошли, там находился бывавший здесь ежедневно прокурор Московской судебной палаты С. С. Гончаров, высокий, стройный, энглизированный с бритым породистым лицом франт, красиво бросавший в глаз монокль, нагибаясь над трупом. Он энергично вел следствие и работал день и ночь.

Это был тот самый С. С. Гончаров, который безбоязненно открыл хищение в Скопинском банке, несмотря на чинимые Петербургом препятствия, потому что пайщиками банка были и министры и великие князья.

Про него тогда на суде песенку сложили:

Много в Скопине воров, Погубил их Гончаров!

Е. М. Гаршин не выдержал ароматов морга, и мы быстро покинули ужасное место.

Я захватил с собой новую розовую ситцевую рубаху и нанковые штаны, которые

«укупил» мне накануне в Мценске мой стременной Вася, малый из деревни Кукуевки, отвозивший на телеграф мои телеграммы и честно состоявший при мне все время для особых поручений.

На мой вопрос, к кому мы едем, Е. М. Гаршин ответил, что гостит у знакомых и что мы поедем к нему, в садовую беседку, выкупаемся в пруду, и никто нас беспокоить не будет.

Проехали верст пять полями. Я надышаться не мог после запахов морга и подземного пребывания в раскопках, поливаемых карболкой.

Мы подъехали к огромному парку, обнесенному не то рвом, не то изгородью. Остановились, отпустили лошадей и очутились в роскошном вековом парке у огромного пруда. Тишина и безлюдье.

— Ну-с, теперь купаться1

Душистое мыло и одеколон, присланные мне из Москвы, пошли в дело.

Через полчаса я стоял перед Е. М. Гаршиным в розовой мужицкой рубахе, подпоясанный калмыцким ремнем с серебряными бляшками, в новых, лилового цвета — вкус моего Васьки — нанковых штанах и чисто вымытых сапогах с лакированными голенищами, от которых я так страдал в жару на Кукуевке при непрерывном солнцепеке.

Старое белье я засунул в дупло дерева.

— Ну, теперь пойдем, — позвал меня Е. М. Гаршин. Прошли десятка два шагов. На полянке, с которой

был виден другой конец пруда, стоял мольберт, а за ним сидел в белом пиджаке высокий, стройный, величественный старик с седой бородой и писал картину. Я видел только часть его профиля.

— Яков Петрович!

— А, Евгений Михайлович! Я слышал, кто-то купается, а это вы, — не отрываясь от работы, говорил старик.

— Я, да и не один. Вот мой старый друг, поэт Гиляровский.

Старец обернулся и ласково-ласково улыбнулся.

— Очень, очень рад. Где-то я на днях видел вашу фамилию, ну вот недавно, недавно…

— А корреспонденции из Кукуевки, — вмешался Е. М. Гаршин, — как раз вчера мы с вами читали… я его оттуда и привез.

— Так это вы? Мы все зачитываемся вашими корреспонденциями. Какой ужас! В других газетах ничего нет. Нам ежедневно привозят «Листок» из Мценска. Очень, очень рад… Ну, идите к Жозефине Антоновне, и я сейчас приду к обеду, очень рад, очень…

Мы быстро пошли.

— Кто этот славный старик? Уж очень знакомое лицо, — спрашиваю я.

— Да Яков Петрович Полонский, поэт Полонский, я гощу у него лето. Иван Сергеевич не приехал, хотя собирался… А вот Яков Петрович и его семья здесь.

— Какой Иван Сергеевич? — спрашиваю я.

— Да Тургенев, ведь это его имение, Спасское-Лутовиново.

Я окончательно ошалел, да так ошалел, что, ничего не видя, ничего не понимая, просидел за обедом, за чаем, в тургеневских покоях; ошалелым гулял по парку с детьми Полонского, гулял по селу, ничего не соображая, что видел, и теперь ничего не помню.

Помню только, что не мог есть мяса в первый раз в жизни, и помню, что после ужина меня уложили в кабинете Ивана Сергеевича на его знаменитом диване «самосоне». Такой широкий, хоть поперек ложись. В четыре часа утра, простившись накануне, я уехал на Кукуевку.

Впоследствии я побывал на «пятницах» Я. П. Полонского, и года через два-три, когда я уже был женат и жил на Мясницкой в гостинице «Рояль», возвращаясь домой с женой к обеду, я получил от швейцара карточку: «Яков Петрович Полонский».

Швейцар сказал, что приходил старик на костылях и очень жалел, что не застал меня.

Спустя несколько лет я хоронил Я. П. Полонского, командированный «Русскими ведомостями» в Рязань.

В те времена, когда М. В. Лентовский блистал своим «Эрмитажем» на Самотеке, в Каретном ряду, где теперь сад и театр «Эрмитаж», существовала, как значилось в «Полицейских ведомостях», «свалка чистого снега на пустопорожней земле Мошнина».

Зимой здесь сваливали с соседних дворов и улиц «чистый», цвета халвы, снег, после которого все это изрытое ямами и оврагами пустопорожнее место покрывалось мусором, среди которого густо росли бурьяны, чертополох и лопухи и паслись козы.

Публика узнала о существовании этого места из афиш в сентябре 1882 года, объявлявших, что «воздухоплаватель Берг сегодня, 3 сентября, в 7 часов вечера совершит полет на воздушном шаре с пустопорожнего места Мошнина в Каретном ряду. За вход 30 копеек, сидячее место — 1 рубль».

Разгородили в двух местах забор, поставили в проходе билетные кассы и контроль; полезла публика и сплошь забила пустырь, разгороженный канатами,

и «сидячие рублевые места», над которыми колыхался небольшой серый шар, наполненный гретым воздухом. Я был командирован редакцией описать полет. Был серый ветреный день.

— Пузырь полетит! — волновались собравшиеся, глядя на аэростат из серой материи, покачивавшийся на ветру.

Я пробился к самому шару. Вдали играл оркестр. Десяток пожарных и рабочих удерживали шар, который жестоко трепало ветром. Волновался владелец шара, старичок немец Берг: исчез его помощник Степанов, с которым он должен был лететь. Его ужас был неописуем, когда прибежавший посланный из номеров сказал, что Степанов вдребезги пьян и велел передать, что ему своя голова дорога и что на такой тряпке он не полетит.

— Кто кочит летайт, иди! — закричал в отчаянии Берг.

— Я, — шепнул я на ухо старику среди общего молчания и шагнул в корзину. Берг просиял, ухватился за меня обеими руками, может быть, боялся, что я уйду, и сам стал рядом со мной.

Публика загудела. Это была не корзина, а низенькая, круглая аршина полтора в диаметре и аршин вверх, плетушка из досок, от бочки и веревок. Сесть было не на что. Берг дал знак, крикнул: «Пускай!», и не успел я опомниться, как шар рванулся сначала в сторону, потом вверх, потом вбок, брошенный ветром, причем низом корзины чуть-чуть не ударился в трубу дома, — и… Москва провалилась подо мной.

Мы попали в куски низко висевшей тучи. Сыро, гадко, ничего не видно. Пропали из глаз и строения, и гудевшая толпа. Наши разговоры, малопонятные, велись на черт знает каком языке: и не по-русски и не по-немецки.

Кругом висел серый туман непроглядной тучи. Наконец внизу замелькали огоньки, Воробьевы горы и поля, прорезанные Москвой-рекой. Тишина была полнейшая. Мы опять попали в тучу. Берг, увидев у меня табакерку, очень обрадовался и вынюхал чуть не половину. Опять прорвалась туча, открылось небо, горизонт, а под нами бежали поля, перелески, деревни… Москва не была видна, она была с той стороны, где были тучи. Вот фонари и огоньки железнодорожной станции и полотно Рязанской дороги. Я узнал Люберцы. Шар стал опускаться и сел на картофельное поле, где еще был народ.

Мы благополучно сели, крестьяне помогли удержать шар, народ сбегался все больше и больше и с радостью помогал свертывать шар. Опоздав ко всем поездам, вернулся на другой день и был зверски встречен Н. И. Пастуховым: оказалось, что известия о полете в «Листке» не было.

За всю мою репортерскую деятельность это был единый, запомнившийся мне, случай такого упущения.

У Н. И. Пастухова было большое количество друзей и не меньшее число ожесточенных врагов.

В нем было столько же оригинального и своеобразно хорошего, сколько и непереносимо дурного, и все это скрывалось под грубой оболочкой не строго культурного человека.

К каждому из своих сотрудников он относился, как к близкому и родному ему человеку, но и церемоний он никаких ни с кем не соблюдал, всем говорил «ты» и, разбушевавшись, поднимал порою такой крик, который не все соглашались покорно переносить.

Зато и в горе и в нужду сотрудников он входил с отзывчивостью, в прессе его времени почти небывалой.

Я знаю случай, когда, с укором встретив старого газетного товарища, пришедшего к нему искать работы, он разом превратил его, как бы мановением волшебного жезла, из бедного и полураздетого человека в человека относительно обеспеченного.

Это моментальное превращение помнят все, кто знал обоих героев этой житейской волшебной сказки: щедрого «хозяина» Пастухова и вконец пропившегося «работника» И. А. Вашкова.

Дело было глухой осенью, месяца через два после начала «Московского листка».

На дворе стоял почти зимний холод. Улицы покрыты были какой-то гололедицей, чем-то средним между замерзшим дождем и растаявшим снегом, когда в скромную в то время квартиру нового редактора-издателя вошел Иван Андреевич Вашков, довольно хороший и известный в Москве литератор, но вечно бедствовавший, частью благодаря своему многочисленному семейству, состоявшему из семи или восьми душ, а частью (и даже большей) благодаря своей губительной и неудержимой страсти к вину.

Пришел И. А. Вашков в самом жалком виде, без калош, в плохих сапогах и в одном холодном пальто, под которым даже сюртука, кажется, не было.

Он не взглянул ни на кого из нас, хорошо ему знакомых по прессе, и прямо подошел к Н. И. Пастухову, который с обычной своею оригинальностью, смерив его с головы до ног пристальным взглядом, с укоризной промолвил:

— Хорош!

— Работы дайте! — резко ответил ему И. А. Вашков. — А уж хорошо или нет, об этом потом рассудите!

— Да ведь ты работать не станешь, Иван Андреевич.

— Коли пришел «наниматься», так, значит, буду. Нельзя не работать. С голоду все умрем. Есть надо!

— А пить не следует… — серьезно покачал Н. И. Пастухов своей седой головой. — Ты где живешь-то?

— Да покуда… то есть сегодня, в меблированных комнатах, а завтра уж не знаю, где буду жить, потому — хозяйка выселяет.

— Много должен?

— Пятьдесят рублей!

— А амуниция только та, что на тебе?

— Только, — низко опустив голову, ответил И. А. Вашков.

— И что за жизнь такая в меблирушках! — продолжал Н. И. Пастухов свои назидания. — Ведь у тебя, слышно, детей орава. Ты бы квартиру взял лучше!

— А мебель где взять?

— Вона! Редкость какую нашел… мебель… мало мебели в Москве?

— Да такому, как я, и квартиры не сдадут. Контракт подписывать надо…

— Важное кушанье контракт… подпишем!

Н. И. Пастухов, видимо, начинал уже окончательно входить в роль доброго гения.

Прошла минута тяжелого молчания. И. А. Вашков стоял, понурив голову.

— Нечего нос на квинту сажать, — весело и бодро заговорил старик. — Поедем твои грехи замаливать… Да обожди! Мою шубу надень! Пальто мое на тебя не влезет. Ишь ты дылда какая, прости господи!

— Зачем? Не надо! — стесняясь, пробормотал И. А. Вашков.

— Чего там не надо… Замерзнешь, возись тогда с тобой!

Закутав И. А. Вашкова в свою шубу и посадив его с собой в экипаж, Н. И. Пастухов объехал с ним и мебельный, и посудный магазины, закупив там полное хозяйство. Затем провез его к портному, платья ему купил полный комплект, нанял ему квартиру через два дома от редакции, подписал обязательство платить за его помещение и, вернувшись с ним к себе домой, выдал ему две книжки для забора товара в мясной и в колониальных лавках, условившись с ним таким образом, что половина заработанных им денег будет идти в погашение этого забора, а остальная половина будет выдаваться ему на руки.

Придя к Н. И. Пастухову голодным и холодным, без работы и без возможности прокормить семью хотя бы в течение одного дня, И. А. Вашков ушел от него сравнительно обеспеченным человеком, с приличным, совершенно новым гардеробом, с оплаченной и оборудованной квартирой, с перспективой вполне безбедного существования и с возможностью приодеть всю свою многочисленную семью.

Когда И. А. Вашков умер, то, помимо устроенных похорон, всецело оплаченных Н. И. Пастуховым, жене его были куплены меблированные комнаты.

Такая же помощь была оказана Н. И. Пастуховым семье умершего журналиста Ракшанина; такая же сумма выдана была семье умершего газетного работника Иогансона.

Всем сотрудникам, ни разу не оставлявшим его редакцию за все время ее существования, выдано было за несколько лет до его кончины по пяти тысяч рублей, а после его смерти все лица, близко стоявшие к его газете, остались если не богатыми, то вполне обеспеченными людьми.

Добряк в жизни, Н. И. Пастухов как редактор имел много таких черточек, которые иногда ставили сотрудников или людей, сталкивавшихся с ним по работе, в затруднительное положение.

Одна из таких сцен, имевшая место в первый год издания газеты, живо врезалась у меня в память.

Съехались мы, сотрудники, как-то утром в Денежный переулок к Н. И. Пастухову, очень любившему, чтобы у него собирались вокруг стола во время утреннего и вечернего чаепития.

Он в это утро был не в духе и, насупившись, ушел в кабинет рядом с залой, так что все, что там делалось и говорилось, было всем слышно.

Н. И. Пастухов сидит в кабинете перед письменным столом и чертит что-то на бумаге, делая вид, что углублен в серьезное, безотлагательное занятие.

В это время явился Михаил Александрович Гиляров со статьей в руках и с твердым намерением получить хороший аванс.

Последнее было у Н. И. Пастухова сделать не всегда легко, и хотя дело кончалось обыкновенно полным удовлетворением всякой просьбы, но покричать при этом он считал своей священной обязанностью, и кричал иногда довольно внушительно.

Гиляров прошел в кабинет и, сразу сообразив, что «сам не в духах», заискивающим тоном начал:

— Я тут политическую передовицу написал, Николай Иванович.

— Ну что ж! Это твое дело! На то ты и нанят…

— Я хотел вам прочесть, посоветоваться. Как вам покажется.

— Ну, что ж! Валяй! — умилостивляясь и напуская на себя важный тон, разрешил Н. И. Пастухов.

Гиляров начал читать отчетливо и внушительно, а Н. И. Пастухов глубокомысленно вставлял ни к селу ни к городу коротенькие замечания, вроде:

— Ты тут того — сгладь немного, как бы, знаешь, там не рассердились.

Где было это таинственное «там» и кто за что мог рассердиться при чтении вконец безобидной статьи, конечно, и сам редактор этого не знал, но нужно было «выдерживать фасон», и Н. И. Пастухов его выдерживал.

Мы в зале притихли и слушали внимательно, зная, что без какого-нибудь казуса дело не обойдется.

Наше предположение сбылось. Читая свою «передовицу», Гиляров дошел до слов: «вот именно чего добивались мадьяры».

В ответ на эти совершенно безвинные слова Н. И. Пастухов громко и порывисто крикнул:

— Что-о-о тако-о-ое?

Гиляров остановился охваченный глубоким удивлением.

__ Что-о-о?! — по-прежнему, как труба иерихонская,

гремел Н. И. Пастухов. — Какие там мадьяры? Откуда ты мадьяр еще выискал!

Растерявшийся М. А. Гиляров постарался, по возможности понятно, объяснить ему значение слова «мадьяры», но «сам» уже закусил удила, и вразумить его не было никакой возможности.

— Так ты так и говори! — гремел он. — Так напрямик и объясняй: австрияк так австрияк, пруссак так пруссак, а мадьяр мне не сочиняй, редактора зря не подводи. Вот что! Нешто с вас спросится? Вы намадьярите, а редактору по шапке накладут!.. — И, видя «глубокое» впечатление, произведенное его словами и его строгим окриком, он уже смирившимся и умилостивленным тоном прибавил, укоризненно качая головой:

— А еще профессор!

Мы в зале не могли удержаться от заразительного смеха, а Н. И. Пастухов, увидав в зеркале отражение наших смеющихся лиц, почтил нас окриком:

— Вы там чему рады! Вы нешто начальство пожалеете!

А между тем мы именно в эту минуту от души жалели наше оригинальное «начальство» и благоговели перед дальновидностью нашей правительственной администрации, возложившей тяжелую шапку редактора и публициста на голову этого старого ребенка.

С годами Н. И. Пастухов стал и не так доступен, и с виду как будто не так отзывчив, но в душе он оставался тем же, и кажущаяся перемена в нем была вызвана слишком большими уступками и лестью близко к нему стоявших и беспощадно эксплуатировавших его лиц.

* * *

О первой поездке его за границу в литературном мире ходила масса забавных анекдотов, из которых один пользовался самым широким успехом во всем московском обществе.

Относится этот анекдот ко времени тулонских торжеств во Франции, куда Н. И. Пастухов пригласил ему сопутствовать Н. С. Иогансона, очень милого, симпатичного человека, которого считал замечательным лингвистом и который не оспаривал этого мнения.

В сущности, Н. С. Иогансон только «понимал» по-французски, но и то далеко не все, и мы, провожая во Францию наших путешественников на дебаркадер железной дороги, недоумевали, что станут говорить и делать в поездке наши вояжеры.

Они оба не унывали, и Н. И. Пастухов, прощаясь с нами, говорил, на лету подхватывая наши слегка насмешливые улыбки:

— Ладно! Смейтесь тут! А мы станем там Францию удивлять.

Первое «удивление» было вызвано тем широким барским масштабом, в какой Н. И. Пастухов поставил свой ежедневный обиход.

Номера он и в Париже и в Лионе занимал самые дорогие и самые лучшие, на «водку» прислуге раздавал деньги щедрой рукой, обязательно сопровождая каждое приношение приветом:

— Вуаля! Алле!

Экипажи он заказывал себе самые дорогие и, легко и приветливо знакомясь со всеми, угощал при этом всех такими лукулловскими обедами, что среди всей прислуги ресторанов и отелей известен был под лестным именем «боярина».

Наступил день банкета, который город пожелал дать прессе, и представителям седьмой

державы разосланы были почетные пригласительные билеты.

Получили такие билеты и Н. И. Пастухов и Н. С. Иогансон, которым было отведено видное место.

Во всех концах стола шла оживленная беседа, только «бояре» ели молча, потому что никакого разговора поддержать не могли.

Когда предложены были тосты за всех почетных посетителей, один из представителей муниципалитета попросил слова, поднял бокал за присутствовавшего на банкете представителя широко распространенной газеты, издающейся в Москве, этой исторической колыбели России, близкой, понятной и дорогой всему просвещенному миру.

Поднимая бокал, он обратился к Н. И. Пастухову и низко, почтительно поклонился ему.

Оба «боярина» наши сконфузились и растерялись.

— Николай Степанович, чего они? — конфузливо проговорил Н. И. Пастухов, обращаясь к Н. С. Иогансону.

— Ваше здоровье пьют, Николай Иванович, речь вам сказали. Ответить надо, — шепнул в ответ Н. С. Иогансон.

— Ну, вот еще выдумал! Нешто я могу… Ты за меня скажи.

— Да я тоже не могу, Николай Иванович… — сознался шепотом «лингвист».

Со стороны моряков, которых по целым дням неутомимо угощал «боярин», тоже последовала приветственная речь по его адресу.

— Надо сказать что-нибудь, Николай Иванович! Непременно надо! — убедительно прошептал Н. С. Иогансон.

Пастухов и сам, вероятно, понял необходимость ответить на адресованные к нему приветствия, и, поднявшись с места, он низко раскланялся на все стороны и коротко и прочувственно сказал:

— Спасибо, голубчики…

— Что он сказал? — раздалось со всех сторон, когда сдержанный оратор опустился на свое место.

Французы, присутствовавшие на банкете, по-русски не понимали, и все обратились за разъяснением и переводом к сидевшему в центре стола секретарю нашего посольства в Париже Нелидову.

Тот к числу друзей Н. И. Пастухова не принадлежал, находил, что он «компрометирует русское общество», но, вынужденный настоятельностью обращенных к нему вопросов, пресерьезно ответил, подстрочно переводя коротенький привет Н. И. Пастухова: «Спасибо, голуби!»

Характерный эпизод этого оригинального привета и его не менее оригинального перевода быстро облетел весь стол и в тот же день сделался достоянием всего съехавшегося общества.

В последние годы своей жизни Н. И. Пастухов уже не писал почти ничего, но всегда посещал общественные места и особенно любил гулять в манеже. В одно из таких гуляний ему сопутствовал Н. Н. Соедов, тогда редактор «Развлечения», большой шутник. Н. Н. Соедов пришел раньше Н. И. Пастухова и выиграл в лотерею дюжину мельхиоровых ложек. Потом они встретились, пили чай в буфете, а после чая пошли смотреть гулянье. Желая подшутить над стариком, Н. Н. Соедов положил ему в карман пальто одну из выигранных ложек. Николай Иванович, идя по манежу, сунул руку в карман и, вынимая ложку, сказал:

— Коля, а ведь я ложку украл! Снеси-ка ее в буфет. Н. Н. Соедов взял ложку и в это время сунул Николаю Ивановичу другую и пошел в буфет.

— Снес?

— Снес, Николай Иванович.

— А вот у меня другая ложка… Стало быть, я две стащил… Снеси-ка.

Н. Н. Соедов опять взял одной рукой ложку, а другой другую ложку опять сунул в карман. Зашел в буфет, сделал вид, что снес ложку, и опять идет. Видит: Николай Иванович стоит удивленный и смотрит на ложку, которую держит в руках:

— Откуда же она? Ведь это третья… Ничего не понимаю… Возьми, отнеси. Впрочем, пойдем, я сам отдам.

Подойдя к буфету, Николай Иванович подозвал лакея, отдал ему ложку и пошел гулять по манежу. В это время Н. Н. Соедов опять сунул ложку ему в карман.

Николай Иванович остановился перед куплетистом, слушал и вдруг изменился в лице.

— Коля, ущипни меня за ухо…

— Что-с, Николай Иванович?

— Ну, за руку… Возьми… ущипни… Жив я или нет? Н. Н. Соедов ущипнул его за левую, протянутую ему руку, а правая рука Николая Ивановича была в кармане.

— Жив… Только ничего не понимаю… Ты знаешь, что у меня в руке? Боюсь посмотреть, а чувствую… Опять она…

— Кто-с?

— Ложка… вот она, гляди.

И Николай Иванович вынул из кармана четвертую ложку. Побледнел, дрожит… Н. Н. Соедов сам испугался за старика и кое-как развлек его, но никогда не объяснил ему своей проделки, а сам Николай Иванович, когда рассказывал кому-нибудь из своих приближенных об этом непонятном случае как о чуде, все-таки прибавлял:

— Верил бы и в чудо, ежели бы только со мной Соедов не был… Он все может…

* * *

Лет за десять до кончины с Н, И. Пастуховым произошел случай, имевший для него тяжелые последствия. Н. И. Пастухов, как я уже говорил, был отчаянным рыболовом. Ничто в мире не могло так занять и увлечь его, как рыбная ловля.

Однажды Н. И. Пастухов, приехавший, по своему обыкновению, на Нижегородскую ярмарку, выбрал и облюбовал себе место в нескольких верстах от города, в небольшой деревеньке, расположенной у самого берега Волги, и, наняв там у одного из крестьян лодку, расположился со своими удочками, приготовившись к обильному улову.

Вообще рыбная ловля на удочку требует ненарушимой тишины, а Н. И. Пастухов, для которого уженье было чуть ли не священнодействием, был необыкновенно капризен и требователен в этом отношении.

Нельзя было нанести ему большего оскорбления, как явиться к нему на берег и шумом и разговором спугнуть рыбу, которая клюет только при полной тишине и немедленно уходит, раз эта полная тишина нарушена.

Все знавшие Н. И. Пастухова считались с этим, и легко можно себе представить, как он рассердился, закинув удочку и внезапно услыхав за собой на берегу смех и говор нескольких детских голосов.

— Кши! — сердито закричал он на них, обернувшись в их сторону и прогоняя их, как гоняют надоедливых птиц.

Детишки не унимались, и, только видя, что «старый барин» зашевелился в лодке, и боясь, что он причалит к берегу и поймает их, они бросились бежать с громким криком и озираясь на сердитого «дедушку», который был не на шутку взбешен.

Рыба, испуганная шумом, ушла и он хорошо знал, что в этот вечер она не клюнет.

Н. И. Пастухов поднялся в лодке и издали увидал, как двое из убегавших мальчиков остановились на дороге, с любопытством глядя в его сторону и словно поддразнивая его.

Окончательно возмущенный такой смелостью и желая хорошенько пугнуть дерзкую детвору, Н. И. Пастухов схватил в руки лежавший подле него в лодке револьвер и направил его на мальчиков. Те, увидев, что он поднялся, вскрикнули и побежали.

Он, с целью раз навсегда хорошенько проучить их, спустил курок. Пуля, направленная с шальной меткостью, настигла мальчика, остановившегося ближе к берегу.

Н. И. Пастухов, мгновенно вспомнив, что револьвер заряжен, весь похолодел, увидав, как мальчик зашатался, быстро рванулся в сторону и, взмахнув руками, разом грохнулся о

землю.

Обезумев от ужаса, Н. И. Пастухов выскочил из лодки, бросился к мальчику, нагнулся над ним, стал окликать его, ласково ободрять, но было уже поздно.

Ребенок лежал бледный, без движения, с широко открытыми глазками, в которых застыло выражение смертельного ужаса. Он был убит наповал.

Обезумевший от ужаса Н. И. Пастухов бросился в город на ожидавшей его на берегу лошади и мигом вернулся оттуда в сопровождении полиции и нескольких врачей, которых он буквально хватал по дороге, не спрашивая об условиях, и только испуганным и дрожащим голосом повторял:

— Скорей! Ради бога, скорей! Может быть, еще можно что-нибудь сделать!..

Но делать уже было нечего. Нагрянувшие власти нашли у трупа уже громадную толпу поселян с матерью убитого мальчика во главе.

Их всех призвали разбежавшиеся дети, поторопившиеся известить, что «старый, сердитый барин убил Ваську».

Тут же стояла на страже и земская полиция, знакомая с порядками следствия и с законами и знавшая, что мертвое тело нельзя трогать с места до приезда начальства.

На коленях перед трупом, прижавшись головой к остывшему маленькому телу, неутешно рыдала мать маленького Васи.

Увидав Н. И. Пастухова, она бросилась к нему, и не защити его присутствовавшие, она, кажется, разорвала бы его своими руками.

В порыве отчаяния она проклинала его самым страшным образом, и когда расстроенный и перепуганный Н. И. Пастухов направился к экипажу, она, силой удержанная десятскими, крикнула ему вслед:

— Пусть бог отомстит тебе за меня! Ежели у тебя есть дети, пусть он их у тебя отнимет, как ты у меня моего сыночка бедного отнял!

Движимый горем и раскаянием в своем невольном преступлении, Н. И. Пастухов дал несколько тысяч семье

Васи, поставил над его могилой мраморный памятник и внес в земскую управу сумму на учреждение в ближайшем селе школы в память убитого.

Но проклятие убитой горем матери, видимо, оказалось сильнее всяких денег, могущественнее всяких пожертвований и даров, и несчастье, призванное на его голову, как бы стало осуществляться.

У Н. И. Пастухова было только двое детей: сын, которому в момент этого горького события было около тридцати пяти — тридцати шести лет, и дочь несколькими годами моложе брата.

Сын был уже давно женат, дочь тоже была замужем, и у каждого из них, в свою очередь, была семья. Оба были в полном расцвете сил и здоровья и, богатые, счастливые, наслаждались всеми благами жизни.

Не прошло и года после ужасной гибели Васи, как дочь Н. И. Пастухова внезапно заболела горловой чахоткой и через несколько месяцев умерла в страшных муках от голода, не имея сил глотать никакую пищу.

Брат, присутствовавший на ее погребении и сам несший гроб ее до могилы, почти внезапно умер через три недели после нее, проболев только пять или шесть дней.

Эта последняя могила была вырыта через девять месяцев после трагической смерти маленького Васи.

Люди, не зараженные предрассудками, могут объяснить это простой случайностью, но многие из тех, кто был свидетелем передаваемого случая, увидели в нем нечто иное.

Сам Н. И. Пастухов ни разу, сколько можно было заметить, не вспоминал ни случая нечаянного убийства, ни совпадения обрушившихся на него несчастий с поразившим его проклятием матери Васи. Помимо нравственного горя, это роковое дело принесло Н. И. Пастухову немало и материальных убытков.

Дело это до суда не дошло, но, по признанию Н. И. Пастухова, это обошлось ему в

солидную цифру.

Сына Н. И. Пастухов обожал, и во всем живом мире не было существа ему более близкого и дорогого, а между тем и хоронить его старику пришлось при совершенно исключительных условиях.

Сын, никогда не разлучавшийся с отцом, сам был к нему горячо привязан и, узнав о внезапной болезни отца, занемогшего на одной рыбной ловле, за Пушкином, куда он поехал после похорон дочери, тотчас же отправился, чтобы перевезти больного отца в Москву.

Поехал он к нему совершенно здоровый, но дорогой простудился и при возвращении в Москву сам занемог.

Отец в это время лежал без памяти и ничего не знал о болезни сына.

Квартира молодого Пастухова расположена была на одной лестнице со стариком, прямо над его квартирой, и лежал больной сын прямо над той комнатой, где лежал и приговоренный к смерти старик.

Очнувшись от беспамятства на третий или четвертый день болезни, старик спросил о сыне, и доктора, уже не питавшие никакой надежды на его выздоровление, осторожно предупредили старика об опасной болезни сына.

Он, вздохнув, перекрестился, спросил, остается ли какая-нибудь надежда на выздоровление, и, получив отрицательный ответ, попросил окружающих, чтобы его предупредили в ту минуту, когда у сына начнется агония.

Желание это было исполнено, и он, узнав, что сын доживает последние минуты своей сравнительно молодой жизни, поднял глаза к потолку, как бы желая взором проникнуть сквозь все материальные преграды туда, где угасала эта дорогая для него жизнь.

Не только провести, но даже и перенести его по лестнице в квартиру сына не было никакой возможности, и старика только в креслах подкатили к двери передней в ту минуту, когда сверху мимо него пронесли гроб с дорогим ему прахом.

В тех же креслах его подкатили к окну, из которого он увидел сына, когда гроб его вынесли из дома.

Самого Н. И. Пастухова смерть постигла тоже со странным совпадением дат.

Его хоронили 31 июля 1911 года, то есть накануне тридцатилетнего юбилея его газеты, первый номер которого вышел в свет 1 августа 1881 года.

Эти отдельные эпизоды, вырванные из очень большой репортерской работы в «Московском листке», могут, как мне думается, дать некоторое представление и о репортаже того времени, и о Н. И. Пастухове — создателе газеты, которая читалась и в гостиных, и в кабинетах, и в трактирах, и на рынках, и в многочисленных торговых рядах и линиях.

Казенные газеты

«Студент 3-го семестра утешает вдов и разводит сирот. Согласен за стол и квартиру. Б. Бронная, д. Чебышева, студенту Андрееву».

Эти строки единственные остались у меня в памяти из газеты, которая мозолила мне глаза десятки лет в Москве во всех трактирах, ресторанах, конторах и магазинах. В доме Чебышева, на Большой Бронной, постоянном обиталище малоимущих студентов Московского университета, действительно оказались двое студентов Андреевых, над которыми побалагурили товарищи, и этим все и окончилось.

Эту газету получали все учреждения, потому что обязаны были получать и непременно держать ее на виду.

Программа этой газеты, утвержденная правительством, была шире всех газетных программ того времени. Ей было разрешено печатать «все, что интересно читать и потребно обывателю». Так и написано было в разрешении, которое мне показывал сам редактор, маленький чиновничек, назначенный из канцелярии обер-полицмейстера.

Он имел шикарную квартиру при редакции и жил так, как полагается жить человеку, занимающему подобную квартиру.

Редактор никогда не читал своей газеты, имевшей свою хорошо оборудованную типографию. Газету вообще никто не читал, а меньше всего подписчики.

Интересовались ею только самые злополучные люди, справлявшиеся о том, какого числа будет продаваться за долги их обстановка, да еще интересовались собачьи воры, чтобы узнать, по какому адресу вести украденную ими собаку, чтоб получить награду от публикующего о том, что у него пропала собака. Эти лица, насколько я знаю, читали газету, а кто были остальные читатели, если только они были, — неизвестно.

Меня вопросы об аукционах не интересовали, а если у меня пропадала породистая собака, что было два раза в моей жизни, то я прямо шел на Грачевку, в трактир Павловского, разыскивал Александра Игнатьева, атамана шайки собачьих воров, — и он мне приводил мою собаку.

Цензурный комитет в глаза не видал этой газеты, в которой печатались обязательные постановления Городской думы касательно благоустройства города, краткие сообщения из полицейских приказов и протоколов о происшествиях и список приехавших в столицу и выехавших особ не ниже пятого класса.

Кроме того, в газете «припечатывались» казенные и частные объявления, и на квитанциях писалось: «За припечатание сего объявления получено 33 копейки серебром».

Частные лица редко сдавали сюда торговые объявления, и называлась эта газета «Ведомости московской городской полиции».

Распространение газеты зависело от энергии участкового пристава и характера участка, которым пристав этот ведал. Так, в Арбатской и Пречистенской частях этой газеты и не увидишь, хотя каждый домовладелец обязан был на нее подписываться. Эти два участка были населены дворянством, которое гнало полицейских, приходивших с подписной книгой на газету. Зато в некоторых более подходящих участках были приставы, ревностно заботившиеся о доходах газеты, причем, конечно, не забывали и о своем кармане.

В 1881 году московская полиция была преобразована: прежнее административное деление столицы на кварталы было уничтожено, и Москва была разделена на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковые пристава и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые из молодых побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые из них отпустили бороды по примеру царского двора, где бакенбардисты превратились в бородачей: царь носил бороду.

Квартальные, ставши приставами, конечно, заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины торговцы уже не отделывались — гони наличные, купить сами умеем.

В это время я написал для «Будильника» четверостишие, которое мне показали, троекратно и зло зачеркнутое красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уж не либерально, а мерзко!»

Четверостишие было такое:

Квартальный был — стал участковый, А в общем та же благодать: Несли квартальному целковый, А участковому — дай пять!

В числе таких квартальных, переодевшихся в почти гвардейский мундир, был капитан Змеев — щеголь и козырь вовсю.

Он в это время был приставом на Тверской-Ямской, где улицы и переулки были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

— На кой она нам!

— Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали!

В одно из воскресений, после обедни, на обширный двор участка были согнаны все

домовладельцы, трактирщики и лавочники — хозяева.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы, как у Дикого из «Грозы», наполнили Двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный пристав Змеев:

— Здравствуйте, почтенные!

— Здравствуйте, вскородие!

— Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщика Осипова и лавочника Луки Прокофьева.

— Выходи сюда. Подошли без шапок, дрожат.

— Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! — даже руку им подал на прощанье.

Затем обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете, кому хватит.

— Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травке и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтоб без ошибок было! А кто выучит — пусть доложит мне, я проэкзаменую сам.

И крикнул городовым:

— Никого не выпускать со двора!

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в свой кабинет.

Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать.

Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Подписка была четыре рубля за год. Конечно, сдачи с пяти рублей не давали. Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали.

Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило.

В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходившие из кабинета с аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок:

— Н-да! Что ловко, то ловко!

В Москве была еще такая же газета с обязательной подпиской, но той в столице не видали.

Она выходила раз в неделю, посылалась в провинцию почтой, где ее сваливали, не распечатывая бандероли, в архив присутственных мест уездных городов. Оттуда она поступала в конце концов через сторожей в соседние лавочки на оклейку стен или употреблялась на курево.

В ней печатались циркуляры, еще ранее разосланные по уездам почтой, и «припечатывались» объявления о пропавших коровах и забеглых лошадях, о потерях документов и разных находках.

Я в первый раз познакомился с этой газетой, носившей громкое название «Московские губернские ведомости», в начале 80-х годов, на охоте под Коломной, где в сельской лавочке в половину этой газеты мне завернули фунт мятных пряников.

На привале в лесу я стал смотреть газету и среди объявлений о пропажах и находках наткнулся на такое сообщение:

«В лесу близ Черкизова найдены неизвестно кому принадлежащие кандалы с потертыми подкандальниками. Владельца просят явиться, с доказательствами принадлежности в Московское губернское правление, в стол находок».

Цензура и цензоры

Самым глухим и трудным временем для печати было, пожалуй, десятилетие с 1881 по 1891 год, сменившее время «диктатуры сердца» и либеральных веяний, когда печать чувствовала себя относительно свободно. Это жесточайшее время реакции отразилось

первым делом на печати: получить разрешение на газету или журнал было почти невозможно. Зато правительство легко закрывало издания или умело сводило на нет при всяком удобном случае неугодные ему. Любопытно, что одним из первых во время наступившей реакции пострадал цензор Никотин, просматривавший журнал Н. А. Пушкарева «Свет и тени». Он пропустил карикатуру, не разгадавши ее смысла. Пострадал за нее и автор-художник, тогда еще студент-медик, М. М. Чемоданов.

Во всю страницу журнала «Свет и тени» летом 1881 года появился рисунок: стоят прямо воткнутые в две чернильницы по сторонам стола два гусиных пера, а через них была перекинута в виде вьющейся линии надпись: «Наше оружие для разрешения современных вопросов».

Перья и надпись изображали, если всмотреться, два столба с перекладиной. Перекладина-надпись была сделана почерком с росчерками, и один из росчерков, как раз посередине перьев, походил на висящую петлю.

Публика сразу узнала виселицу, и номер журнала был у всех в руках. Хватились испуганные власти, стали отбирать журнал, закрыли розницу издания и уволили цензора.

Уцелевшие у газетчиков номера продавались нарасхват по 5 рублей из-под полы. Вылетел со службы цензор Никотин, в общем очень милый и образованный человек, лучший из цензоров того времени.

Его увольнение больше всего отозвалось на цензорах, и они зло набросились на печать, и осторожность их доходила до абсурда.

Привыкай к пеленанью, мой милый, Привыкай, не шутя говорю, Подрастешь да исполнишься силой, Так и мысль спеленают твою.

Этими строчками заканчивалось стихотворение «Ребенок», сданное мною, вскоре после опубликования рисунка М. М. Чемоданова, в «Будильник».

Оно было послано в гранках цензору Егорову, лучшему из оставшихся цензоров, свободомыслящему и притом дружившему с редактором «Будильника» Н. П. Кичеевым, которому он и сказал, указывая на эти строчки:

— Николай Петрович, да разве можно? Вы хотите, чтоб и меня в отставку, как Никотина, выгнали?

— За что же?

— Да за то, что я допустил намек!

Эта знаменательная беседа с цензором, рассказанная Н. П. Кичеевым своим товарищам, повторялась во всех редакциях и повисла грозной тучей над изданиями.

«Намек» дал тон всей тогдашней литературе, которая в ответ цензуре заговорила эзоповым языком и приучала читателя разыскивать и разгадывать «намеки» даже там, где их не было. И разгадывали и находили, хотя это часто походило на сплошной анекдот.

Что, кроме анекдота, могло явиться в печати под «пятой» правительства, боявшегося даже намека, и какая могла быть печать, если газеты и журналы разрешались только тем, на кого твердо надеялось правительство, уверенное в том, что оно разрешает только тому право на издание, у кого и мысли о каком-нибудь неугодном властям намеке в голову прийти не могло, и разве такой издатель в свою газету и журнал мог пригласить редактора, который был бы способен пропустить какой бы то ни было намек?

Это было время, когда только в подпольной печати были рыцари без страха и упрека.

В легальной печати было два лагеря: в одном — «рыцари» со страхом и намеком, а в другом — «рыцари» без страха и намека. Во главе первых в Москве стояли «Московский телеграф», «Зритель» Давыдова, «Свет и тени» Пушкарева, ежемесячная «Русская мысль», «Русские ведомости», которые со страхом печатали Щедрина, писавшего сказки и басни, как Эзоп, и корреспонденции из Берлина Иоллоса, описывавшего под видом заграничной жизни русскую, сюда еще можно было причислить «Русский курьер», когда он был под редакцией В. А. Гольцева, и впоследствии газету «Курьер».

Ко второй категории можно отнести было: «Московские ведомости», «Московский листок», «Русский листок», «Русское слово», тогда еще не перешедшее к И. Д. Сытину,

которые все кормились и не рассуждали, будучи бесцензурными, а «Новости дня» были безопасны вследствие предварительной цензуры.

В такие времена задумалось издание детского журнала «Ласточка», в котором поэт из народа И. А. Белоусов являлся издателем, а я редактором.

Приложив к прошению законное количество гербовых марок, я послал его в главное управление по делам печати, ходатайствуя о разрешении журнала. «Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится» — есть поговорка. Через долгое время я получил ответ из главного управления о представлении документов о моем образовательном цензе.

Во время затеи с «Ласточкой» одновременно я был уже редактором «Журнала спорта», который был разрешен тем же самым главным управлением по делам печати.

В моем ответе, указав на этот факт, я дополнил, что, кроме того, я имею честь состоять «действительным членом Общества любителей российской словесности при Императорском московском университете» и работаю в журналистике более 20 лет.

Начальником главного управления по делам печати в эти времена был профессор Московского университета Н. А. Зверев, который сам был действительным членом Общества любителей российской словесности и, конечно, знал, что в члены Общества избираются только лица, известные своими научными и литературными трудами.

В ответ на это мне главным управлением сообщалось, что всего этого недостаточно для утверждения меня редактором детского журнала, а необходим гимназический аттестат. Гимназического аттестата, да и вообще никаких бумаг, кроме указа об отставке с перечислением сражений, в которых я участвовал, полученного мной после турецкой войны, тогда у меня не было: все их растерял во времена моей бродяжной юности.

Так и пришлось прекратить все хлопоты о детском журнале!

Вскоре после этого Н. А. Зверев приехал в Москву и потребовал к себе всех московских редакторов. Пошел и я. Он собрал редакторов в кабинете цензурного комитета и начал увещевать, чтобы были потише, не проводили «разных неподходящих идей», и особенно набросился на своего бывшего товарища по профессуре В. А. Гольцева, редактора «Русской мысли», и В. М. Соболевского, редактора «Русских ведомостей».

Надо заметить, что это было в начале японской войны и как раз в тот день, когда было напечатано сообщение об успехах наших войск, взявших Путиловскую сопку.

— А вам, господа, — сказал Н. А. Зверев, обращаясь к В. А. Гольцеву и В. М. Соболевскому, — я особенно удивляюсь. Что это вам далась какая-то конституция! Что это, господа? В такое время! Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема, например, сегодняшний факт — сопка с деревом!

Беседа кончилась как-то юмористически. Когда вышли из кабинета, я резюмировал зверевскую беседу так:

Вот вам тема — сопка с деревом,
А вы все о конституции…
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…
Ишь какими стали ярыми
Света суд, законы правые!
А вот я вам циркулярами
Поселю в вас мысли здравые.
Есть вам тема — сопка с деревом:
Ни гу-гу про конституцию!
Мы стояли перед Зверевым
В ожиданьи экзекуции…

Дождались конституции, грянула свобода печати, стали писать по-новому. Забыли «сопку с деревом», доставление документов об образовательном цензе, стали выходить

издания явочным порядком. Стали писать все что угодно, никакой цензуры, казалось, не было, но оказалось — ненадолго.

Стали опять поговаривать о «свободе печати», той печати, которая свободно припечатывала бы каждое свободное слово, воскресла цензура и принялась «припечатывать»!

Для редакторов открылись двери тюрем, на издателей посыпались денежные штрафы, сажали редакторов и прикрывали газеты. Нужно было или платить штраф, сохраняя издание, или на место посаженного редактора выставлять нового, запасного. Таких явилось сколько угодно.

— Ответственный редактор!

— Редактор для отсидки!

Цены на таких редакторов были разные: от 15 рублей на хозяйских харчах в месяц и выше — до сотен рублей. Был случай, напечатанный в газетах, что двенадцать редакторов одного и того же петербургского издания одновременно отсиживали в тюрьме трехмесячный стаж.

Такие «редакторы» вербовались издателями среди безработных или лиц, ничем не рискующих, так как жалованье им шло и во время заключения.

Свободе «печати», припечатывавшей «свободное слово», стало трудно бороться с этим, надо было находить и выдумывать что-то новое. Был выдвинут новый проект устава о печати, в котором, между прочим, имелся 45-й параграф, предусматривающий особый образовательный ценз для ответственного редактора, вроде диплома об окончании курса в среднем учебном заведении. Этот 45-й параграф уже заставил многих издателей, особенно провинциальных, задуматься. Как-то я получил от одного из них письмо, в котором он, между прочим, обращается с просьбой:

«Подыщите мне, пожалуйста, парочку, а то и троечку, на всякий случай, подходящих редакторов, но непременно с гимназическим дипломом, на жалованье от 40 до 50 рублей. Сначала пришлите одного, а другие двое чтобы были наготове, когда потребуется. Вы знаете, что статья 46-я нового устава о печати для нас, глухой провинции, прямо зарез, здесь трудно найти ответственного редактора с гимназическим образованием. У вас же з Москве, взять хоть Хитров рынок, ими хоть пруд пруди. Ведь обязанности никакой: сиди пей водку дома да только подписывай газету. Конечно, справиться надо, не судившийся ли, а все остальное ничего, у меня тесть содержит лечебницу для алкоголиков. Только главное — аттестат и благонадежность. Пожалуйста, присмотрите парочку…»

Я прочел это письмо и подумал: догадайся я раньше найти на Хитровом рынке такого редактора, давно бы издавал детский журнал.

Когда я редактировал коннозаводческий «Журнал спорта», московская цензура тоже меня нередко тревожила и ставила иногда в ужасное положение. Так, в 90-х годах прошлого столетия я как-то напечатал воскресный номер и выпустил его, не дождавшись цензорских гранок. Сделал я это вполне сознательно, так как был более чем уверен, что ровно никаких противоцензурных погрешностей в номере нет.

В 8 часов вечера, в субботу, я роздал номер газетчикам и послал к цензору за гранками. Каково же было мое удивление, когда посланный вернулся и уведомил, что номер выпускать нельзя, так как цензором сделаны вымарки. Номер я уже роздал весь и уехал на поезде, а вернувшись в понедельник, отправился в цензурный комитет, куда были доставлены и цензорские гранки. Оказалось, что вычеркнуто было только одно слово: «казенная».

Слово это находилось в отчете о скачках, на которых участвовали лошади казенного Деркульского завода, и было, между прочим, написано: «Хотя казенная кобыла и была бита хлыстом, но все-таки не подавалась вперед».

Слово «казенная» было вычеркнуто, и номер задержан. Цензурный комитет помещался тогда на углу Сивцева Вражка и Б. Власьевского переулка. Я вошел и попросил доложить о себе председателю цензурного комитета В. В. Назаревскому, которым и был приглашен в кабинет. Я рассказал о моем противоцензурном поступке, за который в те блаженные

времена могло редактору серьезно достаться, так как «преступление» — выпуск номера без разрешения цензуры — было налицо.

— Что же, я поговорю с цензором. Это зависит только от него, как он взглянет, так и будет, — сказал мне председатель цензурного комитета.

В разговоре В. В. Назаревский, между прочим, сказал:

— А знаете, в чьем доме мы теперь с вами беседуем?

— Не знаю!

— Это дом Герцена (Позднее я выяснил, что В. В. Назаревский ошибся: дом А. И. Герцена был не здесь, а в Старо-Конюшенном переулке.) Этот сад, который виден из окон, — его сад, и мы сидим в том самом кабинете, где он писал свои статьи.

— Бывает! — сказал я.

— Да-с! А теперь на месте Герцена сидит председатель московского цензурного комитета.

На столе В. В. Назаревского лежала пачка бумаги. Я взял карандаш и на этой пачке написал:

Как изменился белый свет! Где Герцен сам в минуты гнева Порой писал царям ответ, — Теперь цензурный комитет Крестит направо и налево!..

В. В. Назаревский прочел и потом перевернул бумагу.

— Это прекрасно, но… вы написали на казенной бумаге.

— Уж извините! Значит — последовательность. Слово «казенная» не дает мне покоя. Из-за «казенной» лошади я попал сюда и испортил «казенную» бумагу…

— Вы так хорошо испортили «казенную» бумагу, что и «казенную» лошадь можно за это простить. Не беспокойтесь, за выпуск номера мы вас не привлечем. Я поговорю с цензором, а эти строчки я оставлю себе на память.

Так А. И. Герцен выручил меня от цензурной неприятности.

* * *

Что бы, кажется, могло быть бесцензурного в «Журнале спорта», где разбирались только одни коннозаводские вопросы? Но тем не менее то и дело цензура прикладывала к нему свою руку.

Большие номера журнала выходили по воскресеньям, печатались в субботу и к газетчикам поступали или поздно вечером, или в четыре часа утра.

Статьи для цензуры посылались в пятницу, а хроника и отчеты — в субботу, после четырех часов дня, то есть когда верстался номер. Бывали случаи, что уже наступал вечер, а цензурных гранок не приносили. Приходилось иногда ехать самому к цензору на квартиру выручать материал.

Приедешь. Отпирает кухарка:

— Тебе чего?

— Кто дома есть?

— Никого нетути! Уехадши в киятры!

— Цензурные гранки не оставлены?

— Дранки? Вот они лежат, да отдавать не приказано, в понедельник в комитет пойдут.

Дверь захлопывается — положение невеселое: или номер не выпускай, или рискуй закрытием журнала за бесцензурный выход. Тогда все это было возможно в административном порядке.

Приходилось в одиннадцать часов ночи посылать секретаря дежурить у подъезда цензора и ждать его возвращения из театра, чтобы получить гранки.

Иногда эти гранки отдавались, нецензурные недоразумения улаживались — и номер выходил беспрепятственно. Иногда же я выпускал номер на риск, и приходилось ездить с объяснениями в цензурный комитет. Все это стоило времени и трепало нервы.

Иногда дело передавалось в суд и кончалось рублевым штрафом, но до суда я старался

никогда не доводить, чтобы не обозлить цензуру, которая все-таки имела возможность всегда зарезать издание тем или другим путем.

Такие цензоры, как С. И. Соколов и С. В. Залетов, относились ко мне хорошо, доверяли выпускать текущий дневной материал без просмотра. Такое доверие давало мне возможность раньше выпускать номер, — но тут бывали курьезные недоразумения.

— Что же это вы нас подводите? Мы вам доверяем, а вы подводите-с!

— Что? Где?

— Читайте: «Гнедой жеребец Патриарх покрыл мадам Анго». Да разве это можно! Патриарх… да еще мадам Анго?

— Это лошадь иностранная, разве я виноват, что у нее такое имя!

— Ну так пусть пишут иностранцы, а нам не подобает. За это нам…

— Да ведь вот и в казенном журнале «Коннозаводство», издающемся в Петербурге при Главном управлении государственного коннозаводства, так же написано. Я показал цензору казенный журнал, откуда была сделана перепечатка о Патриархе.

— Безобразники! А еще государственное коннозаводство! — вздохнул цензор и успокоился.

Во времена, когда я был мало известен цензуре, хроника в журнале часто черкалась цензором и происходили недоразумения и объяснения в цензурном комитете.

Был задержан однажды выпуск номера за заметку в хронике такого содержания:

«Ф. Ф. Достоевский купил у Л. Ф. Грабовского двух кобыл — Лютеранку и Круцяту».

В среду я был вызван в цензурный комитет к моему цензору.

— Это кобыла-то у вас лютеранка? Да что вы это? Я этого пропустить не могу. Ведь вы этак, пожалуй, напишите, что я — жеребец… или еще что в этом роде. Здесь я усматриваю оскорбление религии!

Конечно, все разъяснилось, уладилось и «антирелигиозная» заметка о кобылах была благосклонно пропущена.

Труднее мне пришлось отстаивать заметку под заглавием «Продажная скачка».

— То есть позвольте, как это продажная? Это уж оскорбление императорского общества! Разве допустимы продажные скачки?! — набросился на меня цензор.

— Да ведь «продажная» — это название приза. Это значит, что выигравшая приз лошадь обязательно продается с аукциона тотчас же после скачки…

— Я не позволю!

Пришлось дойти до председателя цензурного комитета, представить ему скаковую афишу, где скачка была озаглавлена «продажная».

«Зритель»

Редакция сатирического и юмористического журнала «Зритель» помещалась на Тверском бульваре в доме Фальковской, где-то на третьем этаже. Тут же была и цинкография В. В. Давыдова. В. В. Давыдов был всегда весь замазанный, закоптелый, высокий и стройный, в синей нанковой, выгоревшей от кислоты блузе, с черными от работы руками, — похожий на коммунара с парижских баррикад 1871 года. По духу он и действительно был таким.

Обстановки в редакции не было никакой: некрашеные столы, убогие деревянные стулья Сухаревской работы.

Мы, сотрудники, собирались обыкновенно по четвергам, приходили часам к трем, усаживались пить чай из никогда не чищенного огромного самовара, пили из дешевых, пузырчатых, зеленого стекла стаканов, с оловянными ложечками.

Сахар в пакете, в бумаге колбаса, сыр и калачи или булки, которые рвали руками. Вешали пальто на гвозди, вбитые в стену, где попало. Приходили Антоша Чехонте, Е. Вернер, М. Лачинов, тогда еще студент Петровской академии, Н. Кичеев, П. Кичеев, Н. Стружкин и еще кое-кто.

Выходил В. В. Давыдов и тут же приносил пачку материала. Обсуждали каждую мелочь вместе. Записывали экспромты, остроты, шутки. В. В. Давыдов был все — и редактор, и секретарь, и кассир. Когда были в кармане деньги, он выворачивал все на стол и делил кому что следует, а иногда прямо заявлял:

— Ни копья нет! В субботу приходите, получу!

И всегда слово его было верно.

В журнале особый успех имел отдел «Литературное попурри», где доставалось всем и каждому, не стесняясь положением, дружбой, отношениями.

Этот отдел составлялся коллективом во время наших четверговых чаев. Не щадили здесь ни своих, ни чужих, даже присутствующих. Также обсуждались всеми вместе и театральные рецензии.

Являлся М. М. Чемоданов со своими карикатурами, — их рассматривали, меняли надписи, давали ему новые темы.

В то время фамилия «М. М. Чемоданов», после его карикатуры в журнале Пушкарева «Свет и тени», за которую слетел цензор Никотин, была страшной, и он стал подписываться «Лилин», чтобы скрыть от цензуры свое имя.

В этих собеседованиях мы напрягали все усилия, чтобы надуть цензуру, на что очень реагировал сам В. В. Давыдов.

М. М. Чемоданов улыбался и набрасывал проекты карикатур такие, что комар носа не подточит. В каждом номере журнала появлялись такие карикатуры, смысл которых разгадывался уже тогда, когда журнал выходил в свет. В большинстве это были политические карикатуры.

Обыкновенно кто-нибудь приносил в редакцию свой набросок или рецензию, и тут же это подвергалось общей обработке.

«Виктор Крылов переделывает Гамлета на русские нравы!», «Театральные барышники получают билеты из касс театров!», «Два Ильинских обывателя собираются совершить воздухоплавание через трубу!», «Фунт крестовниковских свечей равняется 91 золотнику!»

Целая страница рецензий с массой карикатур давалась на исполнение новых пьес во всех театрах — всегда зло и остроумно.

Удивительные были эти наши заседания, на которых люди перерождались.

Важные, недоступные в своих редакциях и на местах службы — здесь они были просты, остроумны и веселы, там «важничали глупо», а здесь «дурачились умно».

У всех главной была одна мысль: как бы подвести цензора. Особенно это удавалось М. М. Чемоданову, делавшему для цензуры наброски карандашом неоконченными, а потом, уже на подписанном цензором листе, он делал два-три штриха, и появлялся или портрет известного деятеля, или такая поза у какого-нибудь начальствующего лица, что оно выходило в смешном виде.

Как-то раз М. М. Чемоданов принес рисунок на первую страницу: у ворот дома на скамейке, освещенный керосиновым фонарем (тогда так освещалась вся Москва), спит и сладко улыбается дворник. Мы все расхохотались: живой портрет императора Александра III!

— Это для друзей, а вот это для цензуры! Показывает другой такой же оригинал, сделанный также пером: совсем другое лицо, а все остальное, как у первого.

Затем на втором рисунке делает два-три штриха карандашом, и опять выходит Александр III.

Начинается придумывание подписи. Под рисунком один из нас написал:

Покорный своей незатейливой доле,
Дворник сидит и спит.
И снится ему: на российском престоле
Такой же безграмотный дворник сидит.

— Это для друзей. Надо придумать для цензуры! В дикий восторг пришел В. В. Давыдов, выпросил у М. М. Чемоданова рисунок и долго носился с ним, показывая направо и налево. Четверостишие ходило по Москве. К другому оригиналу я написал какие-то восемь строк насчет сна бедняка, которому грезится во сне сытый богач.

Стихи напечатаны были потом в «Осколках», но дворник «не пошел»: как раз накануне был получен циркуляр доставлять цензору карикатуры и рисунки не в оригинале, а в оттисках.

Мы озорничали и радовались, как дети, а Антон Павлович Чехов, наш главный сотрудник, писавший под разными псевдонимами, веселился больше всех.

После заседаний некоторые шли через бульвар в трактир к Саврасенкову, так как В. В. Давыдов, — убежденный трезвенник, — в редакции, кроме чаю, ничего не допускал. Только один раз это правило было нарушено. Мы сидели за своей обычной четверговой работой. Вдруг вваливается, прихрамывая и улыбаясь своей огромной нижней губой, актер В. Н. Андреев-Бурлак.

— Четверговую соль готовите?

— А, Василий Николаевич, наконец-то! — вскочил встречать его В. В. Давыдов.

— Принес что-нибудь?

— Да я же тебе вчера слово дал!

Василий Николаевич Андреев-Бурлак был не менее талантливым рассказчиком и писателем, чем актером.

В это время была в моде его книжка рассказов «На Волге», а в «Русской мысли» незадолго перед этим имел большой, заслуженный успех его прекрасный художественный рассказ «За отца» на сюжет побега из крепости политического заключенного.

— На, получай! — и подает одной рукой тетрадку В. В. Давыдову, а другой, вынув из кармана бутылку коньяку, ставит на стол.

— Для вдохновения! Хлеб на столе, соль своя!

В. В. Давыдов даже не поморщился; откупорили бутылку и налили коньяку в стаканы зеленого стекла, а Василий Николаевич в это время, по общей просьбе, стал читать принесенный им рассказ, который назывался «Как мы чумели». Его напечатали в «Зрителе», а потом осмеянная особа, кажется, генерал Лорис-Меликов, укрощавший чуму в Ветлянке, где-то около Астрахани, обиделся, и из Петербурга пришел нагоняй московскому цензурному комитету за пропущенный рассказ.

Освирепела цензура, которая к тому же узнала, что Лилин — это псевдоним М. М. Чемоданова, и довела до того, что «Зритель», единственный сатирический журнал всей той эпохи, был окончательно обескровлен, а В. В. Давыдов со своей цинкографией перешел в «Московский листок».

«Будильник»

«Будильник» около полувека веселил Москву, и никто из нас, веселых сотрудников тогда веселого журнала, не знал глубокой трагедии, заложенной в основании этого самого распространенного в восьмидесятых годах юмористического органа.

В те времена и читатели и сотрудники мало интересовались, кем был основан журнал и при каких условиях.

Сотрудники жили настоящим днем, не заглядывая в прошлое: приходили со статьями, за гонораром, собирались составлять номера по субботам, видели тех, кто перед глазами, а в прошлое не заглядывали.

Кое-кто знал, правда, что основатель московского «Будильника» был художник и писатель А. П. Сухов, и этим ограничивались, не вникая в подробности его биографии, а человек это был интереснейший.

А. П. Сухов был сыном касимовского крестьянина, умершего в 1848 году от холеры. Похоронив мужа, вдова Сухова пришла со своим десятилетним мальчиком из деревни в

Москву и поступила работницей в купеческую семью, а сына отдала к живописцу вывесок в ученье, где он и прожил горьких девять лет: его часто били, много и за все.

В эти годы А. П. Сухов самоучкой выучился писать и читать и самоучкой начал потихоньку от хозяина рисовать. Отслужив условленные года у хозяина, он перешел уже мастером к богомазу и принялся писать образа.

Еще восемь лет прожил он у богомаза, усиленно в это время читая все, что попадалось под руку, и рисуя. Но то и другое шло без всякой системы.

Его мать перешла работать в семью одного профессора Московского университета, с которым А. П. Сухов, посещая по праздникам свою мать, встречался.

Однажды он показал профессору свои рисунки и несколько тетрадок с написанными им рассказами и сценками из рабочего быта.

Профессор, заметив способности А. П. Сухова, посоветовал ему более серьезно и систематически заняться самообразованием.

А. П. Сухов, которому к этому времени исполнилось двадцать шесть лет, оставил богомаза, нанял комнатку за три рубля в месяц на Козихе и принялся за работу. Читал, учился по вечерам, начав с грамматики, а днем писал образа по заказу купцов.

Профессор дал ему рекомендацию в журнал «Развлечение», где его приняли и стали печатать его карикатуры, а потом рассказы и повести под псевдонимом «Железная маска».

Через несколько лет вышла отдельная книга А. П. Сухова «Типы темного царства», из жизни замоскворецкого купечества, которую он прекрасно изучил благодаря своей профессии богомаза.

В 1872 году А. П. Сухов завел небольшую типографию-литографию и решил издавать свой журнал.

Рязанскому мужику, конечно, такого разрешения тогда не дали, но упорный и настойчивый А. П. Сухов все-таки добился своего: он купил существовавший в Петербурге, но уже год не издававшийся журнал «Будильник». А. П. Сухов, приобретя право на издание, перенес журнал в Москву и влез в неоплатные долги: хлопоты очень дорого стоили.

Смелый и интересный журнал сразу получил в Москве большой успех и прекрасно начал расходиться в розницу, но вскоре проштрафился перед цензурой, и розничная продажа была запрещена.

Кредиторы насели, и он в конце концов принужден был уступить свое издание, сохранив за собой права постоянного сотрудничества.

В это время с ним случилась беда, окончательно добившая этого талантливого самородка-крестьянина.

А. П. Сухов был арестован в своей квартире и посажен в острог за растрату денег, якобы собранных в пользу голодающих самарцев; на самом же деле ничего подобного не было, растрата не подтвердилась, и А. П. Сухов, просидевший около года, был выпущен из тюрьмы.

Оказалось, что А. П. Сухов издал в пользу голодающих благотворительный номер «Будильника» и весь чистый барыш его отослал по назначению, но с него комитет помощи голодающим начал требовать и деньги, затраченные им на издание этого номера.

Впоследствии комитет извинился в неправильном иске, вызвавшем арест, но незаслуженный позор и тюремное заключение отозвались на здоровье А. П. Сухова: он зачах и через семь месяцев по освобождении, в 1875 году, скончался в одиночестве в своей бедной комнатке на Козихе среди начатых рукописей и неоконченных рисунков, утешаясь только одной радостью, что его мать умерла во время славы своего сына.

Я застал «Будильник» во время его расцвета. Издательницей была Л. Н. Уткина, а редактором — Н. П. Кичеев. Серьезная беллетристика, лирические стихотворения, юмористика и сатира, насколько они были возможны после первого марта 1881 года, чередовались в журнале.

Я напечатал там свое стихотворение «Волга», проскочившее как-то случайно по цензурным условиям того времени.

Разина Стеньки товарищи славные Волгой владели до моря Хвалынского…

Такие строчки тогда не любили, и самое имя Стеньки Разина вычеркивалось московской цензурой.

Я вошел в состав редакции, хотя работал и в конкурирующих изданиях: петербургских «Осколках», «Москве», «Волне», «Зрителе» и «Развлечении».

После Л. Н. Уткиной, потратившей все свои средства на издание, оно перешло к Арнольди. Редакторами были Н. П. Кичеев и Ал. Дм. Курепин.

В это время редакция «Будильника» помещалась на углу Тверской и Гнездниковского переулка в доме Самуила Малкиеля, прославившегося поставкой бумажных подошв для солдатских сапог во время турецкой войны 1877 года.

В этом же доме был и пушкинский театр А. А. Бренко, и типография журнала, которую содержал присяжный поверенный, родственник Малкиеля.

Интересна была тогда редакция. Такие редакционные «четверги» были еще только в «Зрителе».

Субботы в редакции были сборными днями; получали гонорар, сдавали и обсуждали всей компанией материал на следующий номер, а постоянный художник и карикатурист редакции Д. Н. Чичагов сидел обыкновенно молча в углу и делал зарисовки.

В моем архиве сохранилась такая субботняя зарисовка, сделанная с натуры и впоследствии напечатанная в юбилейном номере «Будильника» под названием: «Редакционный день «Будильника».

За столом сидят: Арнольди, Курепин, Кичеев, новый издатель Левинский; стоят Ан. Чехов, Амфитеатров, Пассек, Сергеенко, а входящим в дверь изображен я, в высоких сапогах и с рукописью в руках.

В. М. Дорошевич тогда еще не работал, он пришел позднее.

В первое время, когда «Будильник» перешел к чиновнику В. Д. Левинскому, который забрал в свои руки дело и начал вымарщивать копейки, сведя гонорар до минимума и посылая агентов собирать объявления для журнала, еще держались старые редакционные традиции: были веселые «субботы» сотрудников.

Вспоминаются строки, написанные об этих собраниях В. М. Дорошевичем:

«Рассказы в этом журнале писал Антоша Чехонте и по субботам, в редакционный день, гудел баском:

— Вот буду знаменитостью, — стану брать по 15 копеек за строчку.

Огромный А. В. Амфитеатров пишет пародии — гомерический хохот стоит в редакции, когда их читают.

Бен-Иохаи поет у него — в пародии на «Уриэля Акосту», оперу Серова:

Я евреям донесу,
Донесу!
Жрет Акоста колбасу,
Колбасу!

П. А. Сергеенко — тот, что теперь вкушает только репу, говорит:

— Милые, ведь ей не больно! — и подписывается… сказать страшно: Эмиль Пуп.

Как буря, влетает в крохотную редакцию Гиляй — В. А. Гиляровский, — схватывает стул, на котором сидит сотрудник, поднимает его выше головы и относит в другой угол.

— Не беспокойся, я тебя опять на место поставлю! — и сыплет под общий хохот экспромтами.

— До чего вы только доболтаетесь! — машет рукой Д. Д. Курепин — самый корректный, самый интеллигентный из редакторов в мире, мягкой, любезной рукой сдерживающий всю эту молодую, веселую, смешливую ватагу, готовую поднять на смех кого угодно, что угодно.

А милый В. Д. Левинский говорит, возвращая «рукопись» для переделки:

— Батька, длинно!

— Владимир Дмитриевич!!! Всего четыре строки!

— Добрый мой, эту мысль можно в трех строках уложить. Сократите!

Какая школа!

И среди этой молодой, жизнерадостной компании — Пассек; у него был настоящий юмор — способность смешить не улыбаясь».

Редактировать В. Д. Левинский стал сам — и все талантливое ушло. Журнал стал бесцветен, и только выручал розницу яркими обложками художник Ив. Ив. Кланг, милейший человек.

Еще работал очень долго в «Будильнике» художник А. Левитан, брат знаменитого И. И. Левитана.

В. Д. Левинский пробовал по-старому устраивать «субботы», но они уже были не те.

— Не-ет, дорогой, это нельзя, я не поставлю, — цедит сквозь зубы В. Д. Левинский.

— Ведь цензура же разрешила!

— Да, но, кроме цензуры, надо еще знать многое. По цензуре оно цензурно, а кое-кого задеваете! Кого?

— Ну, банкира Полякова, Лазаря Соломоновича.

— Вот то-то! А он принят у его сиятельства князя Владимира Андреевича. Что же тогда мне будет, если он пожалуется князю?

Как-то В. Д. Левинский вынул из пачки материала, приготовленного к приему, стихотворение и стал читать:

МУЗЫКАНТУ САШЕ

Саша, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его барственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть ему кто поднесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

— Кто это «музыкант Саша»? А стихи ничего себе, звучные! — улыбнулся В. Д. Левинский. Он всегда говорил как-то не открывая рта. — Автор подписался псевдонимом «Я». Ни фамилии, ни адреса. Кто это такой, музыкант Саша? А стишок недурной!

— Да и гонорар не платить. Ведь это восемь гривен вам в карман, — подпускает И. И. Кланг.

В. Д. Левинский довел гонорар до гривенника за строку стихотворения.

— Н-да! Но вдруг оно уже было напечатано, вдруг Саша очень известное лицо?

Наконец присутствовавшие не выдержали, расхохотались, и кто-то сказал:

— Неужели вы, Владимир Дмитриевич, не знаете Сашу, который играет на тромбоне?

— Не знаю! Мало ли таких!

— Только один такой. Какой Саша дает «формы» вместо «реформы», тот и на тромбоне играет: Александр III.

— Ах, скотина! — взвыл В. Д. Левинский, покраснел и начал рвать стихи…

— Саша-то скотина? Это о государе императоре вы так? В. Д. Левинский побледнел, вскочил и замахал руками:

— Что вы! Что вы! Кто прислал стих, вот я про кого! Кончилось общим хохотом, в котором только не участвовал все еще бледный и дрожащий В. Д. Левинский.

Стихотворение это было довольно известное в наших кружках. Кто-нибудь прислал его В. Д. Левинскому, слегка изменив. На самом деле оно таково:

Царь наш, юный музыкант,
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит.
Чуть министр преподнесет
Новую реформу,
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

Стихи ходили по Москве. Кто их прислал в редакцию, так и осталось неизвестным. Я больше не бывал в «Будильнике» — уж очень он стал елейно юмористический.

«Развлечение»

«Журнал литературно-юмористически-карикатурный» Его основал Ф. Б. Миллер в 1859 году.

Я помню его с семидесятых годов, когда он жестоко пробирал московское купечество, и даже на первой полосе, в заголовке, в эти годы печатался типичный купец в цилиндре на правое ухо и сапогах бураками, разбивавший в зале ресторана бутылкой зеркало.

Это был портрет известного богача: кругом пьяная публика, тоже портреты, а перед купцом, согнувшись в три погибели, волосатый человек в сюртуке, из заднего кармана которого торчит полуштоф водки.

Купец был М. А. Хлудов, а волосатый — Н. И. Пастухов. Автор этого рисунка, впоследствии мой большой приятель, Лавр Лаврович Белянкин, неподкупно честный человек, но «злой на перо», сотрудник «Развлечения» с начала издания, известный художник-миниатюрист с четким рисунком, умевший схватывать типичные черты оригинала и живо передававший сходство лиц. Он одевался по моде, нюхал «головкинский» дорогой табак из золотой табакерки времен Людовика XVI и жил в своем доме на Мещанской, недалеко от Сухаревки, на которую ходил каждое воскресенье, коллекционируя миниатюры и рисунки. Он работал в «Развлечении» постоянно, но давал только то, что сам хотел, и никакой критики и замечаний редактора не выносил:

— Не хочешь — не надо! Наплевать мне на твой журналишко и на тебя! — скажет, возьмет рисунок и уйдет, а через неделю приходит и встречается редактором как желанный и ожидаемый.

Если ему и давали тему — он исполнял только ту, которая ему по душе. Карикатурист 60-х годов, он был напитан тогдашним духом обличения и был беспощаден, но строго лоялен в цензурном отношении: никогда не шел против властей и не вышучивал начальство выше городового. Но зато уж и тешил свое обличающее сердце, — именно сердце, а не ум — насчет тех, над которыми цензурой глумиться не воспрещалось, и раскрыть подноготную самодура-купца или редактора газеты считал для себя великим удовольствием.

Л. Л. Белянкин был старейший карикатурист, которого я знал и с которым вместе работал немалое время в юмористических журналах.

Кроме Л. Л. Белянкина, я был знаком еще с писателем Даниловым, работавшим в «Развлечении» тоже с 1859 года, с самого основания журнала.

В 1859 году он был сослан на Кавказ рядовым, но потом возвращен за отличия в делах с горцами. Выслан он был за стихи, которые прочел на какой-то студенческой тайной вечеринке, а потом принес их в «Развлечение»; редактор, не посмотрев, сдал их в набор и в гранках послал к цензору. Последний переслал их в цензурный комитет, а тот к жандармскому генералу, и в результате перед последним предстал редактор «Развлечения» Ф. Б. Миллер. Потребовали и автора к жандарму. На столе лежала гранка со следующими стихами:

— Тятька! Эвося народу
Собралось у кабака!
Все гуторят про свободу…
Тятька, кто она така?
— Замолчи! Пущай гуторют,
Наше дело сторона…
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она!

Волинадо

Так и было подписано — Волинадо.

Генерал отпустил Ф. Б. Миллера, узнав, что он не видел рукописи, и напустился на автора. Показал ему читанные им на вечеринке стихи, а главное, набросился на подпись:

— Так тебе воли надо! Я тебе такую волю покажу! На Кавказ! Без выслуги! В рядовые! Ты понимаешь всю язву подписи? «Воли надо»!

— Помилуйте, ваше превосходительство, да ведь это моя фамилия. Да и стихи не мои… их все знают.[4]

— Твоя фамилия Данилов… Вот и справка из полиции.

— А прочтите наоборот: Данилов и выходит Волинадо!

Тем не менее Данилова сослали. Стихотворение потом было где-то напечатано, а Данилов после крестьянской реформы 1861 года вернулся с Кавказа и стал писать под псевдонимом Волинадо. Историю происхождения этого псевдонима я слышал от И. А. Вашкова, многолетнего фактического редактора «Развлечения» при Ф. Б. Миллере и его наследниках и главного, а иногда и единственного сотрудника этого журнала, наполнявшего за отсутствием материала — денег не было — весь журнал: и рассказ, и мелочи, и стихи, и куплеты, и злободневный фельетон. Он подписывался «Мичман Жевакин».

Рисунки и карикатуры для журнала художники выполняли за грошовую оплату, а Л. Л. Белянкин так иногда и совсем бесплатно работал из любви к изданию.

После подписки, когда появлялись деньги, появлялись и сотрудники. Такое же тяжелое положение журнала было после смерти Ф. Б. Миллера, а в 1881 году наследники продали журнал кому-то, а затем он перешел к Александру Викторовичу Насонову.

А. В. Насонов — человек состоятельный, имел крупный пост на какой-то железной дороге. Первые годы он не занимался журналом; его по-прежнему, как и при Ф. М. Миллере, вел И. А. Вашков, а с 1883 года им занялся сам А. В. Насонов. Его редакторство было расцветом журнала. В переходное время, когда И. А. Вашков ушел в «Московский листок», редактировал журнал П. И. Кичеев. Он выпустил несколько номеров со злейшими карикатурами Л. Л. Белянкина. Тому и другому пришлось оставить сотрудничество после следующего случая: П. И. Кичеев встретил в театре репортера «Русского курьера», которому он не раз давал сведения для газеты, и рассказал ему, что сегодня лопнул самый большой колокол в Страстном монастыре, но это стараются скрыть, и второе, что вчера на Бронной у модистки родились близнецы, сросшиеся между собою спинами, мальчик и девочка, и оба живы-здоровы, и врачи определили, что они будут жить. Репортер, поверивший старому литератору, напечатал то и другое известие в воскресном номере своей газеты.

А через три дня, в четверг, в «Развлечении» появились во весь лист карикатуры: лопнувший колокол, а рядом два близнеца с лицом Н. П. Ланина, редактора «Русского курьера», а далее сам Н. П. Ланин сидит в ванне с надписью «ланинское шампанское» и из ванны вылетает стая уток, и тут же издатель «Новостей дня» А. Я. Липскеров ловит этих уток.

Портреты того и другого, сделанные Л. Л. Белянкиным, были великолепны. После

---

[4] Это стихи Шумахера. Они долго ходили по рукам, потом уже появились в «Искре»

этого «происшествия» редактировать «Развлечение» стал сам А. В. Насонов, а карикатуры исполнялись Н. И. Богдановым, А. И. Лебедевым, М. Е. Малышевым, С. А. Любовниковым и Эрбером.

У А. В. Насонова по субботам за чаем собирались сотрудники, весело беседовали, придумывали темы для карикатур и разные мелочи и тут же получали гонорар. Сказал остроумно мелочь, приняли присутствовавшие — получай наличными!

Я иногда по 3 рубля зарабатывал за четверостишия на заданную тему, по 25 копеек за строку стихов; это тогда считалось крупной платой — обыкновенно за стихи платили 10 или 15 копеек. Это было в 1884 и 1885 годах.

В это время в «Развлечении» печатал много своих рассказов расправлявший могучие крылья А. П. Чехов. Присылали в журнал свои повести и рассказы маститый поэт А. Н. Плещеев, С. Н. Терпигорев (Атава), Н. Н. Златовратский, драматург П. М. Невежин, сотрудничали в нем Д. Д. Минаев, Вас. И. Немирович-Данченко, А. Грузинский (Лазарев), Л. И. Пальмин и др.

К А. В. Насонову шли все охотно. Музыкальным отделом заведовал старый профессор Московской консерватории, композитор А. И. Дюбюк, выпускавший ежемесячным бесплатным приложением музыкальные пьесы.

К концу 1885 года дела А. В. Насонова пошатнулись, на издание не стало хватать средств, пришлось передать журнал, который и приобрел некто Щербов, человек совершенно никому не известный и чуждый литературе.

А. В. Насонов отдал ему издание за долги, но первое время был редактором, а с 1886 года появилась подпись одного Щербова. Узнав это, все лучшие сотрудники ушли, из художников остался один А. И. Лебедев, снова явился из «Будильника» Л. Л. Белянкин, после чего Щербов издательствовал недолго.

Совершенно неожиданно «Развлечение» перешло в собственность Ивану Андреевичу Морозову, книжнику-лубочнику с Никольской, издававшему копеечные листовки и разные «страшные» повести или романы известных писателей, но под другими названиями, а то и под теми же, но авторы были другие.

Главным сотрудником, по существу, редактором, так как сам был полуграмотным, Морозов пригласил А. М. Пазухина, автора романов и повестей, годами печатавшихся непрерывно в «Московском листке» по средам и пятницам. И в эти дни газетчики для розницы брали всегда больше номеров и говорили:

— Как же-с, по постным дням фельетоны Алексея Михайловича!

А. М. Пазухин имел большой успех у читателей этой газеты.

Сотня романов, написанных А. М. Пазухиным, самых сердцещипательных, бытовых романов всегда с благополучным концом невольно заставляла любить добряка-автора. Романы эти по напечатании в «Листке» покупались очень задешево приложениями к журналам вроде «Родины» и разными издателями и распространялись среди простого читателя.

В числе издателей романов А. М. Пазухина был и книжник Морозов.

Как-то Морозов вызвал А. М. Пазухина в трактир на Лубянской площади, где он обыкновенно за чайком вершил все свои дела, и говорит:

— Алексей Михайлович, ко мне набиваются с товар-цем, журналишко предлагают — «Развлечение»! Как ты думаешь, справимся? Я на тебя рассчитываю!

— Да ведь его Щербов, человек богатый, издает.

— Надоел он ему. Задарма отдает, только подписчиков за два месяца удовлетворить, с 1 ноября. Только гляди, чтоб дешево, дорогих сотрудников не надо. Вот Кузьмича возьми. Он и недорог и писуч! Роман ему огулом за сотню на полгода закажем. Идет?

— Ладно, бери!

И стал Морозов издавать «Развлечение». Полномера напишет сам А. М. Пазухин, а другую половину Иван Кузьмич Кондратьев, автор ряда исторических романов. Стихи, мелочи и карикатуры тоже получались по дешевой цене или переделывались из старых.

Недолго издательствовал Морозов — выгоды было мало. Ему гораздо больше давали его лубки, оракулы, поминанья и ходовые «Францыли Венецианы», да и «Битва русских с кабардинцами». Нашелся покупатель, и он продал журнал. «Развлечение» перешло к Николаю Никитичу Соедову, агенту по продаже и залогу домов при Московском кредитном обществе.

Н. Н. Соедов, имевший в Москве обширное знакомство, друживший с литераторами и артистами, хлебосол и душа общества, оказался талантливым издателем.

Дело у Н. Н. Соедова пошло недурно. Появились хорошие сотрудники, привлеченные хлебосольством хозяина. На квартире у него стали устраиваться еженедельно деловые вечеринки, начинавшиеся обсуждением тем и заканчивавшиеся веселым ужином.

Памятна мне вечеринка перед днем пятидесятилетия журнала, где обсуждался выпуск большого юбилейного номера. На нем Федор Иванович Шаляпин, еще начинавший только что свою карьеру, восхищал всех своим молодым голосом и в первый раз в Москве на этой вечеринке спел «Дубинушку», а мы хором подпевали.

Особенно восторгался пением очень молчаливый и замкнутый художник Сергей Васильевич Иванов и тут же пообещал дать рисунок для юбилейного номера, а когда я прочел свою поэму «Стенька Разин», — Сергей Васильевич заявил:

— Я дам Стеньку Разина!

Через несколько дней С. В. Иванов принес большую акварель, изображающую Волгу под Жигулями и разбойничью ватагу в лодке под парусом. Подписал под ней: «Стеньки Разина ладья».

Цензура, пропустив картину, сделанную во всю страницу красками, изменила подпись, заставив напечатать: «Понизовая вольница».

Картина С. В. Иванова была украшением этого прекрасного, изданного на великолепной бумаге объемистого номера, где были помещены портреты всех сотрудников журнала, во главе которых стоял первый издатель Ф. Б. Миллер. Интересно, что в этом номере были стихи Ф. И. Шаляпина, кажется, никогда до этого не писавшего стихов.

Журнал шел без убытка, но коммерческие дела Н. Н. Соедова как-то запутались, и ему пришлось продать журнал. В это время этот ловкий делец и нашел Н. И. Пастухова, которого — все дивились — сумел уговорить приобрести у него издание.

Н. И. Пастухов купил «Развлечение», сделал его — совсем неожиданно для всех — бесплатным приложением к «Московскому листку» и через год, потратив для этого большие деньги, также неожиданно прекратил этот старейший в Москве юмористический журнал, в котором полвека его ругали и высмеивали в тексте и карикатурах.

«Русский листок»

…Хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой васисдас.

Как только вспомню эти строки, так сейчас же приходит на ум солидный, чистенький-чистенький немец с брюшком, в цветном жилете с золотой цепью, блондин, с вьющейся бородой, гладко причесанный, с большими серыми глазами, которыми как-то особо убедительно он всегда смотрел в глаза собеседника.

По наружности с него художнику рисовать бы Гамбринуса в молодости, а по чисто русскому купеческому говору — Н. А. Лейкину писать одного из героев его книжки «Наши за границей».

У него одно время на Петровке была контора по продаже имений и домов — и когда он уставится на покупателя своими убедительными, честными немецкими глазами, так тот не уйдет из конторы, не продав или не купив то, что ему Владимир Эмильевич Миллер

предложит.

Никому, всегда всем довольный, он не завидовал, да как-то один из клиентов конторы посоветовал ему открыть при конторе свою газету как рекламу делу.

— Сколько вы деньжищ за рекламу своей конторы переплатите в газеты, а тут своя будет: каждый день печатай даром!

— Я ведь только в двух газетах печатаю объявления о продаже и покупке: в «Московском листке» и «Новостях дня».

— У кого печатаете? У бывшего кабатчика, безграмотного Пастухова, и у московского цехового мещанина из евреев Липскерова? Уж если у них дело пошло, как же у вас не пойдет! Открывайте газету, всех забьете!

И в первый раз в жизни отвел В. Э. Миллер от глаз собеседника свои убедительные глаза и не сказал ни да, ни нет.

А мысль иметь свою газету, главное, чтоб рекламировать свое дело, засела прочно в упорной немецкой голове.

Целый год ходил, думал, рассчитывал, рисовал себя владельцем и редактором газеты, в которой он будет на полстранице перечислять все дома и имения, порученные его конторе для продажи, — и от покупателей отбою не будет.

— Нет, надо свою газету, деньги есть на первое время, а там… О! Но, конечно, надо не сразу, а исподволь!

Ходил в старину рассказ о немце, которому подарили щенка-фоксика и сказали, что ему надо обязательно хвост обрубить. Осмотрел владелец фоксика хвост — и стало ему жаль его рубить в указанном месте, уже очень больно будет. Надо не сразу, исподволь, с тонкого конца. И отрубил самый тонкий сустав на конце хвоста, а там привыкай, и до толстого дойдем исподволь.

Не говоря никому ни слова, В. Э. Миллер выхлопотал для развития своего коммерческого дела разрешение издавать два раза в неделю «Русский справочный листок» с куцей программой.

Фактическим редактором газеты был старый литератор, милый человек, Пятницкий, у которого при массе достоинств был один недостаток: пьян с утра!

В буфете театра Корша я увидел Пятницкого, который с молодым Гамбринусом пил пиво, и тут при первом взгляде на новоиспеченного редактора вспомнились мне пушкинские строки, а на другой день я полюбопытствовал посмотреть и открытый им «васисдас», в котором я и прочитал рассказ о немце и щенке в отделе хозяйственных сведений.

Убогая была газетка, но В. Э. Миллер знал, что делал. В продолжение трех лет два раза в год он ездил в Петербург в главное управление по делам печати, уставляя свои убедительные глаза на управляющего, всучивал ему прошение с просьбой добавки в программу то театрального отдела, то справочного, то беседы с читателями, и так исподволь довел «Русский справочный листок» до ежедневной газеты с довольно широкой программой и наконец в заключение всего явился опять к главному управляющему по делам печати, уставил на него невинные убедительные глаза и сказал;

— Ваше превосходительство, до сих пор я просил вас о расширении программы, а теперь буду просить о сокращении!

А сам держит наготове прошение и убедительно в генеральские глаза смотрит и читает в них недоумение, вызванное неслыханной доселе в стенах этого здания просьбой.

— Как? Как? О сокращении?

— Так точно… изволите ли видеть, ваше превосходительство, газета называется «Русский справочный листок», уж очень и в типографском отношении некрасиво, и вид заголовка пропадает, вычеркнуть бы его.

— Ха-ха-ха! И только?

На другой день с новым заголовком в сумках газетчиков лежал «Русский листок».

И все-таки газетка была убогая.

Встретил я как-то в ресторане «Палермо» в Рахмановском переулке Пятницкого

вполпьяна.

— Ну, как «Русский листок»?

Пятницкий, не отрывая от кружки с пивом рта, неодобрительно мотал головой.

— А все-таки Миллер молодец — исподволь от «Листка объявлений» добился газеты!

Пятницкий, допивая остатки пива, одобрительно качнул головой, поставил кружку и вытер бороду и усы.

— Сделал он все так же, как тот немец, который исподволь фоксу хвост рубил.

— Ты почему знаешь?

— Как почему? Да газету купил тогда и прочитал!

— А не Пазухин тебе сказал?

— Нет, не Пазухин! Своими глазами в «Русском справочном листке» в хозяйственном отделе прочитал.

— Значит, подлецы, выкрали!

За следующими кружками пива выяснилось дело. А. М. Пазухин, который под псевдонимами потихоньку от Н. И. Пастухова давал сценки в газету В. Э. Миллера, дал и эту мелочь. Она прошла вместе с другими.

Газета печаталась в количестве одной тысячи днем по средам и субботам, а газетчикам раздавалась по четвергам и воскресеньям.

— В субботу, выпустив номер, — рассказал Пятницкий, — я пошел сюда, в «Палермо» (редакция была почти рядом, на Петровке). Сижу за пивом, вдруг вбегает взбешенный Миллер — глаза сверкают, губы дрожат, в

руках газета. Сел со мной, больше никого в комнате этой не было, положил передо мной газету, левой рукой тычет в нос, а правой вцепился мне в плечо и шепчет, точь-в-точь как Отелло Дездемоне: «Платок! Платок!»:

— Это что? Эт-то что? Читаю о немце и фоксике.

— Ну что же — вполне цензурно!

— Да ведь это же насмешка надо мной! Кто дал?

— Пазухин!

— Я ему, хромому, другую ногу перешибу! А потом тихо.

— Набор цел? Не разобрал еще?

— Не успели…

— Так идите в типографию и вместо этого пошлого анекдота поместите какое-нибудь объявление о продаже дома и перепечатайте… тысячу номеров, а те сожжем….

Я слушал и хохотал.

— Да, вот тебе смешно, а я чуть места не лишился, а Пазухин здесь тоже ни при чем, он этот анекдот стибрил из старинного «Развлечения»!

* * *

«Русский листок» шел плохо, но В. Э. Миллер не унывал. Сотрудники получше к нему не шли, компаньонов не находилось, а он, веселый и энергичный, крутился волчком, должал в типографиях, на каждый номер добывал бумаги, иногда в долг, реже на наличные, а все-таки верил в успех, аккуратно выпускал газету и наконец стал искать компаньона.

— Завязнешь ты в этом болоте! — сказал ему оптовик-газетчик П. И. Ласточкин, которого он звал в компаньоны.

— Было бы болото, а черти будут! — смеялся в ответ В. Э. Миллер.

— Цензуру сними, — посоветовал в ответ Ласточкин. Газета была еще подцензурная, что очень влияло на свежесть известий, которые появлялись позднее, вследствие того что гранки не успевали иногда вернуться от цензора.

В. Э. Миллер опять появился в Петербурге в главном управлении по делам печати и устремил свои убедительные глаза на главноуправляющего Соловьева, который не отказал Миллеру в его просьбе, но сказал:

— Разрешу при одном условии — если редактором вы возьмете К. П. Цветкова.

В. Э. Миллер, знавший К. П. Цветкова как издателя детского журнала «Малютка» и сотрудника «Московских ведомостей», согласился, и под газетой, уже «без предварительной цензуры», появилась надпись: «Издатель — В. Э. Миллер, редактор — К. П. Цветков».

Бесцензурная газета подняла престиж В. Э. Миллера, и богатый оптовый торговец бумагой П. М. Генцель открыл ему кредит, а через год, в 1897 году, когда долг В. Э. Миллера возрос до крупной суммы, и сам вошел в компаньоны. Появилась под газетой подпись: издатели В. Э. Миллер и П. М. Генцель. Это был троянский конь!

В. Э. Миллер окончательно запутался в долгах, и в 1898 году подписи В. Э. Миллера под газетой уже не было, а издателем подписывался Н. Л. Казецкий, юрисконсульт фирмы П. М. Генцеля, потом исчезла подпись редактора К. П. Цветкова, и с 34-го номера 1899 года под «Русским листком» стояло: редактор-издатель Н. Л. Казецкий. Газета полностью перешла к нему.

Ожило дело. Н. Л. Казецкий всю свою энергию вложил в газету и привлек сотрудников, чтобы дать издание, как он говорил, на «американский образец».

Самому Н. Л. Казецкому, как гласному Городской думы, занятому, помимо судейских дел, и общественными делами, заниматься газетой было некогда, и он доверялся фактическим редакторам.

Одним из первых появился М. М. Гаккебуш, не брезговавший никакими средствами, чтобы поднять розницу и заставить москвича читать «Русский листок».

Сенсации придумывались, сплетни печатались, и газета явилась в Москве первой представительницей желтой прессы.

Разухабисто вел в ней театральные отчеты Ф. Д. Гриднин, явился из Одессы некий Редер, к характеристике деятельности которого можно сказать, что впоследствии он был выслан из Москвы за газетные шантажи.

Менялись редакторы — менялось лицо газеты. При А П. Ландберге она стала приличной, в ней появились фельетоны-романы, излюбленные Москвой.

Из числа романистов печатались: Северцов-Полилов, Андрей Осипов, Назарьева, Д. С. Дмитриев. Родион Менделевич (Меч) ежедневно пересыпал газету звучными

юмористическими стихами. Из злободневных фельетонистов имел большой успех Н. Г. Шебуев, который, окончивши университет, перешел в «Русский листок» из «Новостей дня» и стал писать передовые статьи и фельетоны, для которых брал судебные отчеты и делал из этих отчетов беллетристические бытовые сценки, очень живо написанные.

Н. Г. Шебуев в это время служил помощником судебного следователя при окружном суде и заведовал районом преступной Грачевки, откуда и брал сенсационный материал. Он первый ввел этот жанр в газеты.

Вскоре Н. Г. Шебуев бросил службу и окончательно перешел в литературу. Здесь начал свою работу Александр Петрович Волков, ставший впоследствии одним из лучших репортеров.

Время от времени отрываясь от судебных и общественных дел, сам Н. Л. Казецкий становился во главе газеты — в редакции гремел гром и сверкали молнии.

Уж очень Н. Л. Казецкий был шумен, иногда резок, но его все любили — и сотрудники, и мелкие служащие, и обширная типография. Несмотря на свою грубость и несдержанность, он был очень отзывчив, входил в нужды своих сотрудников и широкой рукой помогал им без отказа в тяжелые минуты жизни. Таких редакторов было только два: он и Н. И. Пастухов.

Московские литераторы, не работавшие в «Русском листке», не любили его за резкость и выступления на разных собраниях, и только из-за этого все его предложения вызывали шумные споры и в конце концов их проваливали, как бы они целесообразны ни были.

На подготовительных заседаниях представителей печати по поводу предстоящего какого-то юбилея он предложил создать в память этого праздника убежище для престарелых журналистов на средства от оплаты всех перепечаток вплоть до репортерских заметок.

Сумма получилась очень большая, но это, конечно, невыгодно было издателям газет.

На Н. Л. Казецкого набросились, проект провалили, а он, быстро уходя, рявкнул на весь зал:

— Не стоило метать бисер перед свиньями! Тьфу!

Собрание проводило его улюлюканьем и свистом. Впоследствии Н. Л. Казецкий переменил название своей газеты, она стала называться «Раннее утро» и шла хорошо в розницу.

«Курьер»

Социал-демократическая «Искра» как-то отозвалась, что московский «Курьер» «кокетничает с марксизмом девяностых годов».

Это было, пожалуй, довольно верно: подцензурным газетам девяностых годов можно было только «кокетничать с марксизмом».

Более серьезное отношение являлось невозможным, особенно «Курьеру» — газете с предварительной цензурой, где каждая статья с предубеждением прочитывалась цензором: его пугал один веявший в газете дух В. А. Гольцева.

Часто приходилось авторам самим ездить или в цензурный комитет, или даже на квартиры цензоров, обитавших в каких-нибудь казенных зданиях, или где-нибудь в маленьких домишках на пустырях Кошаткиной деревни, заселенной кошкодавами и темным людом, завсегдатаем притонов Сенной площади и Оружейного переулка.

Но, несмотря на строгость цензуры, «Курьер» все-таки был в те годы единственной радикальной московской газетой, в которой работала молодежь: В. М. Фриче, П. С. Коган, В. М. Шулятиков.

«Курьер» как-то неожиданно вырос на поле московской журналистики. Подпись под газетой была: издатель — А. Г. Алексеев, редактор — Я. А. Фейгин.

Происхождение «Курьера» имеет свою историю, которая, конечно, теперь забыта, да и в те времена знали ее далеко не все. И то знали кусочками, каждый свое.

В 1892 году появился в Москве кавказский князь Нижерадзе, молодой, стройный, редкой красоты.

В богатой черкеске с золотыми газырями и кинжалом на чеканном поясе, он выделялся среди наших сюртучников и фрачников и сделался всюду желанным гостем и кумиром московских дам.

В 1893 году, может быть для положения в обществе, он стал издавать ежедневную газетку «Торговля и промышленность», которую продолжал в 1894 году, выпустив 190 номеров. И вдруг изменил ее название.

Сто девяносто первый номер вышел уже под названием «Курьер торговли и промышленности».

В конце года соиздателем явился владелец типографии, где печатался «Курьер», а окончательно прогоревший князь исчез навсегда с московского горизонта, к великому горю своих кредиторов, в числе которых был и типограф.

Вскоре после исчезновения князя прекратился в конце года и «Курьер», в мае 1895 года вышел снова в новом издательстве Е. Коган, а в сентябре 1896 года под газетой стояла подпись: редактор-издатель Я. А. Фейгин.

Это был небольшой хромой человечек, одевавшийся по последней моде, сверкавший кольцами с драгоценными камнями на пальцах. Он занимал какую-то видную должность в страховом обществе «Якорь». Его знала вся веселящаяся Москва, на всех обедах он обязательно говорил речи с либеральным уклоном, вращался в кругу богатых москвичей, как и князь Нижерадзе, и неукоснительно бывал ежедневно на бирже, а после биржи завтракал то в «Славянском базаре» среди московского именитого купечества, то в «Эрмитаже» в кругу московской иностранной колонии.

* * *

Как-то на заборах Москвы тех времен появилась огромная афиша с полуаршинными буквами: «Дикая Америка».

Упоминалось в этой афише имя знаменитого предпринимателя американского ковбоя Буффало-Биль, но, конечно, здесь и духом его не пахло.

Приехало десятка два татуированных и раскрашенных индейцев с перьями на голове, несколько ковбоев в соломенных шляпах и с убийственными шпорами, которыми можно пропороть шкуру слона.

Шпоры эти были приготовлены для укрощения «диких мустангов», за каждого из которых ни один цыган на Конной больше красненькой не даст.

— Ну и шкапы-кабысдохи! — метко определил мой товарищ-казак, с которым мы пришли в огороженное забором место этого дикого табора на Ходынке.

Внутренность индейского лагеря была оригинальна даже для Москвы, повидавшей все.

«Шкапы-кабысдохи» паслись на свободе, в вигвамах полуголые медно-красные индейцы сидели вокруг очага и пальцами, должно быть никогда не мытыми, рвали мясо, поджаренное тут же на углях, и вместо хлеба ели из котелка горячие жареные орехи, те самые, которые по пятаку за стакан с той поры продавались разносчиками на улицах под названием китайских орехов. Приготовлением пищи занимались женщины, а кругом бегали полуголые, как в цыганском таборе, будущие вожди племени сиу, к которому принадлежали, как значилось в афише, эти дикие индейцы, показывавшие мне свои томагавки и лассо для ловли лошадей.

Мне как представителю прессы показали ковбои несколько приемов: с помощью лассо ловили лошадей, скакали, джигитировали, вольтижировали.

Меня, привыкшего к табунной жизни в задонских степях, где действительно арканятся и выезжаются могучие лошади, до четырех лет не видавшие человека, смешили эти убогие приемы, которые они применяли с серьезными лицами, а мой товарищ-казак все, что они делали, в гораздо лучшем виде повторил перед ними, да я и сам вспомнил старинку.

Все были поражены, а антрепренер сконфужен и просил меня ничего не писать о том, что было на репетиции. Это был небольшого роста человечек, привезший из-за границы эту «Дикую Америку», которая, по его словам, имела большой успех в Европе.

«Дикая Америка» в Москве, видавшей цыганские таборы и джигитовку казаков, успеха не имела. Я исполнил просьбу и вообще ни строчки не написал о «Дикой Америке», не хотел обижать знакомого мне антрепренера, отца Я. А. Фейгина, который показался очень симпатичным и милым, а главное, жаль было оставить голодными на чужой стороне привезенных индейцев.

Прогорела «Дикая Америка», исчез Фейгин-отец, а Фейгин-сын все ярче и ярче сверкал в Москве.

С начала 1897 года подпись Я. А. Фейгина появилась еще в числе пятерых издателей под новым журналом «Бюллетень Хлебной биржи». Последний издавался на средства богатых московских хлебных торговцев, а о втором его издании — «Курьере торговли и промышленности» — редактор «Московского листка» Н. И. Пастухов ядовито замечал, что он «жареным пахнет».

В «Курьере торговли и промышленности» печатались отчеты товариществ и обществ, а также разные оплаченные статьи, которые умел добывать предприимчивый Я. А. Фейгин благодаря связям с коммерческим миром: многие товарищества с миллионными оборотами без затруднений могли заплатить сотню-другую рублей за напечатание рекламной статьи или отчета в газете с таким громким названием.

Такие публикации зависели от директоров-распорядителей, с которыми Я. А. Фейгин встречался за завтраками в «Эрмитаже».

У Я. А. Фейгина явились деньги, захотелось славы редактора политической газеты, но все-таки издавать одному большую газету ему было не под силу, и он составил компанию, в которую вошли два присяжных поверенных — И. Д. Новик, Е. З. Коновицер — и два брата Алексеевых, молодые люди купеческого рода, получившие богатое наследство.

Я. А. Фейгин поехал в Петербург и благодаря своим знакомствам ухитрился перефасонить свой «Курьер торговли и промышленности» на ежедневную газету «Курьер» с довольно обширной программой, но и с предварительной цензурой.

Это было сделать гораздо легче, чем выхлопотать новое издание. Тогда министерство внутренних дел не разрешало никому издание новых газет.

Много денег дали братья Алексеевы, и составилась организованная при помощи В. А. Гольцева, сумевшего пригласить и старых журналистов, и ученых, и молодежь, редакция левого направления.

В. А. Гольцев, руководивший политикой, писал еженедельные фельетоны «Литературное обозрение», П. С. Коган вел иностранный отдел, В. М. Фриче ведал западной литературой и в ряде ярких фельетонов во все время издания газеты основательно знакомил читателя со всеми новинками Запада, не переведенными еще на русский язык.

В. М. Фриче, П. С. Коган и В. М. Шулятиков, молодой критик и публицист, составляли марксистский кружок газеты.

Так как цензура была очень внимательна к новому изданию в отношении политических статей, то пришлось выезжать на беллетристике и писать лирически-революционные фельетоны, что весьма удавалось В. М. Фриче и П. С. Когану.

* * *

Под газетой значилась подпись: издатели — А. Г. Алексеев и Я. А. Фейгин, редактор — Я. А. Фейгин.

А. Г. Алексеева в редакции почти никто не видал, показывался он иногда только на товарищеских редакционных собеседованиях, происходивших в ресторанах «Эрмитаж» или «Континенталь», а также в «России» в Петровских линиях, которая помещалась рядом с редакцией.

Я. А. Фейгин метался по своим делам по Москве, а фактическим редактором был И. Д. Новик. Первые месяцы газета шла, конечно, слабо, направление еще ярко не определилось, но ее счастью помогло чужое несчастье.

В 1898 году 21 апреля «Русские ведомости» получили третье предостережение с приостановкой издания на три месяца за «сбор пожертвований в пользу духоборов с распубликованием о сем в номере девяносто третьем газеты».

«Русские ведомости» прекратились и предложили своим подписчикам на время запрещения заменить свою газету «Курьером», как более подходящим по направлению к «Русским ведомостям», чем все остальные московские газеты.

У «Курьера» прибыло сразу восемь тысяч подписчиков на эти два месяца.

— Из богадельни да в акробаты! — кто-то метко сострил тогда.

Для газеты создалась обстановка, при которой можно было сверкнуть ярче, чем «Русские ведомости», и тем удержать подписчиков. Тут понадобилось и расширение беллетристического отдела, и пригодились лирические революционные фельетоны. Были приглашены лучшие силы по беллетристике, появились Д. Н. Мамин-Сибиряк, К. М. Станюкович, Вас. И. Немирович-Данченко, И. Н. Потапенко, И. А. Бунин, В. В. Каллаш, Д. Л. Мордовцев, Н. И. Тимковский, поэты К. В. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Лев Медведев, Е. А. Буланина и много других.

За время существования «Курьера» многие русские писатели, ставшие известными впоследствии, в нем начинали свои работы: Леонид Андреев, Борис Зайцев, Георгий Чулков, Гусев-Оренбургский, Е. Гославский.

Леонид Андреев сначала был в «Курьере» судебным репортером. С захватывающим интересом читались его художественные отчеты из окружного суда. Как-то он передал И. Д. Новику написанный им рождественский рассказ, который и был напечатан. Он очень понравился В. А. Гольцеву и И. Д. Новику, и они стали просить Леонида Андреева продолжать писать рассказы.

С каждым новым рассказом слава Леонида Андреева росла, и разные издания стали забрасывать его приглашениями.

В один счастливый день вдруг он проснулся знаменитостью, но все еще не оставлял свои судебные отчеты, что, конечно, отвлекало его от беллетристики.

— Леонид Николаевич, вы вчера хотели дать новый рассказ, — как-то сказал ему И. Д. Новик.

— Хотел, Исаак Данилович, да вчера после заседания попал под суд.

— Как под суд?

— Да вот так.

И объяснил, как он попал.

Попасть под суд — это значило после заседания в окружном суде спуститься в нижний этаж здания, где как раз под Митрофаньевской залой находился очень хороший буфет и всегда собиралась очень веселая товарищеская компания.

В самые первые дни славы Леонида Андреева явился в редакцию «Курьера» сотрудник «Русского слова», редактировавший приложение к газете — журнал «Искры», М. М. Бойович с предложением по поручению И. Д. Сытина дать ему рассказ.

— Хорошо, — сказал Леонид Андреев, — дам. Условия такие: десять копеек строка и пятнадцать рублей авансом.

— Я передам условия И. Д. Сытину и завтра принесу ответ.

На другой день в те же часы приходит М. М. Бойович в редакцию и застает Леонида Андреева за чтением только что полученной книжки «Русского богатства», в которой Н. К. Михайловский расхвалил Андреева.

— Леонид Николаевич, Иван Дмитриевич Сытин согласен на условия, вот и аванс!

Леонид Андреев молча показал статью Н. К. Михайловского М. М. Бойовичу и сказал:

— Сегодня условия другие: 25 копеек строчка и 50 рублей аванс!

Весело и дружно работала редакция «Курьера». Прошел второй год издания, но цензура становилась все строже, конкурировать с бесцензурными газетами было все труднее и труднее.

Многих провинциальных подписчиков отбила петербургская «Россия», талантливо редактируемая А. В. Амфитеатровым и В. М. Дорошевичем, а когда она была закрыта через год, старые подписчики к «Курьеру» не вернулись.

Цензура придиралась, закрывая розницу, лишала объявлений. Издательские карманы стали это чувствовать, что отозвалось и на сотрудниках. Начались недоумения, нелады: кружок марксистов держался особняком, кое-кто из сотрудников ушел. Цензура свирепствовала, узнав, какие враги существующего порядка состоят в редакции. Гранки, перечеркнутые цензурой, возвращались пачками, а иногда и самого редактора вызывали в цензуру и, указывая на гранки, обвиняли чуть не в государственном преступлении.

— Что вы думали, посылая подобные вещи?

А И. Д. Новик не унывал и все посылал и посылал цензорам горючий материал. Алексей Максимович Горький прислал сюда своего «Буревестника», который был возвращен в редакцию, изуродованный донельзя черными чернилами в отдельных строках и наконец сразу перечеркнутый красными крест-накрест.

В то время, когда газеты кричали о вечном мире, я написал два противоположных стихотворения — одно полное радости, что наконец-то строят «здание мира», а другое следующее:

Заседанье было в Гааге,
Были речи, шумный пир.
В целом мире на бумаге
Водворился вечный мир.
После дичи, после супа
От речей раздался стон:

Заказали вновь у Круппа
Новых пушек миллион.

Первое напечатали, а второе зачеркнутым было возвращено с отеческим выговором редактору. Цензоры никак не думали, что скоро «миллион пушек» понадобится для грядущей войны. Сытые чиновники, верившие в свою силу, не чувствовали приближения бури грядущего.

А тут еще А. В. Луначарский, приглашенный В. А. Гольцевым и находившийся тогда в ссылке в Вятке, прислал «Курьеру» блестящую статью: «В боевой готовности».

В каждой строке статьи чувствовалось веяние приближающейся революции.

* * *

«Курьер» вступил в четвертый год издания. В редакции шли какие-то недоразумения. Редактировал газету некоторое время В. П. Потемкин, сыпались кары на газету — цензура становилась злее с каждым днем.

Издателю надоело доплачивать убытки. И в это время поэт Скиталец прислал свое известное революционное стихотворение «Гусляр».

Цензура ли проморгала этот грозный призыв «бить по пустым головам», редакция ли недосмотрела, — но «Гусляр» появился в газете, да еще на первой странице.

Бумм! На всю Москву бумм! Цензор С. П. Соколов арестован.

Номера, отбираемые полицией, продавались в тот же день газетчиками по рублю, а ходовой сообразительный оптовик-газетчик Анисимов, имевший свою лавочку в Петровских линиях, нажил на этом деньги, долгое время торгуя «Курьером» из-под полы.

Кажется, этим и окончил «Курьер» свое яркое и короткое существование.

«Детское чтение»

В девяностых годах минувшего века собирались аккуратно литераторы, принимавшие участие в журнале «Детское чтение», у его издателя Дмитрия Ивановича Тихомирова в собственном его доме на Большой Молчановке.

Это были скучнейшие, но всегда многолюдные вечера с ужинами, на которых, кроме трех-четырех ораторов, гости, большею частию московские педагоги, сидели, уставя в молчании «брады свои» в тарелки, и терпеливо слушали, как по часу, стоя с бокалами в руках, разливались В. А. Гольцев на всевозможные модные тогда либеральные темы, Н. Н. Златовратский о «золотых сердцах народа», а сам Д. И. Тихомиров, бия себя кулаками в грудь и потрясая огромной седой бородищей, вопиял:

— Мы — народ! Мы — служители народного просвещения!

Слушали, ели и пили собственное тихомировское вино из его крымского имения «Красная горка». Чокались водянистым «зандом» и кислым «аликантом» и ждали, когда литератор — рассказчик В. Е. Ермилов или нетерпеливый экспромтист перебьет текущую плавно элоквенцию какой-нибудь неожиданной шуткой или веселым анекдотом. Тогда все оживали впредь до новой речи.

Кончались речи и неожиданными сюрпризами. Был случай, когда тишайший Н. Н. Златовратский вцепился в бородку благовоспитанного В. А. Гольцева, вцепившегося в свою очередь в широкую бороду Н. Н. Златовратского, так что их пришлось растаскивать соседям: Они ярко выразили свое несходство в убеждениях: В. А. Гольцев был западник, а Н. Н. Златовратский — народник.

Это, помню, был вечер очень многолюдный, на котором присутствовал, между прочим, и педагог-писатель В. А. Острогорский, который вступился за В. А. Гольцева, а Д. И. Тихомиров — за Н. Н. Златовратского. Они, В. А. Острогорский и Д. И. Тихомиров, старинные друзья, после сели рядом и молча пили водку, время от времени кидая друг на

друга недружелюбные взгляды; у В. А. Острогорского еще сильнее косили глаза, а Д. И. Тихомиров постукивал своей хромой ногой. Мне удалось тогда сорвать напряженное состояние вечера шуткой, за которую на меня после очень косился Д. И. Тихомиров, — но на этот раз она достигла своей цели, развеселила гостей, и вечер прошел прекрасно.

Я встал, взял стакан с «аликантом», кто-то стукнул вилкой по тарелке, и стол устремил на меня глаза. Указывая на дующихся друзей, я сказал:

Сидят приятели за водкой,
Но не пойму я одного:
С ним Митя на ноге короткой,
Он — косо смотрит на него!

А потом В. Е. Ермилов ввернул какую-то шутку, и все весело и шумно просидели до утра.

Впоследствии как-то эти воскресенья сошли на нет и к 1905 году прекратились.

Вначале бывали на них: почти всегда оба Немировича-Данченко, Д. Н. Мамин-Сибиряк, А. С. Серафимович, братья Бунины, Ладыженский, Е. А. Буланина, Альбов, Елпатьевский, С. С. Голоушев, В. М. Лавров, Соловьев, Федоров-Давыдов и многие профессора и видные педагоги.

«Русская мысль»

В 1881 году я служил в театре А. А. Бренко. Мой старый товарищ и друг, актер В. Н. Андреев-Бурлак, с которым мы тогда жили вдвоем в квартирке, при театре на Тверской, в доме Малкиеля, напечатал тогда в «Русской мысли» прекрасный рассказ «За отца», в котором был описан побег из крепости политического преступника.

Это был первый сотрудник самого толстого в скромной серенькой обложке московского ежемесячника «Русской мысли», с которым я познакомился и который познакомил меня с издателем В. М. Лавровым и редактором ее С. А. Юрьевым.

Знакомство состоялось у артистов нашего театра М. И. Писарева и А. Я. Гламы-Мещерской, у которых часто бывали многие литературные знаменитости того времени: С. А. Юрьев, В. М. Лавров, В. А. Гольцев и весь кружок «Русской мысли»; наезжали петербургские писатели: Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский, А. Н. Плещеев.

Я уже напечатал тогда в журнале «Москва» у Кланга свою поэму «Бурлаки», которая сопровождалась цветной репродукцией репинской картины «Бурлаки».

В дальнейшем я встречался с ними то у М. И. Писарева, то у В. М. Лаврова.

«Русская мысль» — создание двух человек: С. А. Юрьева и В. М. Лаврова.

Сергей Андреевич Юрьев был одним из самых оригинальных литературных представителей блестящей плеяды людей сороковых годов: выдающийся публицист, критик, драматический писатель, знаток сцены, ученый и философ.

Еще в 40-х годах он окончил в Москве математический факультет, получил место астронома-наблюдателя при обсерватории Московского университета и написал две работы «О солнечной системе». Вследствие болезни глаз бросил свою любимую науку и весь отдался литературе: переводил Шекспира, Кальдерона, Лопе де Вега, читал лекции и в 1878 году был избран председателем Общества любителей российской словесности, а после смерти А. Н. Островского — председателем Общества драматических писателей. В 1880 году основал журнал «Русская мысль».

В это время в Москву приехал из г. Ельца, Орловской губернии, молодой человек, купеческий сын, получивший чуть ли не миллионное наследство.

В. М. Лавров — страстный любитель литературы и театра, он познакомился с М. И. Писаревым и сделался своим в кружке артистов. Там он встретился с С. А. Юрьевым и стал издателем «Русской мысли».

Отцовское хлебное дело ликвидировал и весь отдался издательству журнала.

* * *

Дорогая затея была тогда издавать ежемесячный журнал, конкурирующий с петербургскими известными изданиями: «Отечественными записками» и «Вестником Европы».

В. М. Лаврову удалось тогда объединить вокруг нового журнала лучшие литературные силы. Прекрасно обставленная редакция, роскошная квартира издателя, где задавались обеды и ужины для сотрудников журнала, быстро привлекли внимание. В первые годы издания журнала за обедом у В. М. Лаврова С. А. Юрьев сообщил, что известный художник В. В. Пукирев, картина которого «Неравный брак» только что нашумела, лежит болен и без всяких средств.

В. М. Лавров вынул пачку денег, но С. А. Юрьев, зная, что В. В. Пукирев не возьмет ни от кого денежной помощи, предложил устроить в пользу художника музыкально-литературный вечер в одном из частных залов. Присутствовавшие отозвались на этот призыв, и тут же составилась интереснейшая программа с участием лучших литературных и артистических сил.

* * *

Редактором «Русской мысли» С. А. Юрьев был около шести лет, а потом после его смерти редактором был утвержден В. М. Лавров.

Кроме прекрасной памяти, которую оставил по себе С. А. Юрьев, вспоминается после него ряд анекдотов, характеризующих его удивительную рассеянность.

Он жил на Большой Дмитровке, а летом на даче. В квартире оставалась старушка прислуга. С. А. Юрьев только иногда заезжал домой в дни своего посещения редакции. К прислуге как-то пришла знакомая портниха. Старушка для гостьи ставила самовар. Раздался звонок. Старушка, занятая самоваром, попросила отпереть дверь и сказать, что дома никого нет. Сергей Андреевич прямо с дачи заехал на квартиру, позвонил в звонок, над которым красовалась медная пластинка с надписью: «С. А. Юрьев». Ему отперла эта портниха, незнакомая женщина, и заявила, не снимая с двери цепочку, что никого нет дома.

— Ах, какая жалость! Ну вот, скажите, что я был! — С. А. Юрьев передал ей свою визитную карточку и уехал в редакцию.

Узналось все это после. А потом как-то мы ужинали у В. М. Лаврова. Сергей Андреевич уезжал раньше других; мы вышли его проводить в прихожую, подали ему шубу, его бобровая шапка лежала на столе, а рядом с шапкой спал котенок.

Сергей Андреевич, продолжая прощальный разговор, гладил свою шапку, потом схватил котенка, приняв его по близорукости и рассеянности за шапку, и хотел его надеть на голову, но котенок в испуге запищал и оцарапал ему руку.

После С. А. Юрьева фактическим редактором «Русской мысли» стал В. А. Гольцев, но утвердить его редактором власти наотрез отказались, считая его самым ярым революционером.

Журнал шел прекрасно, имел огромный успех у читателей, но так дорого стоил, что В. М. Лавров, человек

совсем не коммерческий, приплачивал очень большие деньги, что вместе с широким хлебосольством кончилось тем, что заставило его посократиться.

Живя в Москве широкой жизнью, вращаясь в артистическом и литературном мире, задавая для своих друзей обеды, лет через десять В. М. Лавров понял, что московская жизнь ему не под силу. В 1893 году он купил в восьми верстах от городка Старая Руза, возле шоссе, клочок леса между двумя оврагами, десятин двадцать, пустошь Малеевку, выстроил в этом глухом месте дом, разбил сад и навсегда выехал из Москвы, посещая ее только по

редакционным делам в известные дни, не больше раза в неделю.

От своего владения он отрезал два участка для постройки дач своим сотрудникам В. А. Гольцеву и М. Н. Ремезову. Оба выстроились.

Вскоре М. Н. Ремезов продал свою дачку мне, где я и стал жить со своей семьей летом.

По другую сторону шоссе верстах в двух купили участки земли и построили дачи профессора А. А. Мануйлов и Н. А. Мензбир.

«Писательский уголок» — звали это место в Москве.

«Поднадзорный поселок» — окрестила его полиция, которой прибавилось дела — следить за новыми поселенцами, куда то и дело приезжали гости, очень интересные охранному отделению.

В. М. Лавров назвал свой хуторок «Малеевкой», а я свою дачку «Гиляевкой». Впоследствии, когда рядом на шоссе у моста через Москву-реку открылось почтовое отделение, его назвали «Гиляевка».

В другой половине дома, рядом с почтовым отделением, была открыта на собранные пожертвования народная библиотека, названная именем В. А. Гольцева. Эта вывеска красовалась не более недели: явилась полиция, и слова «имени Гольцева» и «народная» были уничтожены, а оставлено только одно — «библиотека». Так грозно было в те времена имя Гольцева и слово «народ» для властей.

*** * ***

Я жил в Гиляевке только летом, да и то часто уезжал по редакционным делам. Во время моих приездов мы нередко вместе обедали и ужинали то у В. М. Лаврова, то у В. А. Гольцева, то у меня.

Часто приезжали гости: бывал А. П. Чехов, когда он сделался сотрудником «Русской мысли», как-то гостил у меня В. М. Дорошевич, очаровавший В. М. Лаврова и В. А. Гольцева, которые до того относились к нему, как к сотруднику мелкой прессы, свысока.

Было время, когда точно так же и «Русская мысль», и «Русские ведомости» относились и к Антону Чехову, а потом к нему на поклон пришли.

Когда приезжали летом гости, обеды бывали у В. М. Лаврова очень веселые, хотя далеко не такие, которые он задавал в Москве.

Здесь не было в помине дорогих вин, как тогда; зато были прекрасные домашние наливки и запеканки; единственное вино, которое подавалось на этих обедах, было превосходное кахетинское.

В. М. Лавров выписывал его от какого-то друга-грузина с Кавказа бочонками в 40 ведер и разливал сам по бутылкам.

У него были три собаки — Бутылка, Стакан и Рюмка — и гусь.

Когда я в первый раз приехал к нему на дачу, мы завтракали — гостей не было никого. За кофе он встал, взял кусок хлеба и вышел на крыльцо. Через минуту, слышу, он кричит:

— Владимир Алексеевич! Владимир Алексеевич! Я выскочил на крыльцо:

— Вы меня, Вукол Михайлович?

— Нет, не вас. Вон, видите, тоже Владимир Алексеевич.

Переваливаясь с ноги на ногу, к нему шествовал огромный белый гусь, отвечая на его голос каким-то особенно густым-густым басом.

В. М. Лавров начал кормить его хлебом. Выяснилось, что это его любимец, названный в честь известного адвоката Владимира Алексеевича Федотова, подарившего ему этого гуся. Всякую птицу, всякого зверя, имевших у него свою кличку и на нее отзывавшихся, любил В. М. Лавров.

По зимам я иногда приезжал к нему на день, на два и, так как моя дача была холодная, останавливался в его доме.

Зимний день у него всегда проходил так; в одиннадцать встанет, попьет кофе, выходит погулять, Первым делом идет через занесенный снежными сугробами сад по узкой тропинке

к большой террасе, на которую летом выход из столовой, где стоял огромный летний обеденный стол.

В. М. Лавров насыпал горстями на стол овса, конопли, проса и возвращался в столовую.

Сядет, любуется в окно: а стол, «птичья зимняя столовая», как он его называл, весь живой, мельтешится пестрым ковром.

Мелкие птахи всех зимующих пород, от синички до красногрудого снегиря и сотни воробьев, чиликают, дерутся, долбят носиками.

После завтрака та же картина, но в миниатюре и с другой стороны: в гостиной открывается форточка и выставляется на особое приспособление полная зерен кормушка. Слетаются пернатые, а В. М. Лавров радуется и о каждой птичке что-нибудь расскажет:

— Ах, забияка! Вот я тебя! — и стучит в стекло пальцем на воробья, который синичку клюнул… Затем идет в кабинет и работает. Перед обедом выходит в лес гулять, и за ним три его любимые собаки: Бутылка, Стакан и огромная мохнатая Рюмка, которые были приучены так, что ни на одну птицу не бросались; а после обеда спит до девяти часов.

В десять ужин, а после ужина уходит в кабинет и до четырех часов стучит на своем «ремингтоне». Летом тот же режим — только больше на воздухе. Любитель цветов, В. М. Лавров копается в саду, потом ходит за грибами, а по ночам делает переводы на русский язык польских писателей или просматривает материалы для очередного номера журнала, которые ему привозили из редакции.

Переводы В. М. Лаврова сочинений Сенкевича и Ожешко считались лучшими, печатались во многих номерах «Русской мысли» за все долгие годы ее издания.

Раз в месяц, ко дню выхода книжки, В. М. Лавров уезжал в Москву, где обычно бывали обеды «Русской мысли», продолжение тех дружеских обедов, которые он задавал сотрудникам в московский период своей жизни у себя на квартире. Впоследствии эти обеды перенеслись в «Эрмитаж» и были более официальны и замкнуты.

* * *

У В. М. Лаврова в библиотеке в Малеевке было много книг и хранился очень им сберегаемый альбом, в котором имелись автографы многих писателей-друзей. Альбом этот В. М. Лавров редко кому показывал и только изредка прочитывал приезжавшим к нему отдельные записи.

Несколько стихотворений у меня сохранилось; вот стихотворение Аполлона Майкова:

Вы — ответственный редактор
"Русской мысли" — важный пост!
В жизни — мысль великий фактор,
В ней народов мощь и рост,
Но она — что конь упрямый:
Нужен верный ездовой,
Чтоб он ровно шел и прямо,
Не мечася, как шальной.
Русский дух им должен править:
Есть у вас он, то легко
Вам журнал свой и прославить,
И поставить высоко.

Переводчик Петр Вейнберг оставил такой автограф:

НАШИМ ВРАГАМ
Оставьте нас! В шипящей злости

Вы нам и жалки и смешны.
Оставьте, вы не в пору гости
На светлом празднике весны.
Напрасно бьете вы тревогу,
Стараясь ужас пробудить, —
Для нас открытую дорогу
Не вам, не вам загородить!
Оставьте нас! Когда весною,
В сиянье первой красоты,
Откроет с силой молодою
Могучий дуб свои листы, —
Тогда ничто его свободы
И свежих сил не сокрушит —
Под грозным вихрем непогоды
Неколебимо он стоит,
Удары смело переносит,
Растет и крепнет по часам
И гордо голову возносит
К своим заветным небесам.

С. В. Максимов писал в альбом:

«Припоминается мне такой случай: И. С. Тургенев любил разбираться в почерках, отгадывая по их разнообразию не столько состояние в данный момент духа писавшего, сколько вообще личный характер и душевные свойства его. В тот день он получил из-за границы какую-то немецкую книгу с приложением автографов Гете и Шиллера.

Сравнивая почерки обоих, Иван Сергеевич обратил внимание на их резкую разницу: один писал разгонисто, видимо, не только не жалел бумаги, но даже как будто бы формат стеснял его, задерживая быстроту нарождавшейся мысли, когда и перо едва поспевало за их полетом:

«Ему в державу тесны миры!»

Другой усердно нанизывал буквы, как бисер, сближал строки и даже заполнял текстом не только поля, но и пробелы междустрочий.

«И веревочку подай!» — шутливо замечал наш поэт и серьезно доказывал, что в последнем он явно видит бережливость немца в противоположность первому (очевидно, и по почерку), сбросившему с себя путы национального характера, как всемирный гений.

Случайная мысль на тот раз дала нашему великому учителю литературного языка провести художественную, мастерскую параллель вроде той, о которой далеко раньше шутливо намекал он в «Хоре и Калиныче» и которую критически разработал впоследствии в «Гамлете» и «Дон-Кихоте».

Имелось в альбоме стихотворение Я. П. Полонского.

Отчего это, братцы, и голос есть,
Да негромко поет, обрывается?
Отчего это, братцы, и песня есть,
Да наводит тоску, словно мается?
Где та сила, та грудь богатырская,
Что певала под гусли звончатые
На пирах, в теремах, перед боем в шатрах?
Народится ли вновь на святой Руси
Та живая душа, тот великий дух,
Чтоб от моря до моря, по всем степям,
Вдоль широкой реки, в глубине лесной

По проселкам, по селам, по всем городам
Пронеслась эта песня, как божий гром,
И чтоб вся-то Русь православная,
Откликаючись, встрепенулася!

Д. Н. Мамин-Сибиряк написал В. М. Лаврову свои впечатления:

«Тридцать лет тому назад я принес в редакцию «Русской мысли» свою первую статью, которая и была напечатана в 1882 году («Старатели»).

Это была, кажется, вообще первая статья, напечатанная мною в толстом журнале. Затем я сотрудничаю в «Русской мысли» четырнадцатый год и могу засвидетельствовать замечательный факт, именно, что Вукол Михайлович Лавров всегда одинаков — когда журнал был в тяжелых обстоятельствах и когда достиг успеха, когда к нему является начинающий автор и когда автор с именем».

Написал в альбом стихотворение и И. А. Бунин:

На высоте, на снеговой вершине,
Я вырезал стальным клинком сонет.
Проходят дни. Быть может, и доныне
Снега хранят мой одинокий след.
На высоте, где небеса так сини,
Где радостно сияет зимний свет,
Глядело только солнце, как стилет
Чертил мой стих на изумрудной льдине.
И весело мне думать, что поэт
Меня поймет. Пусть никогда в долине
Его толпы не радует привет!
На высоте, где небеса так сини,
Я вырезал в полдневный час сонет
Лишь для того, кто на вершине…

А. П. Чехов часто бывал у профессора политической экономии И. И. Иванюкова, которого близко знал В. М. Лавров.

После одного из таких посещений Антон Павлович написал в альбом В. М. Лаврову:

«Я ночевал у И. И. Иванюкова, в квартире В. М. Соболевского, и проспал до 12 часов дня, что подписом удостоверяю. Антон Чехов».

«Любовь — высший дар, высшее чувство человека! — пишет Д. В. Григорович. — Обращено это чувство к отечеству, к общественной пользе, к отдельной личности — оно далеко оставляет за собой все, что обыкновенно служит двигателем в нашей жизни. Все наши цели и мудрствования, и так называемые дела, тщеславные стремления, карьера и т. д.,- все это, если взять в расчет не вечность, но только нашу коротенькую жизнь, — все это не стоит, в сущности, того, чтобы колотиться, биться, огорчаться или радоваться, как это делаем мы! На свете есть одно настоящее чувство, которым стоит серьезно заниматься, — это любовь. Для любви, для нее одной, стоит рождаться на свет, и прискорбно умирать потому только, что приходится расстаться с нею и нет больше надежды испытать ее снова».

Интересной подробностью альбома было еще и то, что в нем имелись стихотворения людей, не писавших обычно стихами.

Среди таких стихотворений имелись — артиста А. И. Сумбатова-Южина:

Солнце жаркими лучами
Грудь Кавказа целовало,
И под страстными огнями
Все цвело и ликовало.

Лишь старик Казбек угрюмый
Этой ласке не поддался
И один с своею думой
Под снегами оставался.
Из-за ласки лицемерной
Не хотел менять одежды
И сменить свой холод верный
На весенние надежды.

В. А. Гольцев написал:

Нас мгла и тревоги встречали,
Порой заграждая нам путь.
Хотелось нередко в печали
Свободною грудью вздохнуть.
Но дни проходили чредою,
Все мрак и все злоба вокруг —
Не падали духом с тобою
Мы, горем исполненный друг!
И крепла лишь мысль и стремилась
К рассвету, к свободе вперед —
Туда, где любовь сохранилась.
Где солнце надежды взойдет!

М. Н. Ремезов:

И много лет мы вместе жили,
В одной ладье мы вместе плыли,
Делили радость и печаль,
Ты на руле сидел и правил.
Ладью упорно гнали вдаль.
А Гольцев смело парус ставил,
Когда ж чрез борт катился вал,
Я только воду отливал…

Последние строчки особенно понятны, — постоянный сотрудник и редактор «Русской мысли» М. Н. Ремезов занимал, кроме того, важный пост иностранного цензора, был в больших чинах и пользовался влиянием в управлении по делам печати, и часто, когда уж очень высоко ставил парус В. А. Гольцев, бурный вал со стороны цензуры налетал на ладью «Русской мысли», и М. Н. Ремезов умело «отливал воду», и ладья благополучно миновала бури цензуры и продолжала плыть дальше, несмотря на то, что, по словам М. Н. Ремезова,

В ладье везем мы груз запретный
Гуманных нравственных идей
И «Русской мысли» клич заветный
К любви и равенству людей.

* * *

Увлеченный кипучей газетной обязательной работой, я, несмотря на долголетнюю дружбу с В. А. Гольцевым и В. М. Лавровым, поместил в «Русской мысли» только несколько

стихотворений, да и то по просьбе редакции, «Гоголевщину», в которой описал мою поездку в Полтавщину в 1900 году перед Гоголевскими празднествами.

После моего доклада в Обществе любителей российской словесности, который впоследствии был напечатан отдельной книгой «На родине Гоголя», В. А. Гольцев обратился ко мне с просьбой напечатать его в «Русской мысли». Перепечатка из «Русской мысли» обошла все газеты.

«Русское слово»

«Русское слово» было разрешено без предварительной цензуры, но с программой, указанной К. П. Победоносцевым, выхлопотавшим это издание для А. А. Александрова.

«Самодержавие, православие и народность» — было девизом газеты.

Газетка была и на вид, и по содержанию весьма убогая, ни подписки, ни розницы не было — и издатель разорился.

В конце концов ее купил умный и предприимчивый И. Д. Сытин с целью иметь собственную газету для рекламы бесчисленных книг своего обширного издательства.

И. Д. Сытину некогда было заниматься газетой, и она также продолжала влачить довольно жалкое существование; он мало заботился о ней и не раз предлагал ее купить кому-нибудь, но желающих не находилось.

Редакция помещалась в книжном издательстве И. Д. Сытина на Старой площади. Направо с площадки лестницы был вход в издательство, а налево в редакцию. Крошечная прихожая, заставленная по обеим сторонам почти до потолка связками газет — того и гляди упадут и задавят. Дальше три комнатки для сотрудников, в одной из которых две кассы наборщиков — повернуться негде, а еще дальше кабинет Гермониуса, заведовавшего редакцией и фактического редактора. Гермониусов было, два, оба литераторы. К одному из них обратился поэт Минаев с вопросом: «Скажи-ка мне, по таксе ль взимает брат твой Аксель?»

Который из братьев Гермониусов был в «Русском слове» редактором, не знаю, но номинальным числился Киселев.

В прихожей можно было наблюдать такие сценки: входит в плюшевой ротонде сверкавшая тогда в Москве опереточная дива Панская и не может пролезть между столиком и кипами газет, чтобы добраться до комнаты Гермониуса, а за столиком сидит Дементий, одновременно и сторож, и курьер, и швейцар, и чистит огромную селедку.

Увидав Панскую и желая заработать «на чай», Дементий пытается снять ротонду селедочными руками, но случайно вошедший один из главных сотрудников К. М. Даниленко, еще совсем юный, выручает и проводит Панскую в кабинет редактора.

Из помещения на Старой площади редакция «Русского слова» вскоре, переменив несколько квартир, переехала на Петровку, в дом доктора Левинсона, в нижний этаж, где была когда-то редакция арендуемых у императорских театров театральных афиш, содержимая А. А. Левинсоном, сыном домовладельца.

По одну сторону редакции была пивная Трехгорного завода, а с другой — винный погреб Птицына. Наверху этого старого, сломанного в первые годы революции, двухэтажного дома помещались довольно сомнительные номера «Надежда», не то для приходящих, не то для приезжающих.

Сюда приехал приглашенный И. Д. Сытиным редактировать «Русское слово» В. М. Дорошевич, после закрытия «России» за амфитеатровский фельетон «Обмановы», и привез с собой своего товарища по Одессе Розенштейна.

Затем редакция переехала в дом Обидиной, тут же на Петровке, в надворный флигель, а оттуда уже в дом М. В. Живаго, теперь уже снесенный, на проезде Страстного бульвара.

Это был исторический дом старого барства: стольвая красного дерева, стоившая тысяч сорок, колонны, фрески, и все это было замазано, загрязнено, на вбитые в красное дерево стен гвозди вешались вырезки из газет и платье. Снаружи дом был одноэтажный, а

надворная часть с антресолями к пристройками в три этажа.

В это время И. Д. Сытин присмотрел и купил соседний дом у вдовы Н. А. Лукутина, Любови Герасимовны, дочери известного миллионера Герасима Хлудова.

Редакция поместилась в бывшем магазине Лукутина, где продавались его знаменитые изделия из папье-маше. Одновременно И. Д. Сытин выстроил в приобретенном у Н. А. Лукутина владении четырехэтажный корпус на дворе, где разместилась редакция и типография и где стало печататься «Русское слово» на новых ротационных машинах. Рядом И. Д. Сытин выстроил другой корпус, для редакции, с подъемными машинами для своих изданий.

С приездом В. М. Дорошевича, воспользовавшегося дополнительно разрешенной Победоносцевым «Русскому слову» широкой программой, газета не только ожила, но и засверкала.

И. Д. Сытин не вмешивался в распорядки редакции. Редактором был утвержден его зять, Ф. И. Благов, доктор по профессии, не занимавшийся практикой, человек весьма милый и скромный, не мешавший В. М. Дорошевичу делать все, что он хочет. В. М. Дорошевич, с титулом «короля фельетонистов» и прекрасный редактор, развернулся вовсю. Увеличил до небывалых размеров гонорары сотрудникам, ввел строжайшую дисциплину в редакции и положительно неслыханные в Москве порядки, должно быть, по примеру парижских и лондонских изданий, которые он осматривал во время своих частых поездок за границу.

Дом для редакции был выстроен на манер большой парижской газеты: всюду коридорная система, у каждого из крупных сотрудников — свой кабинет, в вестибюле и приемной торчат мальчуганы для посылок и служащие для докладов; ни к одному сотруднику без доклада постороннему войти нельзя.

В этом же доме разместил И. Д. Сытин и другие свои издания: третий этаж заняло целиком «Русское слово», а в четвертом поместились «Вокруг света» и «Искры», как приложение к «Русскому слову», сначала издававшееся с текстом, а потом состоящее исключительно из иллюстраций.

Редактором «Искр» был серб Милан Михайлович Бойович, филолог, окончивший Московский университет, еще студентом состоявший моим помощником при московском отделе амфитеатровской «России».

Редактором «Вокруг света» был В. А. Попов, прекрасно поставивший журнал, который при нем достиг огромной по тем временам подписки.

Помещение редакции было отделано шикарно: кабинет И. Д. Сытина, кабинет В. М. Дорошевича, кабинет редактора Ф. И. Благова, кабинет выпускающего М. А. Успенского, кабинет секретаря и две комнаты с вечно стучащими пишущими машинками и непрерывно звонящими телефонами заведовавшего московской хроникой К. М. Даниленка.

У кабинета В. М. Дорошевича стоял постоянно дежурный — и без его доклада никто в кабинет не входил, даже сам И. Д. Сытин.

Когда В. М. Дорошевич появлялся в редакции, то все смолкало. Он шествовал к себе в кабинет, принимал очень по выбору, просматривал каждую статью и, кроме дневных приемов, просиживал за чтением гранок ночи до выхода номера.

В. М. Дорошевич в созданной обстановке редакции портился. Здесь он не был тем милым и веселым собеседником, каким я часто видал его у себя дома или в компании.

Особенно интересен он был за обедом или ужином, полный блестящего остроумия в рассказах о своих путешествиях. Это был человек, любивший вкусно поесть и выпить хорошего вина. Пил не особенно много, смаковал и съедал огромное количество всякой снеди. Он иногда обедал у меня, всегда предупреждая:

— Попроси Марию Ивановну, чтоб она меня борщом с ватрушками угостила!

В назначенный день, одетый обязательно в смокинг, являлся к обеду и после первой тарелки жирного борща просил вторую, а то и третью тарелку, уничтожая при этом гору ватрушек.

Подают индейку. Жена спрашивает:

— Влас Михайлович, вам темного или белого мяса?

— И того и другого, и по полной тарелке!.. Любил поесть!

А ночью, после обеда, в редакции просит меня: — Позвони Марии Ивановне, не осталось ли там ватрушек? Я бы сам попросил, да стыдно!

Я, кажется, был одним из немногих, который входил к нему без доклада даже в то время, когда он пишет свой фельетон с короткими строчками и бесчисленными точками. Видя, что В. М. Дорошевич занят, я молча ложился на диван или читал газеты. Напишет он страницу, прочтет мне, позвонит и посылает в набор. У нас была безоблачная дружба, но раз он на меня жестоко обозлился, хотя ненадолго.

Гордый и самолюбивый всевластный диктатор «Русского слова», он привык благодаря слишком подчеркнутому «уважению» окружающих лиц к своей особе требовать почти молчания в своем присутствии. Его даже боялись.

Сидели мы как-то в кабинете Ф. И. Благова, компанией, и весело разговаривали. Неожиданно входит В. М. Дорошевич — «горд и ясен», во фраке. Только что он раскрыл рот, чтобы сделать какое-то распоряжение, как я его перебил:

— Влас, у тебя есть время?

— Пять минут. Еду в балет, сегодня Гельцер!

— Этого достаточно. Отвернись к стенке и застегни пуговицы, — и указал ему, где застегнуть пуговицы.

Он удостоверился в правоте моих слов и, весь красный от волнения, опустил шапокляк и со словами «извините» быстро вышел.

На другой день он мне обиженно сказал:

— Свинья ты! Мог бы шепнуть на ухо, что ли. В дураках меня оставил! Они этого никогда не забудут! — А глаза злые-злые.

Конечно, нашей дружбы это не испортило. Из своих путешествий он мне присылал отовсюду открытки. Одну недавно нашел, в бумагах. Это открытка из Испании, из города Хереса. Три строчки:

«Гиляй! Я думал, что это бывает только с мухами; вообрази, попал в Херес!»

* * *

В. М, Дорошевич знал, что я работаю в «Русском слове» только по его просьбе. Уезжая за границу, он всегда просил меня писать и работать больше, хотя и при нем я работал немало.

Помню, в день, когда тираж «Русского слова» перевалил за сто тысяч — в первый раз в Москве, даже и в России, кажется, — меня угощала редакция обедом за мой фельетон «Ураган». Это было 19 июня 1904 года, на другой день после пронесшегося над Москвой небывалого до сего урагана, натворившего бед. Незабвенный и памятный день для москвичей, переживших его!

Мне посчастливилось быть в центре урагана. Я видел его начало и конец: пожелтело небо, налетели бронзовые тучи, мелкий дождь сменился крупным градом, тучи стали черными, они задевали колокольни.

Наступивший мрак сменился сразу зловеще желтым цветом. Грянула буря, и стало холодно. Над Сокольниками спустилась черная туча — она росла снизу, а сверху над ней опускалась такая же другая. Вдруг все закрутилось. Внутри этой крутящейся черной массы засверкали молнии. Совсем картина разрушения Помпеи по Плинию! Вдобавок среди зигзагов молний вспыхивали желтые огни, и багрово-желтый огненный столб крутился посередине. Через минуту этот ужас оглушающе промчался, руша все на своем пути. Неслись крыши, доски, звонили колокола; срывало кресты и купола, вырывало с корнем деревья; огромная Анненгофская роща была сбрита; столетние деревья или расщеплены, или выворочены с корнем. Было разрушено огромное здание Кадетского корпуса и Фельдшерской школы. По улицам — горы сорванных железных крыш, свернутых в

трубочку, как бумага. Кое-где трупы. Много убитых и раненых…

* * *

В десятом часу вечера, измученный, оборванный и грязный, я вошел в кабинет В. М. Дорошевича.

— Садись на мое место и пиши. Я тебе пришлю закусить! — сказал В. М. Дорошевич, оглядев меня с ног до головы:

— Должно быть, в смерче крутился! Пиши, я тебе мешать не буду. Посылай гранки!

Мне подали чаю и холодных закусок.

Через два часа я написал впечатление пережитого урагана и позвонил. Вошел В. М. Дорошевич, но я, весь пыльный, уже лежал на его роскошном турецком диване.

— Усни, я запру дверь. Встанешь — позвонишь!

Встал я только через два часа.

В. М. Дорошевич сидел за столом и подал мне оттиск первой полосы. Когда номер был сверстан, В. М. Дорошевич и я поехали осматривать беды урагана в Сокольники, Лефортово и вплоть до самого Карачарова. Уже всходило солнце.

Особенно его поразила Анненгофская роща — этот вековой лес, после урагана представлявший собой горы вырванных с корнем и расщепленных сосен и елей-великанов. Среди обломков ныряли босяки: роща была их летней дачей. Немало их там погибло в урагане.

Проезжая мимо нее, мы вспомнили с В. М. Дорошевичем кое-что о ней.

Интересна судьба этой рощи: она выросла в одну ночь — и погибла в один день, даже в несколько минут.

История ее такова. Когда царица Анна Иоанновна приехала в Москву и остановилась в только что выстроенном дворце, где впоследствии помещался Первый кадетский корпус, то, любуясь видом на широкое поле, сказала:

«Как жаль, что здесь пустое место, а не лес!»

На другое утро, проснувшись, она подошла к тому же окну — и была поражена: поля не было, а зеленела огромная сосновая роща!

Услужливая и всемогущая придворная челядь за ночь тысячами крепостных и солдат перетащила из Сокольников выкорчеванные сосны и ели и посадила рощу!

Роща потом разрослась, ее подсаживали и блюли, но она не сделалась любимым народным гуляньем: москвичи знали, как появилась она, названная в честь царицы «Анненгофская».

Москва по-своему отомстила Анненгофской роще: ее сделали свалкой нечистот, и ветерок с рощи отравлял Лефортово многие годы, а по ночам жителям приходилось закрывать окна.

Всю ночь громыхали по булыжным мостовым длинные обозы отходников, заменявших тогда канализацию, но и с перенесением из Анненгофской рощи свалки нечистот к Сортировочной станции Московско-Казанской железной дороги все-таки еще в нее сливались нечистоты, и название «Анненгофская роща» было только в указателях Москвы и официальных сообщениях, — в народе ее знали испокон века и до последних дней только под одним названием: «Говенная роща!»

Вспомнили мы это, а кругом был ужас: здания с зияющими окнами, без рам и стекол, с черными прогалами меж оголенных стропил. Церкви без крестов и куполов, разбитые каменные столбы, по улицам целые горы свернутого и смятого железа, груды обломков зданий, убитые лошади, иногда люди. Далее — обломки векового госпитального Лефортовского парка. Мост через Яузу сорван. Валялась полицейская будка, вместе с городовым перенесенная через целый квартал. На переезде Московско-Казанской железной дороги была сорвана крыша с элеватора, штопором свернут гигантский железный столб семафора, и верхний конец его воткнулся в землю.

Ураган ринулся к Ярославлю, оставляя следы разрушения более чем на сотни верст; было много убитых и раненых. Ночью в районе урагана, среди обломков в Лефортове и в роще горели костры, у которых грелись рабочие и жители, оставшиеся без крова.

Запомнилась картина: у развалин домика — костер, под рогожей лежит тело рабочего с пробитой головой, а кругом сидят четверо детей не старше восьми лет и рядом плачущая беременная мать. Голодные, полуголые — в чем вышли, в том и остались.

Такого урагана не помнили в Москве старожилы.

Мы вернулись в Москву, и у заставы уже носились газетчики. «Русское слово» шло нарасхват.

— Ураган! Подробности об урагане! — кричали газетчики.

Во время японской войны я написал ряд фельетонов под заглавием «Нитки», в которых раскрыл все интендантское взяточничество по поставке одежды на войска. Эти фельетоны создали мне крупных врагов — я не стеснялся в фамилиях, хотя мне угрожали судом, — но зато дали успех газете.

Редакция боялась печатать мои «Нитки», мне предлагали вычеркивать фамилий, но В. М. Дорошевич выругал:

— Печатать целиком! Никогда Владимир Алексеевич не дал ни одного неверного сведения, и никогда ни на одну его статью опровержения еще не было… и не будет!

Во время войны с Японией огромный успех в газете имели корреспонденции Вас. И. Немировича-Данченко с театра военных действий и статьи Краевского из Японии, куда он пробрался во время войны и вернулся обратно в Москву.

Многие тогда сомневались в правдивости его сообщений.

Я же верил ему — уж очень юркий и смелый человек, тип «пройдисвета».

У меня долго хранился складной чемодан, который он мне подарил, вернувшись из Японии. Он был весь обклеен багажными марками: Иокогама, Сан-Франциско и т. д.

«Русское слово» гремело — и с каждым днем левело, как левела вся Россия.

Наконец хлынула всеобщая забастовка, а затем 17 октября с манифестом о «свободах».

В первом, вышедшем после 17 октября 1905 года в «свободной России», номере «Русского слова» передовая статья, приветствовавшая свободу слова, заканчивалась так:

— Отныне довольно говорить рабьим языком!

Прошел год, обещанные свободы разлетелись прахом.

С наступлением реакции «Русское слово» опять заговорило «рабьим языком», а успех газеты все-таки с каждым днем рос и рос.

Атаман Буря и пиковая дама

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки, проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что эти газетки были — и только, мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизненны.

Через полстолетия припомнились они не за их достоинства, а за что-то другое, видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени.

Газеты эти — «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д. М. Погодина. Н. В. Васильев — передовик «Московских ведомостей» — был редактором «Голоса Москвы», а издателем был И. И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор».

Иван Иванович Зарубин был и хромой и доктор, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал и, задолжав, обыкновенно исчезал из города. Исчез он из Петербурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся, как и все издания этого доктора, от карманной чахотки. Когда явился в редакцию «Здоровья» судебный пристав описывать за долги имущество И. И. Зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет, и с постелью, постланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо

мебели лежали такие же кипы.

И. И. Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

— Садитесь на «Здоровье»!

Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Лансберг.

Много-много лет спустя В. М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой нашей встрече.

В поисках сенсаций для «Голоса Москвы» В. М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос.

— Я обратился к уряднику, — рассказывал он мне через десять лет, — караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то — лица я не рассмотрел — в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику — лихач помчался, пыля по дороге.

Меня, — продолжал рассказ В. М. Дорошевич, — принял судебный следователь Баренцевич, которому я отрекомендовался репортером: «Опоздали, батенька! Гиляровский из «Русских ведомостей» уже был и все знает. Только сейчас вышел… Вон едет по дороге!» Я был оскорблен в лучших своих чувствах, и как я тебя в тот миг ненавидел!

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В. Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему, в свою очередь, был должен только один человек на свете: И. И. Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н. В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись «Редактор-издатель И. И. Зарубин», но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был — она перешла к В. Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год.

Подписка была плохая. Забрав деньги злополучных подписчиков, В. Н. Бестужев прекратил газету, а И. И. Зарубин исчез из Москвы…

В типографии В. Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е. Н. Погодина, а редактором Д. М. Погодин, сын известного ученого М. П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной.

В этой типографии Д. М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке. После пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. И. Смирнова, на Маросейке, в доме Хвощинской. Платить было нечем, и газету надо было прекращать, но тут явился на помощь известный адвокат Ф. Н. Плевако, который дал денег и напечатал в ней несколько статен, отказавшись от дальнейшего участия.

* * *

Года за два перед этим в Москве появился некто В. Н. Бестужев, дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось

благодаря его импозантной наружности.

Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П. И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного переулка.

П. И. Шаблыкин, состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой им, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В. Н. Бестужев.

В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий.

Сам он тоже выпускал какой-то «Листок объявлений», выходивший раза 3–4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешение на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В. Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фактически газета будет принадлежать ему.

Редакция «Жизни» помещалась в третьем этаже надворного флигеля дома Шаблыкина, на Большой Дмитровке, против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей С. И. Зимина.

Заведовал редакцией секретарь Нотгафт, мужчина чрезвычайно презентабельный, энглизированного вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых В. Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще изобьют! Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных: первое — «Продается библиотека покойного М. П. Погодина 10000 томов. Есть книги на сарматском, датском, шведском и финском языках. Обширный Славянский Отдел. Каталог — целый том, стоит 400 рублей», и второе: «Портретная галерея русских писателей (120 масляной краской), оставшаяся после покойного М. П. Погодина, продается, Софийская набережная, д. Котельниковой».

В один из обычных маловеселых редакционных дней бегал по редакции, красный от волнения и вина, В. Н. Бестужев и наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился, на первой и второй страницах, большой фельетон: «Пиковая дама». Повесть. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». «Новейшая гадательная книга…».

Все было в фельетоне, как у А. С. Пушкина.

В конце фельетона была подпись: «Ногтев. Продолжение следует».

Эффект был поразительный! По Москве заговорили, что «Пиковая дама» А. С. Пушкина печатается в газете «Жизнь»!

Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Петр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему, — никто того тогда не знал, — П. И. Ласточкин, еще в 4 часа утра, в типографии взял несколько тысяч номеров «Жизни» вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно. И не прогадал.

Мало того, чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер, и его раскупали газетчики.

Московские газеты напустились на эту выходку «Жизни»; одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бранили злополучную чету Погодиных.

Эту дикую выходку В. Н. Бестужева своим практическим умом разгадал один Н. И. Пастухов.

Когда ему за утренним чаем А. М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал заметку о безграмотной редакции, Н. И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал:

— А этого он не хочет?

— Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

— Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Вот, гляди, завтра все его ругать начнут, а ему только это и надо!

* * *

Н. И. Пастухов правильно угадал смысл выходки В. Н. Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было только помещено следующее письмо:

Письмо в редакцию

> «Чтобы снять с почтенной редакции газеты «Жизнь» всякое нарекание в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведуя в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 «Жизни» допустил напечатать фельетон «Пиковая дама». Вполне доверяя лицу, мне лично известному, и без сведения редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты, и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию. К. Ногтев».

Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой.

По сведениям из типографии стало известно, что в гранках фельетон был без всякой подписи, потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В. Н. Бестужевым: «К. Нотгафт», и уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлено «Ногтев».

Н. И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. Ив. Соколовой «Новые птицы — новые песни», за ее известным псевдонимом «Синее домино».

Роман заинтересовал публику, и на некоторое время «Жизнь» удержала розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли объявления театров: «Частный оперный театр» в доме Лианозова, в Газетном переулке; «Новый театр Корша»; «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской; «Театр русской комической оперы и оперетки» Сетова в доме Бронникова, на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, «подседнокопытная мазь от всех болезней Иванова», а также стали печататься объявления фирм: правления мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора Выдрина, Брокара, Ралле, Депре.

В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В. Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались.

На время В. Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатой — женился и переменился! Снял большую типографию, занялся издательством, а потом через полгода опять закутил.

Однажды я выходил из театра Корта и услыхал, как швейцар Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит:

— Одиночка Бестужева, Герасим!

За швейцаром в николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахе козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами.

Швейцар поискал одиночку Бестужева, вернулся и доложил атлету в николаевской шинели:

— Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!

— Мер-рзавец! — загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня: — Сологуб! Ты ли это? Откуда? Пойдем к «Яру»!

Сделавшись центром внимания знакомых, выходивших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

Так вот он кто такой, В. Н. Бестужев!

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», история которой еще не заглохла среди москвичей.

* * *

В это время дела В. Н. Бестужева, по-видимому, не веселили. Он перевел в свою типографию редакцию «Жизни», в дом Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили В. Н. Бестужева: первые — за долги, вторые — чтобы отправить на высидку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись — остались пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка.

Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работу только в некоторых типографиях поденно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности.

Днем они, поочередно занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной

Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба, по фунту и больше, для нищих бесплатно. Этим подаянием и питались подшибалы, работавшие у Б. Н. Бестужева.

Подшибалы — это, так сказать, яркие типы «рабов капитала». В старые времена на подшибалах наживали деньги типографщики. Делились они на ночных и денных. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме «Русских ведомостей», «Московского листка» и «Русского слова», где штат наборщиков был постоянный, полностью укомплектованный. Особенно типографщики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями. Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левенсона, находившаяся до пожара в собственном огромнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена подшибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза: 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20, чтобы не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так: 8 копеек сотка водки, 3 — хлеб, 10 — в «пырку», так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки; иные ухитрялись еще из этого отрывать на махорку. Вечером меню было более сокращенным, из которого пятак оставлялся на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В. Н. Бестужева и еще кое у кого под реалами.

Подшибал использовали иногда типографщики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции.

Отсюда и название: «Подшибалы!»

Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В. Н. Бестужева. Спали под кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было.

Поздно ночью, тайно, являлся к ним пьяный В. Н. Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем — и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты — босые и

голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу.

Вдруг на номере 223 газета остановилась — это был последний номер издания В. Н. Бестужева.

По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал и отправлять в больницу: у кого тиф, у кого рожа!

В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Аржановки то и дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей.

За разными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели «Русских ведомостей», но и они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффектное происшествие раньше появлялось в газетах мелкой прессы.

На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В. Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреться в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А. И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок скарлатиной. Лечили его А. П. Чехов и А. И. Владимиров. Только поправился он — заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

— Вот до чего ваше репортерство довело! — говорила мне няня.

* * *

Во время этих перипетий В. Н. Бестужев исчез из Москвы.

До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане Ливорно.

Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики, по летнему времени, никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль-Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и В. Н. Бестужев.

В. М. Дорошевич еще в потрепанных штанах, которые настолько коротки, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штиблет, Риваль в мятой крахмальной рубахе и галстуке шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротнику пиджачка с короткими рукавами, а В. Н. Бестужев в шикарной паре.

— Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев… Это Дорошевич… А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы, конечно, знаете.

Они оба встали и пожали мне руку. В. М. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а В. Н. Бестужев расплылся в улыбку:

— Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы! Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по Пензе. Я — пензенский помещик!

О встрече у подъезда театра Корша — ни слова. И начал рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора — и еще черт знает о чем залихватски врал.

Я не мешал ему — и он, по-видимому, был очень этим доволен.

На самом деле все было гораздо проще: в 1878/79 году я служил под фамилией Сологуба актером в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо с турецкой войны.

В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени Ц. А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пиколло —

Печорин, я — полицмейстера. Сбор неполный, но недурной.

Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика — умная в провинции публика — почти уже уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и садится во втором ряду.

В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто.

Публика разошлась. Мы разгримировались, переодеваемся. Вдруг в уборную В. П. Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на двадцать рублей, напился и уснул.

— Когда я его стал будить, — рассказывал Руммель, — он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, — он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит! — закончил содержатель буфета.

В. П. Далматов смекнул, в чем дело, и ко мне:

— Володя, надень свою черкеску, Георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом, Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко доносился шум.

Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, за столом с посудой сидит огромный юнкерище, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу.

— Встать! — крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

— Какого полка?

— Московского драгунского…

— Это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны двенадцатого года? Севастопольская, за усмирение польского мятежа?! Откуда они?

— Я старший в роде. Отцовские и дедовские медали!

— А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых?

— Из разных мест посылали…

— А костыли для чего?

— У меня была сломана нога, г-н поручик!

Он к каждому ответу прибавлял «господин поручик» и отрезвел сразу.

— Ну, вот что, молодой человек! Я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой! Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на гауптвахту, но я прощаю. Идите!

— Очень благодарен, г-н поручик. Извиняюсь… лишка выпил… — И уж совсем другим тоном к буфетчику: — Эй, ты, сколько с меня?

— Двадцать рублей…

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку:

— Сдачи не надо!

— Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

— Одевайтесь и уходите! Живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорьичу, который запер за ним дверь.

На другой день пристав, театрал и приятель В. П. Далматова, которому тот рассказал о вчерашнем, сказал, что это был драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись

с войны, пропивает свое имение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий.

Пристав уже раньше знал все происшествие от буфетчика Руммеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варецова, где жил юнкер.

Все подробности этого события дошли и до В. Н. Бестужева, который собрался идти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего, но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство.

После закрытия газеты В. Н. Бестужев, как я уже сказал, словно в воду канул.

Прошло много лет. В. М. Дорошевич стал знаменитостью, и наши отношения обратились в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и, вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне:

— А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля,

— От доктора Лобаса? — я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

— Что Лобас! От Володи Бестужева! Только о тебе и говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал.

Оказалось, что В. Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил каторжников смертным боем — и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков.

Каторга звала его:

— Атаман Буря.

В конце концов он попал под суд за зверства, растраты, пьянство, но не дождался суда: умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.

«Нижегородское обалдение»

В 80-х годах при «Новом времени» стало выходить каждую субботу иллюстрированное литературное приложение. Кроме того, по субботам же печатались рассказы и в тексте газеты. Участвовали поэты, ученые и беллетристы, в том числе А. П. Чехов, печатавший свои рассказы четыре раза в месяц. Он предложил мне чередоваться с ним.

— Одну субботу ты, другую — я.

И послал мой первый рассказ, который через неделю был напечатан.

С этого я начал мое сотрудничество в «Новом времени», не бросая работы в «Русских ведомостях».

Я был единственным журналистом, одновременно работавшим в «Новом времени» и в «Русских ведомостях». И щепетильные, строгие «Русские ведомости» против этого ничего не имели.

Весной 1896 года «Русские ведомости» обратились ко мне с просьбой дать для них описание коронации. Кроме меня, должны были еще участвовать от них два корреспондента. Подали мы трое — я, Лукин и Митропольский в коронационную комиссию заблаговременно список на три лица, но охранное отделение утвердило только двух, а меня вычеркнуло, и редакция возвратила мне мои две фотографические карточки в полной неприкосновенности, поручив мне только давать для газеты уличные сцены.

Огорченный, я отправился из редакции домой и встречаю на Тверской А. В. Амфитеатрова. Он писал также фельетоны в «Новом времени». Рассказываю ему свое горе.

— Попробуем что-нибудь сделать; здесь проездом Суворин, я сегодня его увижу и попрошу, чтоб он записал тебя мне в помощники по Москве и выхлопотал тебе корреспондентский билет, ему ни в чем не откажут, ты же наш сотрудник притом. Тогда ты будешь писать в «Русские ведомости», а мне поможешь для «Нового времени» в Нижнем на выставке.

Я отдал ему фотографии и недели через две получил билет и печатный список корреспондентов на коронацию, в котором значился и я корреспондентом «Нового времени».

Кроме меня, в списке стояло еще четыре корреспондента этой газеты, а пятым сам А. С. Суворин. Мне там было делать нечего, я преспокойно работал для «Русских ведомостей», а благодаря марке «Нового времени» везде имел первое место.

* * *

Благодаря этому билету такими же правами я пользовался и на Всероссийской Нижегородской выставке, куда поехал с Амфитеатровым. Мне было поручено описать торжественное открытие выставки и протелеграфировать раньше всех, срочно, в «Новое время». Я занял опять-таки благодаря званию корреспондента «Нового времени» место рядом с трибуной, откуда открывавший выставку министр финансов С. Ю. Витте говорил программную речь. Я ее записал всю, от слова до слова, и, поручив дальнейшие речи другому корреспонденту «Нового времени», Прокофьеву, бросился на телеграф и дословно передал срочной телеграммой в «Новое время» всю речь Витте. В ней было больше тысячи слов. С телеграфа я вернулся в зал, где уже кончилось торжество, и встретил секретаря Витте, который роздал только что написанную на машинке речь министра всем корреспондентам, которые решили ввиду краткости времени речь эту телеграфировать только завтра.

Я сказал секретарю, что мною речь уже послана, и показал ему телеграфную квитанцию. Секретарь пришел в ужас.

— Да что вы сделали! Ведь здесь много изменений! Я об этом должен буду доложить министру. Получится разноголосица. Я доложу министру!

— Это ваше дело. А я сделал то, что обязан был сделать корреспондент.

Вернувшись в свой номер, я сравнил записанную мной речь Витте с полученной от секретаря и нашел, что моя телеграмма несколько иная. Амфитеатрова в этот день я не видал и только на другой день рассказал ему об этом.

— И прекрасно, что послал! — одобрил Амфитеатров.

Оказывается, что он уже знает обо всем случившемся. Посланная мной телеграмма произвела целую бурю. Витте обозлился, администрация переволновалась, но нашла выход: сию же минуту приказали Северному телеграфному агентству послать речь Витте по всей России, во все газеты.

Я с нетерпением ждал прибытия газет из Петербурга. Действительно, оказалось, что речь Витте напечатана в газетах от Северного телеграфного агентства только в «Новом времени»; в агентских телеграммах значилось казенное сообщение об открытии, законченное словами: «Министр вошел на кафедру и произнес речь», а далее от редакции: «См. выше телеграмму нашего корреспондента». Телеграмма была напечатана моя, но, по всей вероятности, ее частью исправили по агентской. Впоследствии я за нее получил гонорар, но больше в «Новом времени» не писал. С выставки давал Амфитеатров «Нижегородские впечатления», а я занялся спортивным отделом специально для редактируемого мной журнала «Спорт» и много времени проводил в городе на бегах, где готовился розыгрыш громадного бегового выставочного приза, которого мне, впрочем, не удалось дождаться…

* * *

До 1917 года у меня хранились записки и впечатления о выставке, которые я готовил к отдельному изданию, но за обычной суетой так и не докончил. Помню, что эта начатая работа у меня носила заглавие «Нижегородское обалдение».

Огромный выставочный ресторан «Эрмитаж» с обширными террасами, уставленными сотнями богато сервированных столов, с полудня переполнялся завтракающими, обедающими и ужинающими… Шум, музыка в разных местах и время от времени оглушительный колокольный звон: это проба колоколов фирм, развесивших на звонницах свой товар. Московские заводы — Финляндского, Оловянишникова и Самгина привезли

огромные и мелкие колокола. Звонари были артистами своего дела. Особенно отличался звонарь у Самгина, который вызванивал разные музыкальные мотивы.

Когда он разделывал на колоколах «камаринского», то слушатели так увлекались, что сами приплясывали. Под весь этот несмолкаемый шум хлопали в ресторане поминутно пробки шампанского, которое здесь лилось рекой.

Здесь пирует вся Москва. Публика Тестова, «Эрмитажа», «Праги» и «Яра». Даже сам Иван Иваныч здесь в своем цилиндре, слегка набекрень, который он то и дело снимает, раскланиваясь направо и налево. За ним шествуют пять купеческих юнцов в смокингах и панамах. Судя по их физиономиям, он их ведет опохмеляться… Алексей Федорович, главный метрдотель, уже сервировал для богатых гостей стол и через минуту, почтительно склонившись, выслушивает заказ купеческого «арбитра элегантиарум». Он пробует ароматный белорыбий балык, что на языке тает. На круглом розовом лице то же выражение, как у Лупетки 22 года назад под Главным домом…

Да разве один он здесь Лупетка! Среди экспонентов выставки, выбившихся из мальчиков сперва в приказчики, а потом в хозяева, их сколько угодно. В бытность свою мальчиками в Ножовой линии, на Глаголе и вообще в холодных лавках они стояли целый день на улице, зазывая покупателей, в жестокие морозы согревались стаканом сбитня или возней со сверстниками, а носы, уши и распухшие щеки блестели от гусиного сала, лоснившего поморoженные места, на которых лупилась кожа. Вот за это и звали их «лупетками».

На декорированных стенах ресторана, как во всех павильонах выставки, висели гербы Нижнего Новгорода, причем фигура герба — олень, выкрашенный в красную краску, — вызывала веселое настроение: уж в очень

игривой позе этот олень был изображен живописцем. Амфитеатров, когда приглашал кого-нибудь в ресторан, всегда говорил:

— Пойдем под веселую козу!

А потом с его легкой руки это прозвание перешло и на всю выставку.

— Когда муж-то вернется? — спрашивают в Москве купчиху.

— А хто его знает! Под веселой козой загулял!

И действительно, здесь был разгул вовсю. Особенно отличались москвичи, бросавшие огромные деньги на дело и безделье: мануфактуристам устройство одних витрин, без товара, обошлось в четыре миллиона рублей.

«На витрины затрачено четыре миллиона. Сколько пропьют фабриканты?»

Эту задачу для детей младшего возраста можно было решить всякому, кто побывал под веселой козой в «Эрмитаже» и в других нижегородских местах разгула… Это был поток, который втягивал всякого мало-мальски известного человека. Вот почему у меня явилось это название в моих пропавших записках — «Нижегородское обалдение».

В «Эрмитаже» на террасе был особый почетный стол, куда обыкновенные посетители не допускались. Сюда садились высшие чины администрации и некоторые приглашенные лица. Здесь всегда завтракали В. И. Ковалевский, М. И. Казн, писатель Д. В. Григорович, П. П. Семенов-Тяньшанский, адмирал Макаров, заведующие отделами и строители, Амфитеатров, который всегда затаскивал с собой и меня. Постоянным гостем был Савва Иванович Мамонтов, так гордившийся своим павильоном Севера, украшенным панно Врубеля, Константина Коровина и других корифеев живописи.

Из купечества за этим столом бывали только двое: первый Савва Морозов, кругленький купчик с калмыцкими глазами на лунообразном лице, коротко остриженный, в щегольском смокинге и белом галстуке, самый типичный цветок современной выставочной буржуазии, расцветший в теплицах капитализма на жирной земле, унавоженной скопидомами дедами и отцами. Второй — представитель последних, в долгополом сюртуке, в сапогах бураками, подстриженный по-старинному в кружок, бодрый и могучий, несмотря на свои шестьдесят лет,-

Н. А. Бугров, старообрядец, мукомол, считающийся в десятках миллионов. Мельницы

Бугрова, пароходы Бугрова, леса Бугрова, богадельня, приют и даже в далеких Ессентуках санаторий для бедных — Бугрова и Мальцева, а в соседнем городке — бугровский поселок, где, как сказывали, более ста небольших однотипных домиков с огородами и садиками. Поселок этот продолжал расти и теперь, поддерживая пословицу: «Седина в бороду, а бес в ребро», и глядя на волжского богатыря Николая Александровича — его иначе не называли в городке — смело можно было ожидать, что поселок удвоится, а население его утроится по меньшей мере… Проходит два-три месяца, смотришь — домик новый строится… Приезжает красавица-молодица со старушкой, в сарафанах или платьях с рядом пуговиц от ворота до подола, как в керженских или хвалынских скитах одеваются, как М. В. Нестеров красавиц заволжских на своих картинах кажет. Смотришь, года через два в садике под окошком молодичка расстегнула сарафан, младенца кормит, а старушка в темном сарафане другого нянчит…

Сюда Николай Александрович и наезжает отдыхать после трудов неусыпных. И никто его встречать не смеет — сам знает, к кому и когда ему зайти…

А в скитах какая-нибудь матушка Секлетея или Нимфодора выхаживает новую обитательницу поселка, которой уже домик строится, чтобы вовремя из скита переехать…

*** * ***

Сам я как-то не удосужился посетить город Гороховец, про который мне это рассказывали и знакомые нижегородцы и приятели москвичи, бывавшие там, но одного взгляда на богатыря Бугрова достаточно было, чтобы поверить, тем более зная его жизнь, в которой он был не человек, а правило! Вставал рано, ложился рано, соблюдал не только посты, а среды и пятницы. И не пил ничего, кроме одного стакана шампанского, которое только пригубливал для порядка, чтобы компанию не расстраивать или не обидеть тех, с кем за столом сидит. А за столом приходилось ему сидеть и с министрами, которым он, как и всем без исключения, тоже говорил «ты».

В голодный 1892 год приехал к нему сам министр финансов Вышнеградский дать огромный заказ на поставку хлеба. Сговорились, сторговались.

— Ладно, сделаю, — сказал Бугров.

— А сколько вам, Николай Александрович, позволите аванса на закупки дать?.. Тысяч сто? — спрашивает министр.

— Да что ты, ваше превосходительство, смеетесь надо мной, что ли?.. Аванца! Своими обойдемся, мелочишкой-то! Ты уж не беспокойся: сказал — сделаю.

Даже во время выставки на обеде, данном купечеством Витте, Бугров и всесильный министр разговаривали при всех на «ты».

— Ладно, Сергей Юльич, уж будь без сумления, сделаю… — и они пожали друг другу руки.

А вот супругу Витте, знаменитую Матильду, он обидел — и все обошлось благополучно.

Надо сказать, что Бугров признавал только своих скитских простушек и не выносил важных дам, особенно благотворительниц, надоедавших с просьбами. Он их даже не удостаивал разговорами.

Как-то Бугров, вскоре после обеда Витте, сидел за почетным столом и посасывал по капельке «Аи». Он другого шампанского не признавал, а «Аи» называл «Ау» и вывел отсюда глагол: «аукнуть».

К столу подходит с портфелем в руках один из секретарей Витте и, сделав общий поклон, обращается к Бугрову, после целого потока извинений, что позволил себе не вовремя побеспокоить:

— Сейчас в кабинете его высокопревосходительства идет дамское заседание под председательством супруги министра по делу благотворительности. Ее высокопревосходительство просит вас пожаловать в заседание… Вас ждут, и мне приказано

без вас не возвращаться… Я не могу вернуться без вас…

— Ну-к што ж. Хошь вертайся, хошь не вертайся, твое дело… А я не пойду… А коли вернешься, так скажи, что Николай Александрович сказал, что ему недосуг. Понял: ему не-до-суг.

И пошел по выставке анекдот: Бугров Матильду сукой назвал.

Савву Морозова Бугров здорово недолюбливал за его либеральные речи и как-то выразился среди друзей на своеобразном языке по поводу его высшего образования:

— Хвалится — ниверситет проходил! Проходил — по коридору скрозь! А что ежели жетоном хвалится, так это ему отец у профессырей выхлопотал!

Не любила Бугрова ресторанная прислуга — на чай гривенник по-старинному давал, а носильщики на вокзале и в Москве и в Нижнем, как увидят Бугрова выходящим из вагона, бегут от него — тоже больше гривенника за пудовый чемодан не дает!

* * *

Исключение насчет «на чай» прислуге он делал только за этим почетным столом, чтоб не отставать от других. Здесь каждый платил за себя, а Савва Морозов любил шиковать и наливал соседей шампанским. От него в этом не отставал и Савва Мамонтов. Мне как-то пришлось сидеть между ними. Я слушал с интересом рассказ Мамонтова о его Северном павильоне справа, а слева — Савва Морозов все подливал и подливал мне «Ау», так как Бугров сидел с ним рядом и его угощал Морозов.

* * *

Завтрак проходил; к концу является опоздавший Амфитеатров, глядит на меня и смеется.

— Гиляй, ты красней веселой козы, а глаза у тебя осовели!

— Видишь, — ответил я ему, показывая правой рукой на Мамонтова, а левой на Морозова, — как не осаветь!

— Вижу, справа Савва, слева Савва, тут осавеешь! Начался этот завтрак шуткой, а кончился… Когда-то мне отец сказал:

— Язык твой — враг твой, прежде ума твоего рыщет! Впоследствии я не раз вспоминал эти его мудрые слова, а тут не до них было, под веселой козой!

Амфитеатров наскоро закусил и торопливо куда-то ушел, а мы продолжали сидеть и благодушествовать. Были незнакомые петербургские чиновники, был один из архитекторов, строивших выставку. Разговор как-то перекинулся на воспоминания о Ходынке, и, конечно, обратились ко мне, как очевидцу, так как все помнили мою статью в «Русских ведомостях».

— Ну, а какая причина катастрофы? — спросил кто-то.

А Савва мне все подливает.

— Одна из причин гибели такой массы народа — это Всероссийская выставка. Особенно вот это главное огромное железное здание!

Я указал на железный павильон.

— Ведь все эти железные павильоны остались от прежней московской Всероссийской выставки на Ходынке. Вот их-то в Петербурге, экономии ради, и решили перевезти сюда, хотя, говоря по совести, и новые не обошлись бы дороже. А зато, если бы стояли эти здания на своих местах, так не было бы на Ходынке тех рвов и ям, которые даже заровнять не догадались устроители, а ведь в этих-то ямах и погибло больше всего народу.

И вижу я, что моя публика смутилась, а Савва Морозов даже бутылку шампанского отставил в другую сторону, хотя у меня фужер был пустой. Только один Бугров поддержал меня:

— А знаешь, ты это верно… Не сломай — несчастья не было бы.

Архитектор открыл рот, да так и остановился…

На мое или на их счастье, вдруг грянул оркестр и одновременно раздался колокольный «камаринский». Как-то перевели разговор на колокола, а потом стали расходиться.

— Николай Александрович, где вы сегодня вечером? Приходите в театр, — предлагает Бугрову Морозов.

— Чего я там не видал? Как голые девки через голых мужчин сигают?

В Москве Бугров бывал только в Большом театре.

Вот тут-то, смотря на чиновничьи форменные фуражки министерства финансов, я вспомнил слова моего отца.

Я всегда вспоминал эти слова не вовремя. Надо было бы их вспомнить и на другой день, на каком-то торжественном обеде, где я проговорил то, что было не по месту и не по времени, да еще пустил какой-то экспромт про очень высокопоставленную особу.

Дня через три после этого меня вызвали в Выставочный комитет и предложили мне командировку — отправиться по Волге, посетить редакции газет в Казани, в Самаре, в Симбирске и в Саратове и написать в газетах по статье о выставке, а потом предложили проехать на кавказские курорты и тоже написать в курортных газетах. Тут же мне вручили пакет, в котором было пятнадцать новеньких, номер за номером, радужных сторублевок, билет на шелковой материи от министерства путей сообщения на бесплатный проезд в первом классе по всей сети российских железных дорог до 1 января 1897 года и тут же на веленевой бумаге открытый лист от Комитета выставки, в котором просят «не отказать в содействии В. А. Гиляровскому, которому поручено озаботиться возможно широким распространением сведений о выставке».

Это было так «безапелляционно» предложено, что я положил в карман полученное и отправился к Амфитеатрову, но он внезапно уехал в Москву.

И опять вспомнил слова моего отца, когда ехал на пароходе вниз по матушке по Волге, но на этот раз я уже не сожалел о том, что на выставке забыл их.

Вначале выставка пустовала. Приезжих было мало, корреспонденты как столичных, так и провинциальных газет писали далеко не в пользу выставки и, главное, подчеркивали, что многое на ней не готово, что на самом деле было далеко не так. Выставка на ее 80 десятинах была так громадна и полна, что все готовое и заметно не было. Моя поездка по редакциям кое-что разъяснила мне, и газеты имели действительно огромное влияние на успех выставки.

Из Нижнего я выехал в первой половине июня на старом самолетском пароходе «Гоголь», где самое лучшее было — это жизнерадостный капитан парохода, старый волгарь Кутузов, знавший каждый кусок Волги и под водой и на суше как свою ладонь. Пассажиров во всех трех классах было масса. Многие из них ехали с выставки, но все, и бывшие, и не бывшие на выставке, ругались и критиковали. Лейтмотив был у всех:

— Открыли неготовую выставку.

— Что же не готово на выставке? — спросил я одного низового купца.

— Мало ли что.

— Нет, что именно?

— Много еще чего не хвата-ат.

— Да вы подробно осмотрели все?

— Так, раза два заходил с приятелем… Панораму глядели, моржей ученых смотрели.

— А еще что?

— Минина — Пожарного видели… А потом в «Эрмитаж» зашли… Хотели еще вчера поглядеть, да не попали, в городе заканителились… Известно, дело наше хлебное, торговое — тот хорош, другой надобен… Да мы еще побываем на выставке, когда она вся сполна будет.

— Да как же вы можете говорить о выставке, когда вы, кроме «Эрмитажа» и моржей, ничего не видели?

— А в газетах-то пишут.

Я взял купца за руку, подвел его к вывешенному объявлению и показал красную строку: «Выставка вполне закончена». Выругал купец газетчиков и уверовал. Так и дома

скажет. А таких купцов тысячи. Другие, оказывается, и совсем не были на выставке, а ругательски ругаются со слов газет и из желания хоть как-нибудь да поругать начальство, блеснуть перед слушателем смелостью и полиберальничать…

Такими же моськами оказались и многие корреспонденты и редакторы газет. Я переговорил со многими редакторами газет, которые мне пришлось посетить. Они охотнее печатали обличительные корреспонденции только потому, что обличительное читается лучше, показывает, что газета никого не боится, даже самого устроителя Витте всемогущего, которого все терпеть не могли.

— Любит, брат, это наша публика, — говорил мне один из приволжских редакторов, мой старый товарищ по Москве.

Другие редакторы обижались, что им прислали только по одному билету на выставку.

— Будь с нами полюбезнее выставка, мы бы ее поддержали… Вот мы и пишем, что она не готова, пусть почувствует.

— Да ведь это же неправда! А если я вам напишу совершенно противоположное?

— Это будет подрыв престижа газеты. Впрочем, дайте статью.

Я прошел в контору редакции и, заплатив девять рублей, сдал объявление о выставке, такое, какое вывешено было на пароходе и вывешивается всюду, а на другой День в редакцию сдал статью, от которой отказаться было нельзя: напечатанным объявлением о готовности выставки редактор сжег свои корабли.

В числе моих обязанностей было побывать попутно в городах у управляющих казенных палат и директоров Государственного банка с поручением им развесить объявление о выставке в учреждениях города. Мой открытый лист за подписью вице-президента выставки всеми любимого и уважаемого В. И. Ковалевского производил на них впечатление.

На пароходе «Гоголь» я познакомился с управляющим банка в Астрахани Швецовым, который весьма любезно принял для развешивания объявления и заметку в «Астраханском листке», чем дал мне возможность сэкономить неделю моей поездки. Из Царицына я поехал на Кавказ и на Дон. Я закончил мою поездку Кисловодском и потом уже в августе снова побывал на выставке, где был дружески встречен всеми: приезда Витте и всякого начальства тогда уже не ожидалось, публики было много.

О, какого мог бы разыграть я Хлестакова с этим билетом и открытым листом!

Министерский билет первого класса я скромно предъявлял контролю в вагоне и вводил в смущение железнодорожное начальство.

— Ваше превосходительство, пожалуйте, купе свободное есть.

Положительно, можно было зазнаться.

За кого они меня принимали, не знаю, но во всяком случае не за административно высланного газетного корреспондента.

Да и могли ли иначе выслать корреспондента «Нового времени», да еще такого неосторожного на язык в публичных местах!

Широко я попользовался этим билетом. Мотался всюду, по всей России, и на Кавказ, и в Донские степи, и в Крым, и опять на выставку приезжал, а зимой чуть не на каждую пятницу поэтов, собиравшихся у К. К. Случевского, ездил в Петербург из Москвы с курьерским. И за все это я был обязан встрече на улице с Амфитеатровым, который через три года дал мне еще более интересную работу.

«Россия»

В половине апреля 1899 года меня вызвал по телефону в Петербург А. В. Амфитеатров и предложил мне взять на себя обязанности корреспондента из Москвы и заведование московским отделением вновь выходящей большой газеты «Россия».

Совершенно неожиданно засверкала на газетном небосклоне эта

Беззаконная комета
Среди бесчисленных светил.

О самом появлении ее чуть не до самого дня выпуска и слышно ничего не было, и вдруг огромная, интересная газета, подписанная «Г. П. Сазонов — редактор-издатель». В газетном мире лицо совершенно неизвестное. Знали, что это ученый-экономист, человек, живущий своим трудом.

Но знали также, что фактический редактор и заведующий всем делом А. В. Амфитеатров и что на издание имеются огромные средства.

У Амфитеатрова никогда не было никаких средств. Был случай, что он вздумал держать театр, на который ухлопал несколько тысяч, и задолжал на много лет.

Помню я, что во время неудачной антрепризы я послал ему четверостишие, за которое даже он немного посердился.

Жаль, что ты Амфитеатров,
Жаль, что держишь ты театр…
Лучше был бы ты Театров
И ходил в амфитеатр!

Откуда деньги у газеты, я узнал случайно уже много после, когда в редакции Дорошевич познакомил меня с красивым, изящным брюнетом, одетым по последней моде.

— Матвей Осипович Альберт, наш издатель.

— Да мы уже давно знакомы, еще с выставки да и по Москве.

М. О. Альберт — я его знал в 1897 году директором Московского отделения немецкого Общества электрического освещения, где были пайщиками и крупные капиталисты, коренные москвичи. До выставки, говорят, он был служащим в одном из предприятий Мамонтовых, потом как-то сразу выдвинулся и в Петербурге уже очутился во главе Общества Невского судостроительного завода, где пайщиками были тоже главным образом немцы. Этот самый Альберт, ничего общего не имевший до того с печатным делом и мало кому ведомый, выбросил на газету целый капитал.

И вот огромная, интересная газета вышла 28 апреля 1899 года, когда кипела подготовка к Пушкинским торжествам в Москве, где уже с 26 апреля начались в Малом театре пушкинские спектакли и заседания в ученых обществах.

Газету выпустили в день десятилетия смерти Щедрина, и в ней огромный, в полстраницы портрет его с автографом, стихотворением Елены Буланиной и избранных, не без риска получить для первого номера цензурную кару, две полосы незабвенных строк автора из его «забытых слов».

А дальше блестящая информация, повесть Авсеенка и ряд интересных статей.

Так и пошел номер за номером… В объявлении стояли имена заведующих отделами: финансовым, экономическим, земским и крестьянским — Г. П. Сазонов, литературным и политическим — А. В. Амфитеатров, научным — профессор П. И. Ковалевский и д-р И. Л. Янушкевич, музыкальным — И. Ф. Соловьев и Я. А. Рубинштейн, иностранным — Л. Ю. Гольштейн, театральным — Ю. Д. Беляев, московским — В. А. Гиляровский, провинциальным — фельетонист В. М. Дорошевич и общественным — А. В. Амфитеатров.

* * *

Московские известия я давал в редакцию по междугородному телефону к часу ночи, и моим единственным помощником был сербский студент Милан Михайлович Бойович, одновременно редактировавший журнал «Искры», приложение к «Русскому слову», и сотрудничавший в радикальной сербской газете «Одъек». Его честность и деловитость мне были необходимы, я на него мог положиться как на самого себя. Я был знаком с его семьей,

жившей в Сербии: отец — учитель, сестра — учительница, мать и еще малолетние братья и сестры. Я с письмом Бойовича был у них в 1897 году, когда ездил в Белград, командированный Русским гимнастическим обществом, председателем которого я был, для участия на состязаниях, устраиваемых гимнастическим сербским обществом «Душан Сильный».

Во время моих отъездов из Москвы он заменял меня.

В газете помещалось много больших статей и фельетонов о Пушкине А. Фаресова, А. Зорина и др. Это было все ко времени, и каждая строчка о Пушкине читалась с интересом. Газета в Москве шла хорошо.

26 мая вместо еженедельного иллюстрированного приложения к газете был выпущен огромный портрет Пушкина в красках. Потом много лет я видел его в рамках на стенах москвичей…

Кроме телефона, вещи менее срочные посылались почтой. Одна из таких моих корреспонденции, напечатанная за полной подписью, начиналась так:

«Я сейчас имел счастие целовать ту руку, которую целовал Александр Сергеевич Пушкин».

Да, это было так. Мне удалось узнать, что еще жива В. А. Нащокина и ютится где-то в подмосковном селе Всехсвятском. Я нашел ее на задворках, в полуразрушенном флигельке. Передо мной на ветхом кресле сидела ветхая, ветхая старушка, одна-одинешенька. Ее сын, уже с проседью, я видел его после на скачках в потрепанном виде, был без места и ушел в Москву, а его дети убежали играть.

Я всю беседу с ней описал тогда в «России», а теперь помню только, что она рассказывала о незабвенных вечерах. Пушкин всегда читал ей свои стихи, они сидели вдвоем, когда муж задерживался в Английском клубе. Я рассказал ей о чествованиях Пушкина. Она как-то плохо восприняла это и только повторяла:

— Все Пушкин, все Пушкин!

Прощаясь, я поцеловал у нее руку, и она сказала, подняв на меня свои старческие глаза:

— Пушкин всегда мне руку целовал… Ах Пушкин, все Пушкин!

Я послал корреспонденцию в «Россию», а рассказ о Нащокиной — в Пушкинскую комиссию. Дряхлую старушку возили в одно из заседаний, чествовали и устроили ей пенсию.

* * *

Иногда приходилось добывать сведения, которые по цензурным, политическим и другим условиям московские газеты не печатали, но мне стесняться было нечего, время от времени проскакивали сенсации.

В Москве существовала чайная фирма В-го, имевшая огромный оборот. Этого чаю в Москве почти не продавали, но он имел широкое распространение в западных и южных губерниях. Были города, особенно уездные, где другого чаю и достать нельзя было. Фирма рассылала по всем этим торговцам чай через своих комиссионеров, которые оставляли товар в кредит, делая огромную скидку, какой не могли делать крупнейшие московские фирмы — Поповы, Перловы, Филипповы, Губкины.

* * *

Встречаю как-то на улице знакомого татарина, который рассказывает мне, что чайная фирма В. выписала из голодающих деревень Заволжья большую партию татар, которые за грошовое жалованье, ютясь с семьями в грязи и тесноте, работают по завертке чая. Они живут на своих частных квартирах, которые стали очагами заболевания сыпным тифом. Много их умерло, а живые продолжают работать, приходя из своих зараженных квартир рассыпать и завертывать чай. Я тотчас же отправился на их квартиры в переулках близ

Грачевки и действительно нашел нечто ужасное: сырые, грязные помещения набиты татарскими семьями, где больные сыпным тифом, которых еще не успели отправить в больницу, лежат вместе со здоровыми… Говорил, спрашивал, выслушивал жалобы от всех, кто не боялся со мной говорить. Зашел в местный участок, где застал дежурного околоточного, который ровно ничего не знал об очаге сыпного тифа, так как это был не его околоток. Разыскал помощника пристава, но он мне ответил нехотя:

— Да, что-то такое я слышал, только я этим не заведую.

Я прямо отправился на междугородный телефон, вызвал Амфитеатрова, рассказал подробности и продиктовал заметку. Через день газета появилась в Москве. Это была сенсация. Ее перепечатали провинциальные газеты, а московские промолчали… От чая этой фирмы стали бояться заразиться сыпным тифом. Вечером ко мне приходили от фирмы, но меня не застали дома. На другой день явились два представителя ко мне, как к заведующему отделением «России», и начали требовать имя автора, грозя судом. Я их попросту выгнал. Но каким-то путем все-таки узнали, что автор заметки я. Часа через три явились два других франта, ласковые и заискивающие, совершенно просто и откровенно предложили мне крупную взятку, только чтобы я написал опровержение. Этих уж я так выгнал (жил в третьем этаже), что отбил навсегда охоту приходить с такими предложениями, и тотчас же вызвал Амфитеатрова, подробно рассказал о предложенной взятке и просил, чтобы редакция не печатала никаких опровержений, потому что известие верно и никто судиться не посмеет.

Шли дни. Разговор — по всей Москве, а в московских газетах ни строчки об этом ужасном факте. Ко мне зашел сотрудник одной газеты, человек весьма обделистый, и начал напевать о том, что я напрасно обидел фирму, что из провинции торговцы наотрез отказываются брать их чай и даже присылают его обратно. Он мне открыто предложил взять взятку наличными деньгами и, кроме того, принять на несколько тысяч объявлений для газеты.

Амфитеатров по телефону передал мне, что его осаждают знакомые и незнакомые просьбами поместить опровержение и что тот самый сотрудник, который предложил мне взятку, был у него тоже и привозил деньги за объявления в газету, но редакция отказала наотрез печатать их. Между прочим, в числе ходатаев за фирму он назвал одного журналиста, сотрудничавшего в «Новостях» Нотовича. Незадолго перед этим этот журналист судился в Московском окружном суде за какое-то неважное дело и был оправдан. Председатель суда Е. Р. Ринк, известный остроумием, во время допроса обратился к нему:

— Подсудимый, мне помнится, несколько лет назад вы уже судились у нас… Это… Это было дело…

— На политической подкладке! — перебивает его подсудимый.

— А мне помнится, на лисьей. — Взрыв хохота в зале: многие помнили дело о какой-то комбинации с шубой.

В конце концов фирма щедро расплатилась с татарами, помогла пострадавшим, отправила семьи на родину и еще шире развила торговое дело, конечно, понеся стотысячные убытки первое время.

Главное, что меня порадовало, это то, что семьи татар были обеспечены.

Как-то утром ко мне явился мулла с депутацией от московских татар, благодарили меня, что заступился за несчастных голодающих, и поднесли мне благодарственный адрес с сотней подписей на русском и татарском языках.

Нечто о старом

Это было в декабре 1899 года, а ранее — в 1897 году — я был командирован Русским гимнастическим обществом в Сербию на всенародный гимнастический праздник, устраиваемый сербским обществом «Душан Сильный».

Приходится рассказать об этом празднике, хотя, по-видимому, трудно увязать репортерскую работу с гимнастикой!

А вышло так, что не будь я гимнастом, не участвовать бы мне в нашумевшем на весь мир событии.

Сербия в это время, в 1897 году, была маленьким княжеством, населенным прекрасным трудящимся народом. Она управлялась после убийства князя Михаила Обреновича его племянником Миланом, вступившим на престол четырнадцатилетним с дурными пороками юношей.

С детства опекуны воспитывали Милана в Париже, где он не столько изучал науки, сколько веселился. Докняжив до 21 года, Милан задумал жениться, и ему подсватали бессарабскую красавицу с огромным состоянием, дочь русского полковника Наталью Кешко.

Милан рассчитывал на приданое, но умная Наталья удержала за собой право распоряжения своим состоянием, и Милан опустошал расходами на свой двор казначейство Сербии, которая после двух войн (1876 и 1877/78 годов) была в 1882 году из княжества провозглашена королевством, к великому неудовольствию народа, боявшегося увеличения налогов.

Налоги на содержание короля возросли, Наталья денег не давала, и Милан стал ее врагом. В королевстве образовались две партии — Милана и Натальи. Милан окончательно запутался в долгах и ухитрился заложить почти все свое королевство в австрийских банках.

Народное недовольство росло. Милан, запутанный банками, попал в зависимость Австрии, стал проводить ее политику.

Сербии грозило банкротство, и окончательно запутавшегося в долгах и интригах Милана заставили передать королевскую власть своему малолетнему сыну Александру и его регентам.

Милана «выслали» из пределов Сербии с обязательством не возвращаться до совершеннолетия сына и выдали ему миллион франков отступного.

Регенты выслали также и Наталью, но она скоро вернулась, завладела воспитанием сына и фактически стала королевой.

В это время я и попал в Сербию. Король Александр тогда не был еще женат на сербке Драге.

Первого июня начались торжества освящением знамени «Душана Сильного», а затем на площади крепости в присутствии тысяч народа начались гимнастические игры и состязания гимнастов, собравшихся со всех славянских земель.

Белградские соколы-душановцы, более пятисот человек, были в своей красивой форме, а провинциальные члены общества в своих национальных костюмах: сербы-магометане — в фесках, сербы-горцы — в коричневых грубого сукна куртках, с кинжалами и пистолетами за строчеными поясами. Было несколько арнаутов. Один, бывавший в Батуме и на Кавказе, говорил по-русски.

Мы с ним беседовали. Он звал меня поехать к нему в гости, в Албанию, куда европейцев в то время не пускали. Он обещал мне полную безопасность у себя в стране, где был каким-то старшиной, и дал свой адрес и адрес его земляка, жившего в Белграде, к которому я мог бы обратиться.

Самыми яркими были сремские горцы, обвешанные оружием, в шитых украинских рубахах, чумарках и бараньих папахах, лихо сдвинутых на затылок.

Из-под папахи змеились длинные чубы, черневшие на бритых головах, у пожилых висели громадные усищи вниз — совсем наши запорожцы далеких времен!

Эти сремцы были потомками запорожцев, бежавших при Екатерине во время разгрома Сечи частью на Кубань, а частью в Турцию. Они заботливо хранили свои обычаи и одежды.

Славный был народ, молодец к молодцу, ходили неразлучно, кучкой, и все были прекрасные гимнасты.

Три дня продолжались состязания, заканчивавшиеся каждый день обедом участников состязания и загородными поездками на пароходе по Дунаю. Обеды сопровождались речами, от которых корчились австрийские сыщики.

На третий день раздавались награды лично королем, и когда первым было объявлено

мое имя, имя русского, — а к русским тогда благоволили, — весь цирк, где происходило заседание, как один человек встал, и грянули «ура» и «живио».

Я получил первую награду — большую золотую медаль, меня окружили сербские женщины и подарили мне подарок: шитый золотом шарф.

Вечером в гостиницу Гранд-отель пришла депутация с приглашением меня, как получившего награду, на ужин.

Я оделся и вышел на улицу, где с факелами и знаменами меня встретили душановцы и, скрестив надо мной два знамени, повели меня среди толп народа на ужин.

На другой день я принадлежал самому себе и с двумя из новых друзей-душановцев гулял в крепостном саду.

Чудесный вид открывался с этой высокой, укрепленной горы старой турецкой крепости с ее подземными тюрьмами и бездонными колодцами, куда в старину бросали преступников.

Под нами сливались громадные реки: Дунай и Сава, и долго еще в общем русле бежали две полосы — голубая и желтая. Красота была поразительная, а за рекой виднелись мост в Землин, поля и сады Венгрии.

Удивительной красоты место, напоминающее откос в Нижнем Новгороде над слиянием Волги и Оки!

Мы гуляли с публикой по саду. Содержащиеся в казематах крепости каторжники также гуляли между публикой, позвякивая цепями, и никто не подходил к ним, никто не заговаривал с ними, зная, что этого нельзя — таков закон.

Невдалеке от нас на садовой скамейке сидел часовой с ружьем в руках, кругом гуляла публика, кандальники работали в цветниках, а один из них самым спокойным манером намыливал лицо часовому, брал у него из рук бритву и брил его.

На другой день я выехал в Россию. На вокзале меня провожали с музыкой и почетным караулом.

* * *

Прошло два года. Я вел репортерскую работу, редактировал «Журнал спорта» по зимам, чуть ли не каждую пятницу выезжал в Петербург на «пятницы К. К. Случевского», где собирались литераторы, издававшие журнал «Словцо», который составлялся тут же на пятницах, и было много интересных, талантливых людей из литературного общества столицы, и по осеням уезжал в южнорусские степи на Дон или Кавказ.

Больше всего в этих местах я метался из зимовника в зимовник задонских степей, ночуя иногда даже в грязных калмыцких кибитках.

Здесь я переживал далекое прошлое, объезжал, как простой табунщик, неуков, диких лошадей, прямо у табуна охотился в угон за волком с одной плетью. Бывало:

По курганам, по бурьянам
На укрючном маштаке
На табун лечу с арканом
В разгулявшейся руке…

Огромное количество материала давали мне мои поездки в южнорусские степи.

* * *

Репортерство бросило меня и в конский спорт.

В 1882 году редакция командировала меня дать отчет о скачках, о которых тогда я и понятия не имел.

С первого же раза я был поражен и очарован красой и резвостью скаковых лошадей. Во время моих поездок по задонским зимовникам еще почти не было чистокровных

производителей, а только полукровные. Они и тогда поражали меня красотой и силой, но им далеко было до того, что я увидел на московском ипподроме.

Как журналист, я имел право входа в трибуны, где перезнакомился со скаковым миром, встречался раза два с приезжавшими в дни больших призов гвардейскими ремонтерами, которым когда-то показывал лошадей на зимовнике.

Конечно, никому из них и на ум не могло прийти, что они разговаривают с табунщиком, которому в зимовниках давали рубли «на чай».

В это время на моих глазах расцвел на скачках тотализатор.

Знаменитый московский адвокат Ф. Н. Плевако в одной из своих защитительных речей на суде говорил: «Если строишь ипподром, рядом строй тюрьму».

И прав был Федор Никифорович!

После юбилейных Пушкинских торжеств 1899 года меня вызвали на редакционное совещание в Петербург.

Первым в редакции меня встретил редактор-издатель П. А. Сазонов, торопившийся куда-то по делу.

— Очень рад, что приехали, идите, там ждут!

В редакторском кабинете я застал А. В. Амфитеатрова, В. М. Дорошевича и Яшу Рубинштейна, талантливого юношу, музыкального критика, сына Антона Рубинштейна.

Остальные участники совещания уже ушли.

А. В. Амфитеатров был главной силой в редакции, и его слово имело решающее значение.

После общих разговоров А. В. Амфитеатров сказал:

— Гиляй, нам для газеты позарез нужно сенсацию: вся надежда на тебя.

— Все, что интересного будет в Москве, не прозеваю!

— Нет, надо что-нибудь эффектное, крупное, Москвы нам мало!

— Вроде Стенли, открытия Африки, — пошутил Яша.

— Ладно, есть, — ответил я.

Вспомнился мне недавний разговор с сотрудником московских газет сербом М. М. Бойовичем. Он мне говорил, что хорошо бы объехать дикую Албанию, где нога европейца не бывала, а кто и попадал туда, то живым не возвращался.

— У моего отца, — говорил М. М. Бойович, — есть друг, албанец, которого он когда-то спас от смерти. Он предлагал отцу совершить это путешествие, обещался сопровождать его и вернуть живым домой. В Албании существует обычай, что если за своего спутника кто, по местному выражению, «взят на бесу», то его не трогают.

При этом разговоре М. М. Бойовича я припомнил своего друга арнаута, приглашавшего меня к себе в гости в Албанию.

Об этом я рассказал А. В. Амфитеатрову и В. М. Дорошевичу, которые пришли в восторг от этого предложения, приказали мне выдать крупный аккредитив, так как предстояло купить оружие и лошадь.

На другой день я выехал в Москву, получил заграничный паспорт и через три дня отправился на Балканы.

В кармане у меня были письма в редакцию газеты «Одъек» и ее редакторам Пашичу и Протичу и к учителю М. М. Бойовичу от его сына литератора, студента Московского университета.

В Сербии в это время королем был безвольный юный Александр, но Милан вновь вернулся в Сербию и руководил им, фактически будучи королем.

Все помышления Милана сводились к тому, чтобы ликвидировать партию радикалов, мешавшую самовластию фактического короля.

Двадцать четвертого июня в Белграде на Милана было произведено покушение: неизвестный человек выпустил в него на главной улице четыре пули.

Подъезжая к Белграду, я узнал о только что совершившемся покушении на Милана, и уже на вокзале я почувствовал, что в городе что-то готовится на том вокзале, где два года

назад меня торжественно встречали и провожали.

Свободно, независимо, с хорошим настроением, как и тогда, я вышел из вагона, ничего не подозревая, но мрачный полисмен-офицер внимательно взглянул на меня и с непреклонным видом потребовал паспорт. Это меня обозлило. Сразу почувствовалось другое настроение, совсем противоположное тому, какое было.

Ответив ему таким же взглядом, я сунул ему в руки паспорт и сказал:

— Прислать ко мне, в Гранд-отель, — и ушел. Наступил вечер. Обычно оживленного Белграда нельзя было узнать: кафены и пиварни были закрыты, в домах не видно огня, на улицах никого — только блестели ружьями патрули.

Разузнав кое-что в гостинице, где меня встретили как старого знакомого, я вынул из чемодана письма, положил их в карман и, несмотря на просьбы прислуги не выходить, отправился к Пашичу, к Стояну Протичу и в редакцию «Одъек». У квартиры Протича какой-то добрый человек мне ответил:

— Ухапшили.

«Одъек» оказался опечатанным, и все сотрудники были арестованы, так же как и редактор.

Зашел в пиварню «Империаль», где все столы были заняты полицией и офицерами. Никто из знакомых ко мне не подходил, все шушукались и дико на меня смотрели. А были знакомые лица.

Один из посетителей, когда я, расплатившись, выходил, отделился от группы и, козыряя, вкрадчиво спросил, по-шпионски:

— Куда путуете?

— В Тамбов, — ответил я, выходя, оставив его в позе вопросительного знака.

На другой день, не успел я еще встать, в номер вошли два приятеля-душановца и испуганным голосом советовали мне уехать, намекая, что Милану выгодно обвинить в участии в покушении кого-нибудь из русских.

Я расхохотался им в лицо — и после раскаялся. Они были правы: меньше риска было бы уехать в тот день, но тогда не стоило бы ехать — это позор для журналиста убежать от такого события.

Душановцы, сообщив, что у них сегодня общее собрание в «Империале», ушли, хотя я и просил их подождать, чтобы идти вместе в банкирскую контору Андреевича получить перевод.

Я понял потом, почему они торопились.

В конторе Андреевича я получал деньги, окруженный полицейскими офицерами. Один из них спросил меня, как это я, корреспондент, ухитрился так вовремя приехать к событию и за четыре дня до него перевести деньги. Я ответил ему довольно дерзко по-русски, и он больше ко мне не приставал.

Из банка я отправился на скупщину «Душана Сильного», где заседало человек двести. Меня выбрали почетным председателем.

От знакомых я узнал подробности покушения на Милана. Он около пяти часов вечера, в коляске со своим адъютантом, майором Лукичем, возвращался из главной канцелярии.

«Аттентатор», как называли покушавшегося на убийство, заметив приближающуюся коляску, махая бумагой, сложенной в виде прошения, подбежал и начал стрелять.

После первого выстрела Милан выскочил из коляски и начал ползать по мостовой, стараясь скрыться от пули, но последовал еще выстрел и ранил Милана сзади, слегка поцарапав кожу.

Пока Милан ползал и прятался за коляской, «аттентатор» ранил в руку Лукича, а сам, выстрелив себе в шею, бросился на набережную реки Савы и прыгнул в воду, откуда был скоро извлечен и арестован.

Он оказался Джурой Княжевичем, которого Милан знал, когда он служил лакеем при купальне.

За месяц до покушения Княжевич уехал в Бухарест, пожил там, снова вернулся в

Белград и стал жить в гостинице под видом приезжего купца.

Накануне совершения покушения Княжевич начал чистить старый револьвер, делать патроны и на следующий день произвел бутафорское покушение на короля.

Милан организовал покушение, которое ему было необходимо как предлог для уничтожения радикалов.

Когда кто-то из собравшихся предложил выразить сочувствие «королю Милану», я в резких выражениях отказался от звания председателя, и собрание скомкалось.

Многие похватали шляпы и быстро разошлись.

Около меня осталось только шестеро друзей, угостивших меня обедом, который был устроен в каком-то глухом саду, в старой беседке, куда собрались поодиночке.

Во время обеда мне сообщили имена десятков арестованных радикалов.

В городе была полная паника, люди боялись говорить друг с другом, ставни всех окон на улицу были закрыты. По пустынным улицам ходили отряды солдат и тихо проезжали под конвоем кареты с завешенными окнами.

На мои вопросы по поводу «аттентатора» все молчали и только махали руками, чуть не зажимая рот.

Один прямо предупредил, что за такие слова расправа коротка — не посмотрят, что русский. Его слова подтверждали расклеенные всюду афиши, гласившие, что объявлено «ванредно станьо» — осадное положение.

Было бесконечно жаль видеть Белград, который так недавно я видел ликующим, в таком терроре. Мне было ясно, что Милан воспользуется обстоятельствами и сосчитается со своими противниками.

Я решил, может быть необдуманно, рискованно и — в первой попытке — неудачно, попробовать помочь в первую очередь арестовываемым радикалам.

В пиварне «Империаль» написал и отнес на телеграф телеграмму в «Россию», написанную по-русски французскими буквами, следующего содержания:

«Милан придумал искусственное покушение с целью погубить радикалов. Лучшие люди Сербии арестованы; ожидаются казни, если не будет вмешательства держав».

Конечно, этим я сделал большую ошибку, о чем узнал уже через час.

Моя телеграмма не была отправлена, и милановские сторонники такого человека, который может пустить по свету правдивое сообщение о событиях в Сербии, должны были ликвидировать.

У Милана расправа с такими людьми была короткая. На паспорте таких людей отмечалось, что владелец его выбыл из Сербии, а чемодан и паспорт бросали на вокзале, например, в Вене.[5]

Все эти белградские события происходили 27 июня.

Казематы крепости были переполнены «ухапшенными», из коих 37, с Пашичем, Протичем и Николичем, были приговорены («преким») судом Милана к тайной казни.

В ночь на 29 июня, Петров день, над Белградом был страшный тропический ливень с грозой. Я сидел у окна гостиничного номера и видел только одно поминутно открывающееся небо, которое бороздили зигзаги молний. Взрывы грома заглушали шум ливня.

Около полуночи ко мне в номер вошли два моих друга в полной военной форме.

— Идем, скорей, скорей! Иначе будет поздно! Сейчас за тобой придут. Скорей!

Подали мне пальто и шапку. Мы вышли, идем по коридору, вдруг я хватился своей табакерки — забыл ее на окне!

— Сейчас вернусь. Я забыл табакерку!

— Идем! Ты с ума сошел!

— Не оставлю табакерки! — крикнул я и побежал назад.

Друзья замерли на месте. Я вскоре вернулся, и мы вышли на улицу. Ливень лил стеной.

---

[5] Это мне, прямо намекая на мое положение, рассказали два моих друга

Мы брели по тротуарам по колено в воде, а с середины улиц неслись бурные потоки.

Друзья только в эти минуты наперерыв, перебивая друг друга, рассказали, что мое счастье было в том, что я забыл табакерку. В те минуты, когда я за ней бегал, по коридору прошел военный обход, который арестовал бы меня, и утром я был бы уже удавлен.

Мы спустились к Дунаю, и друзьям удалось устроить меня на венгерский пароход.

* * *

К утру погода прояснилась. Я лежал в каюте венгерского парохода и притворялся спящим.

Я слышал шаги многих людей на палубе, но тихо лежал в каюте и встал только когда пароход отошел от белградской пристани. Я поднялся на палубу. Восход был чудный. Я любовался удалявшимся от меня Белградом, зеленевшими садами.

Перед каждой сербской пристанью на правом берегу Дуная я уходил в каюту и запирался, опасаясь сербских сыщиков. Зато, когда пароход остановился на венгерской пристани Оршаве, я дал в газету «Россия» такую телеграмму:

«Оршава. 29 июня. В Белграде полное осадное положение. Установлен военно-полевой суд. Судьи назначаются Миланом Обреновичем. Лучшие, выдающиеся люди Сербии, закованные в кандалы, сидят в подземных темницах. Редакция радикальной газеты «Одъек», находящейся в оппозиции к Милану, закрыта. Все сотрудники и наборщики арестованы. Остальные газета поют Милану хвалебные гимны. Если не последует постороннее вмешательство, — начнутся казни. В. Гиляровский».

Она была напечатана в «России» 30 июня за моей подписью, потому что в Петербурге имелись слухи о моем аресте. В том же номере газеты была напечатана телеграмма другого сербского корреспондента, сообщавшая о моем аресте:

«Базиас. 28 июня. В Белграде господствует полнейшая паника. Среди лиц, принадлежащих к радикальной партии, произведена масса арестов; в числе арестованных находится один русский корреспондент. Корреспонденция с заграницей становится невозможной, так как письма на почте перехватывают. Выехал из Белграда».

Эта телеграмма не печаталась «Россией» до получения известий от меня.

Моя телеграмма в газету через петербургскую цензуру попала в министерство иностранных дел, которое совместно с представителями других держав послало своих представителей на организованный Миланом суд. Этот суд должен был приговорить шестьдесят шесть обвиняемых вождей радикалов с Пашичем, Протичем и Николичем во главе к смертной казни.

Благодаря вмешательству держав был казнен только один, стрелявший, Княжевич, сторож при купальне, у которого с Миланом были свои счеты и которого Милан принес в жертву.

Остальные шестьдесят пять были сосланы в Пожаревацкую каторгу, где и были до убийства короля Александра и Драги.

Мои телеграммы с дороги печатались в «России», перепечатывались не только русскими, но и зарубежными газетами, вызывая полное презрение к Милану, которого вскоре изгнали из Сербии.

* * *

В Петербург я возвращался из-за границы через Москву.

Никогда не забыть мне первой встречи по возвращении: соскакиваю с пролетки — багажа у меня никакого, все осталось в пользу Милана в Белграде, равно как и паспорт у коменданта Белграда, — отдаю извозчику деньги. Вдруг передо мной останавливается с выпученными глазами и удивленно раскрытым ртом М. М. Войович:

— Ты, Гиляй!

— Здравствуй, Милаша! — ответил я, обнимая и целуя его.

Насилу пришел в себя М. М. Бойович. Радовался и плясал на лестнице. Оказывается, что он не считал уже меня в живых.

Утром он получил телеграмму из Землина от своего корреспондента, что я тайно казнен Миланом, и он торопился в Сербское подворье, чтобы заказать обо мне панихиду, перед этим зашел ко мне на дом, чтобы приготовить мою семью к известию о моей гибели.

Вечером я выехал в Петербург, радостно встреченный редакционными друзьями, сообщившими, что мои корреспонденции из Белграда перепечатываются газетами, а «Россия» увеличила свой тираж. Редакция чествовала меня обедом за газетный «бум», свергнувший короля. За обедом из рук в руки ходила моя табакерка, которой косвенно я был обязан спасением.

* * *

Благодаря положению редактора одного из спортивных журналов тех времен я работал несколько лет в Главном управлении государственного коннозаводства. Работа считалась почетной, и жалованья не полагалось.

При зачислении в Главное управление государственного коннозаводства я избрал себе степное коневодство и выговорил право не являться в канцелярию, а материалы, которые обязан был доставлять для казенного журнала «Коннозаводчество», присылал почтой.

Получив должность и звание «корреспондента Главного управления государственного коннозаводства», я имел право входа на все ипподромы и конские заводы, что мне как редактору «Журнала спорта» было очень полезно.

Во время этой работы я особенно счастливым чувствовал себя на Дону, хотя не забывал Заволжских степей, Кавказа и Крыма.

В Задонье, на зимовниках, я блаженствовал. Обыкновенно приезжал к управляющему казенным пунктом Гавриле Яковлевичу Политковскому, и от него уже уезжал в самые глухие калмыцкие Дербенты, причем брал с собой специально для калмыков корзину с разными лакомствами: булками, бубликами, леденцами и другой снедью.

Уезжал я обычно в зимовники на паре в легком экипаже, ехал не торопясь, имея всегда в тележке кулек бубликов или булок, и раздавал их встречным пешеходам.

Я на личном опыте хорошо знал, как дорого путнику в степи получить такой подарок; не раз я с завистью посматривал на проезжающих по степи, которые что-нибудь жевали.

Во время таких поездок мне приходилось встречать двух-трех человек, знакомых по моей бродяжной жизни. Но никому из них не приходило в голову, что я и есть бывший табунщик Леша!

В разговорах с ними я иногда показывал ловкость в работе арканом или выездке неуков, но все это они относили просто к моей ловкости и знанию конского дела.

* * *

Как-то с Г. Я. Политковским, еще по первым моим поездкам по зимовкам, заехали мы к лучшему коневоду Подкопаеву, которого я встречал, сравнительно еще молодым, у моего хозяина. Подкопаев был дружен с ним.

Тогда это был могучий, сухой богатырь — теперь же я встретил ожиревшего, но все еще могучего старика.

Интересный человек был Подкопаев. Человек романтический!

Зимовник Подкопаева в очень давние времена принадлежал какому-то казачьему генералу, а потом перекуплен был старым коневодом, у которого была единственная дочь, донская красавица.

Явился как-то на зимовник молодой казак, Иван Подкопаев, нанялся в табунщики, оказался прекрасным наездником и вскоре стал первым помощником старика.

Казак влюбился в хозяйскую дочь, а та в него. Мать, видя их взаимность, хотела их поженить, но гордый отец мечтал ее видеть непременно за офицером, и были приезжавшие ремонтеры, которые не прочь бы жениться на богатой коннозаводчице.

Отец раз и навсегда отказал простому казаку и удалил бы его от себя, если бы без него мог управлять зимовником.

Упорен был отец, но и дочь была в него: всем женихам отказывала.

Прошло десять лет терзаний двух влюбленных людей. Умер отец, и зимовник перешел к дочери. Только тогда, перестрадав десять лет, молодые поженились, и в память пережитых страданий Иван Николаевич Подкопаев, ставший владельцем зимовника, переменил прежнее тавро.

Лошади с выжженным новым Подкопаевским тавром очень ценились и на Дону и в кавалерии, и долго еще встречались на Дону лошади прекрасных форм с Подкопаевским тавром: сердцем, пронзенным стрелой!

Не один раз заезжал я к Ивану Николаевичу: было что послушать от него, было чему поучиться по коннозаводскому делу. Не одну руководящую статью я написал с его слов!

Любил меня старик и жена его, могучая старуха, сохранившая былую красоту в сединах своих. Таких я видел только среди низового донского казачества, среди гребенцов, на Кубани, на Тереке в старые годы.

Я у него баловался с неуками, но это его не удивляло: так будто и быть должно. Но ни одного слова, ни намека на прошлое я от него не слыхал, хотя, рассказывая о донских коневодах, он не раз упоминал мне имя своего друга, бывшего моего хозяина.

Памятью о старике осталась у меня огромная, тяжелая, плетенная из сыромятного ремня нагайка, которую он мне подарил как любителю охоты «в угон» — этой старинной, давно забытой казачьей и калмыцкой охоты.

— Владай! Еще сам холостым ее сплел, с полсотни волчаков ею захлестал, когда помоложе был! Теперь только сколько годов она без нужды висит, владай!

Той же осенью я обновил ее в нагайских степях. В последний раз я виделся с И. Н. Подкопаевым в Ростове-на-Дону на конской выставке, в 1899 году.

* * *

Во время выставки, на другой день раздачи наград, проездом на Кавказ, от поезда до поезда, остановился, чтобы ее посетить, Владимир Иванович Ковалевский, мой

старый знакомый по Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Он в это время занимал пост товарища министра финансов.

В. И. Ковалевский приехал на выставку без предупреждения, совершенно неожиданно, без всякой формы.

Я увидел В. И. Ковалевского, уже окруженного толпой начальства, и городской голова Хмельницкий подошел ко мне, чтобы представить меня В. И. Ковалевскому, но этого делать не пришлось, так как, обрадовавшись встрече, мы обнялись и расцеловались. Пока происходил осмотр выставки, в павильоне был сервирован завтрак.

В это время в устьях Дона уже третий год усиленно велись работы по углублению донских гирл, чтобы морские суда могли идти прямо до Ростова, без перегрузки товаров на лодки.

Во время завтрака ростовский городской голова Хмельницкий обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой отложить отъезд на сутки, чтобы сделать поездку на пароходе и осмотреть работы по углублению донских гирл, столь важные для развития торговли. В. И. Ковалевский отказался от этого предложения из-за срочной поездки на Кавказ, обещая обязательно заехать на обратном пути.

Забились во мне репортерские жилки! Какая славная корреспонденция для «России»: осмотр и описание донских гирл, о которых я так много слышал!

Я встал и обратился к В. И. Ковалевскому с просьбой не отказать в поездке, рассказав о

красоте донских гирл, в которых никогда не бывал, рисуя их по астраханским камышам. В заключение опять попросил В. И. Ковалевского остаться на сутки в Ростове, чтобы повидать очень важные для развития русской торговли работы в гирлах.

В. И. Ковалевский, когда я закончил обращение к нему, улыбнулся и сказал:

— Уговорил меня Владимир Алексеевич! Едем в гирла!

* * *

По окончании завтрака условились, что поездка в гирла состоится на следующий день в десять часов утра на пароходе «Коцебу».

Владимир Иванович Ковалевский уехал к себе в служебный вагон, а я — в гостиницу, заняться корреспонденцией.

Часу в десятом вечера, окончив писать, я вышел в коридор, чтобы поразмяться, и, к великому своему удивлению, увидал, что как раз против моего номера отпирал дверь только что вернувшийся домой старик-коневод Василий Степанович, у которого когда-то, в дни скитаний и приключений моей молодости, я работал в зимовнике, заявив ему, что перед этим я служил в цирке при лошадях.

Проверять мои слова, конечно, никому не приходило в голову, а о паспорте в те времена и в тех местах вообще никто и не спрашивал, да он никому и не был нужен. Судили и ценили человека по работе, а не по бумагам. Молнией сверкнули в памяти дни, проведенные мною в зимовнике, и вся обстановка жизни в нем.

Был зимовник Василия Степановича полной чашей, всего в нем было вволю.

Хозяйство по дому зимовника вели жена Василия Степановича и его племянница лет шестнадцати, скромная, малограмотная девушка. Газет и журналов в доме, конечно, не получалось. Табунщики были калмыки, жившие кругом в своих кибитках, и несколько русских наездников из казаков.

Я понравился хозяевам и быстро подружился со всеми, щеголяя цирковыми приемами, и начал объезжать неуков и вести разговоры с приезжавшими офицерами, покупателями лошадей.

Все это ярко мгновенно вспомнилось, пока я следил, как Василий Степанович отпирал ключом свой гостиничный номер.

— Василий Степанович, откуда так поздно? — спросил я.

— У Ивана Николаевича Подкопаева был.

Старик оглянулся и узнал во мне одного из находившихся во время приезда на выставку В. И. Ковалевского людей, который был представлен ему как корреспондент Главного управления государственного коннозаводства.

— Там у него все наши собрались.

— Жаль, что вы не представили свой молодняк на выставку, — сказал я. — Ведь, наверное, у вас еще сохранилось потомство рыжего Мирзы, что вы у Пловойского купили, из тех четырех, что из Перми привели?

— Да, да, от Мирзы! Он ведь только три года у меня пробыл, а какой богатый приплод оставил! Весь в себя, золотисто-рыжий! Он был настоящий Карабах чистых арабских кровей.

— Я таких два косяка у Подкопаева видел!

— Тут, наверное, и от моего Мирзы были, я парочку бурлачков его приплода уступил Ивану Николаевичу, а он меня бурлачком Туриновским наградил.

— Орлово-растопчинский?

— Да, ну и лошадь! Всех детей в себя клеил. Все в гвардию пошли.

Старик, почуяв во мне знающего конские дела человека, пригласил зайти к нему в номер побеседовать на сон грядущий.

— Эх, Мирза, Мирза! Век не забуду! Давно это было, а он и сейчас передо мной, золотой весь, как лимон на солнышке, — сказал, когда мы вошли в номер и уселись в кресла, Василий Степанович.

— Да, давно это было, Василий Степанович, ровно двадцать пять лет! Ровнехонько!

Старик удивленно посмотрел на меня,

— Верно. В семьдесят четвертом я привел его! Знаменитость! Вот и вы слыхали о нем!

— Н-да!

— Стало быть, вам кто-нибудь из ремонтеров-стариков сказывал. Им все любовались. Вы знаете хорошо наше дело! Никогда не думал, что у вас в Питере такие знатоки есть!

Я хлопнул старика по плечу:

— Ну, куме, запирай-ка свой номер, пойдем ко мне, поговорим по охоте!

Через минуту старик сидел у меня за столом, на котором стояло сантуринское и закуски.

Я сбросил надоевший за день коннозаводческий мундир и сидел в одной рубахе.

Разговаривали о выставке, о лошадях.

Я насилу уговорил, чтобы он звал меня по имени и отчеству.

— Вот вы бы ко мне на зимовничек пожаловали. У Подкопан вы бывали, он сам мне на выставке об этом

говорил, а теперь бы ко мне завернуть. Есть что повидать!

Слушал я старика, а все одна думушка в голове: эх, была не была! Да и давай ему описывать его зимовник тех времен вплоть до обстановки комнат, погреба с вином, и даже о здоровье жены Анны Степановны спросил. С растущим удивлением он смотрел на меня и шевелил беззвучно губами — будто слово не выходило, а сказать что-то очень хотелось.

— Это вам кто-нибудь рассказывал, — вздохнув, сказал он, даже улыбнулся и сообщил, что Анна Степановна стара стала.

— Милый Василий Степанович! Послушай, что я тебе скажу, только дай мне слово, что обо всем, что услышишь, никогда никому не заикнешься. Я тебя люблю, считаю своим другом и буду с тобой откровенен.

Смотрю в его опять растерянное лицо.

— Так даешь слово молчать? Даешь?

— Даю! Вот перед образом божусь, вечно молчать буду!

Старик встал, набожно перекрестился и сел, уставившись на меня.

— Изволь. Это было ровно двадцать пять лет назад. В тот год, когда ты купил у Пловойского Мирзу — одного из четырех жеребцов персидских.

— По-дружески мне, можно сказать, по охоте, генерал мне его уступил, так сказать, любя меня, — вставил старик.

— Купил ты Мирзу, а как вести на зимовник, не знаешь. Тогда ты один верхом на чалом в Великокняжескую приехал. Тебя тогда выручил Гаврило Руфыч! Помнишь?

— Как же, вахмистр… Кобылин, Гаврило Руфыч. Он мне своего малого дал, который с ним лошадь привел с Волги.

— Ну, а дальше что?

— Нанял я его за трояк. Боялся доверить малому, справится ли? А Кобылин говорит: «Ручаюсь за него, как за себя!» Молодчиной малый оказался: то шагом с моим чалым, а то наметом пустит. Я ему кричу, а он и не слушает. Разговорились дорогой, и малый мне понравился. Без места он в то время был. Я его к себе и принанял. Как родной он мне вскоре стал.

— Алешей его звали?

— Алешей, Алексей Ивановичем!

И старик опять с ошалелым лицом уставился на меня, ничего не соображая.

— Слушай же, Василий Степанович, да помни, что обещал наш разговор в тайне держать!

И я рассказал ему все подробности работы у него, напоминая каждую мелочь, вплоть до того, когда сбежал от него, испугавшись приехавшего за лошадьми жандармского полковника.

Что было с моим стариком, передать трудно: и слезы, и восклицания, и жесты

удивления — то руками всплеснет, то по бедрам себя хлопнет, слушает и слова не проронит!

Я рассказал ему мою дальнейшую жизнь до последнего дня.

А что я пережил в это время — ни в сказке сказать, ни пером описать.

Наконец старик со слезами опустился на колени, я тоже перед ним встал на колени, обнялись крепко и оба расплакались.

— А Женя что? — спросил я, когда мы успокоились.

— Убивалась она очень, когда вы ушли! Весь зимовник прямо с ума сошел. Ездили по степи, спрашивали у всех. Полковнику другой же день обо всем рассказали, — а он в ответ: «Поглядите, не обокрал ли! Должно быть, из беглых!» Очень Женя убивалась! Вы ей портмонетик дорогой подарили, так она его на шее носила. Чуть что — в слезы, а потом женихи стали свататься, она всех отгоняла.

Через пять лет, двадцати годков уж вышла замуж. Приехал к нам на Дон сибирский посевщик богатый, производителей покупать для своих табунов, Ермилий Мефодьевич! Степенный, из себя красивый, лицо такое, как на иконах архангелов пишут. У Подкопаева и еще кое у кого лошадей купил, потом ко мне заявился. Поехал с калмыком табуны осматривать, упал, да ногу и сломал. С месяц пролежал у меня, Женя за ним ухаживала, а потом замуж за него и вышла, в Сибири живут. Только детей у них нет, одна беда. Года три назад гостили у меня по осени. Вот поглядите!

Старик вынул из бумажника фотографию. В кресле сидит мужчина средних лет, гладко причесанный, елейного вида, с правильными чертами лица, окаймленного расчесанной волосок к волоску не широкой и не узкой бородой. Левая рука его покоится на двух книгах, на маленьком столике, правая держится за шейную часовую цепочку, сбегающую по бархатному жилету под черным сюртуком.

Справа стоит стройная красавица, типичная низовая казачка, про которых поют:

Брови черные дугой, Глаза с поволокой…

Она положила на его правое плечо руку — а в свесившейся кисти ее, на золотой цепочке, надетой на большой палец, маленький перламутровый портмоне, который я ей подарил тогда. На крышке портмоне накладка, рисунок которой слишком мелок, сразу я не рассмотрел, зато обратила мое внимание брошка — сердце, пронзенное стрелой. То же самое было на портмоне.

— Еще до свадьбы, когда я две недели как-то по зиме жил в Ростове, она просила меня сделать его на портмоне. Потом брошку уж жених подарил, сердце из рубинов, а стрела бриллиантовая. Кроме никогда ничего не носит.

— Тавро Подкопаева? — спросил я.

— Может, и Подкопая, а может, и нет! Расплакался старик.

При расставании Василий Степанович сказал, что если бы я не ушел тогда так внезапно, то зимовник был бы теперь мой, что его и Анны Степановны мечта была выдать Женю за меня замуж.

— Вот отчего она и убивалась и долго замуж не выходила — все ждала, и в последний раз, когда приезжала с Анной Степановной, они всплакнули о вас! Кому я теперь мой зимовник оставлю!

* * *

Утром, когда я после долгой ночной беседы отправился на пароход, номер Василия Степановича был пуст: он в семь утра уехал домой

К девяти часам утра мы все собрались на пароходе «Коцебу». На обеденном столе кают-компании был разложен план гирл и чертежи построек, и как только двинулся пароход, заведующий гирловыми работами подробно объяснил В. И. Ковалевскому то, что нам надлежало осмотреть.

День был сырой. Туман окутал Дон. Около часу пришлось ждать разводки железнодорожного моста. Наконец пароход двинулся, но через час пути опять встал: туман

сгустился до того, что далее следовать было нельзя.

Накрыли завтрак. Это, собственно говоря, был не завтрак, а ряд серьезных бесед присутствующих по всевозможным вопросам об образовании, торговле, промышленности.

В. И. Ковалевский задавал вопрос за вопросом, выслушивал ответы и закончил этот завтрак-конференцию вопросом:

— Почему у вас, в таком богатом торговом городе, нет высшего механического училища?

— Пробовали, хлопотали в Петербурге, но получили такой отказ, что и попечение отложили.

— Здесь все представители города в сборе, — сказал В. И. Ковалевский, — подавайте снова прошение, а я пошлю в Петербург телеграмму о необходимости в Ростове высшего учебного заведения и надеюсь на утвердительный ответ.

Министру финансов С. Ю. Витте была послана с гирл, с лоцмейстерского поста телеграмма, а мы в это время в тучах комаров и мошкары осматривали углубление канала, на котором громадные машины «Петр Великий» и «Донские гирла» черпали грунт, который нагружался в шаланды и отвозился в море.

Потом мы посетили пост, на котором был отличный дом со службами, окруженный прекрасным садом, телеграф и метеорологическая станция, таможня для осмотра судов, идущих с рейда, отстоящего в четырех верстах от гирл, — и не встретили ни одного здорового человека из живущих на посту, расположенном на низком берегу, в вечном тумане, в самой лихорадочной местности. Здесь все были больны малярией.

Этой поездкой я закончил свою репортерскую работу в последний год столетия.

* * *

В Москве я через некоторое время получил приглашение присутствовать на торжестве закладки высшего технического училища в Ростове-на-Дону и дружеское письмо одного из членов комитета с таким заключением:

«…Непременно приезжайте, ждем Вас как одного, пожалуй, главного виновника предстоящего торжества. Не уговори Вы Владимира Ивановича поехать на гирла, никакого бы высшего училища у нас никогда не было».

* * *

Я был на спектакле в Малом театре. Первая от сцены ложа левого бенуара привлекала бинокли. В ней сидело четыре пожилых, степенного вида, бородатых мужчины в черных сюртуках. Какие-то богатые сибиряки… Но не они привлекали внимание публики, а женщина в соболевом палантине, только что вошедшая и занявшая свое место.

Величественная, стройная фигура, глаза, которые, раз увидав, — не забудешь, и здоровый румянец не знающего косметики, полного жизни, как выточенного, оливково-матового лица остановил на себе мое внимание.

Я сидел в третьем ряду кресел. Что-то незнакомое и вместе с тем знакомое было в ней. Она подняла руку, чтобы взять у соседа афишу. А на ней мой кошелек — перламутровый, на золотой цепочке! А на груди переливает красным блеском рубиновая брошка — сердце, пронзенное бриллиантовой стрелой…

Вместо эпилога

С гордостью почти полвека носил я звание репортера — звание, которое у нас вообще не было в почете по разным причинам.

— Так, газетный репортеришко! — говорили некоторые чуть не с презрением, забывая, что репортером начинал свою деятельность Диккенс, не хотели думать, что знаменитый

Стенли, открывший неизвестную глубь Африки, был репортером и открытие совершил по поручению газеты; репортерствовал В. М. Дорошевич, посетивший Сахалин, дав высокохудожественные, но репортерские описания страшного по тем временам острова.

В. М. Дорошевич разыскал на Сахалине невинно осужденного Тальму, поверил его рассказу и, вернувшись в Москву, первым делом поведал это мне и попросил съездить в Пензу, на место происшествия, и, когда я собрал ему сведения, подтверждающие невиновность Тальмы, он в Петербурге, через печать устроил пересмотр дела.

Это было в 1898 году, когда он работал в газете «Россия».

Когда начался пересмотр, он послал сотрудника «России» Майкова в Пензу, снабдив его добытыми мною сведениями, а Тальма был вызван с Сахалина на новый суд. Майков следил за разбором дела и посылал в «Россию» из Пензы свои корреспонденции, в результате чего Тальма был оправдан.

Так же В. М. Дорошевич изучил дело осужденных братьев Скитских в Полтаве, добился через печать нового следствия, в результате которого было полное оправдание невиновных. В обоих случаях он был репортером. А В. Г. Короленко? Многие и многие русские писатели отдавали репортажу много сил, внимания и находчивости.

Я бесконечно любил это дело и отдавался ему весь, часто не без риска. И никогда ни одно мое сообщение не было опровергнуто. Все было строгой, проверенной, чистой правдой. И если теперь я пишу эти строки, так только потому, что я — репортер — имею честь быть членом Союза советских писателей.

Лето 1934 года. Картина.

Московские газеты в 80-х годах

Вот я и думаю: какая самая яркая бытовая фигура из московских редакторов газет 80-х годов прошлого века? Перебираю.

Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Вечная тема для либеральных остряков.

Сменивший его С. А. Петровский. О нем говорили только, что он наживал огромные деньги игрой на бирже на акции.

И. С. Аксаков — редактор «Руси». Но, впрочем, это был журнал, а не газета.

В. М. Соболевский со своими «Русскими ведомостями» был популярен только среди профессоров, судейских, земцев и либеральных думцев, но для Москвы не представлял из себя ничего характерного. Писал прекрасные передовые статьи.

Была еще «Русская газета», издавал ее книжник И. М. Желтов, но она скоро кончилась. Да был еще «Московский телеграф» — большая, хорошая газета, но через полгода ее закрыла цензура.

Н. П. Гиляров-Платонов был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а популярность его «Современных известий» составляли только два обличителя-фельетониста.

Н. П. Ланин — прекрасный заводчик шипучих вод и никчемный редактор либерального, но скучного «Русского курьера», совсем непопулярного в Москве.

Н. И. Пастухов, который говорил о себе: «Я сам себе предок», — самая яркая фигура. Безграмотный редактор на фоне безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету, сделал многих грамотными, приучил к чтению Охотный ряд, лавочника, извозчика, посетителя трактиров. Он единственная яркая бытовая фигура в газетном мире того времени, почему я с него и начинаю.

«Московский листок» издавал Н. И. Пастухов — крестьянин полуграмотный, державший в 60-х годах кабак у Арбатских ворот. Кроме извозчиков, мастеровых и бродяг в его кабаке имела пристанище группа бездомных студентов университета, которым Пастухов покровительствовал, поил, кормил и давал ночлег. В числе этой группы студентов были

двое, которые перевернули судьбу Пастухова и из кабатчика сделали потом редактора.

Эти двое были: филолог Жеребцов, работавший в «Русских ведомостях», в то время еще маленькой газетке, издававшейся П. С. Скворцовым и выходившей три раза в неделю, а потом уже сделавшейся ежедневной, — и второй — Ф. Н. Плевако, дававший тогда хронику, впоследствии знаменитый адвокат. Пастухов гордился, что у него бывают писатели, которые, набросав заметки, посылают его относить их в редакцию. Он бегал и относил. Присмотревшись, Пастухов сам стал узнавать происшествия, описывать их, давать свои безграмотные рукописи Жеребцову или Плевако, которые выправляли их и сдавали в печать сначала от своего имени. Студенты кончили курс — Жеребцов уехал в провинцию учителем, Плевако стал адвокатом, а Пастухов кабатчик-меценат прогорел и волей-неволей стал кормиться около газет, сделавшись репортером. До конца своей жизни он был безграмотным, но по добыванию сведений не было ему равного.

Кроме «Русских ведомостей», он работал в «Современных известиях», которые издавал около 20 лет известный публицист и ученый Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр духовной академии, славянофил, сотрудник И. С. Аксакова.

«Современные известия» — как значилось в программе, политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные, — были тогда самой распространенной газетой и весьма своеобразной: с одной

стороны, они блистали яркими политическими статьями, с другой — с таким же жаром врывались в общественную и городскую жизнь. То громили «коварный Альбион», то бочки отходников, беспокоившие по ночам Никиту Петровича, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка в нижнем этаже, окнами на улицу.

Это был человек именно не от мира сего.

Он спал днем, работал ночью. Редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал. Я только раз был у него, в мае месяце. Он по обыкновению лежал на диване в теплой шапке и читал гранки. Руки никому никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью второй редактор, его племянник, Ф. А. Гиляров, известный педагог и филолог. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

И шло бы все по-хорошему, да вдруг поступила в контору редакции на 18 рублей жалования некая барынька, Марья Васильевна, — и фактическое распоряжение кассой оказалось в руках у нее. К Никите Петровичу она вхожа стала и его к рукам прибрала. Но надо сказать, что о любовных делах здесь и помину не было. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла.

Ее место заступил управляющий Кац, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Никита Петрович отвечал всем одно и то же: «Ах, оставьте, как это все противно!» И, наконец, кажется в 1887 году «Современные известия» закрылись от запутанных дел. Хотя газета еще шла, но «Московский листок» ускорил ее кончину.

«Московский листок», во главе которого встал Пастухов, вскормлен «Современными известиями».

Пастухов в «Современных известиях» под псевдонимом Старый Знакомый каждую субботу писал московский фельетон, где, как тогда говорилось, «прохватывал и протаскивал» купца и обывателя, не щадя интимной жизни.

Москва читала эти фельетоны взасос.

А по воскресеньям такие же фельетоны, еще более хлесткие, писал под псевдонимом Берендей некто П. А. Збруев, полицейский чиновник.

И эти два фельетониста создавали успех газеты.

Пастухов, кроме того, писал фельетоны с нижегородской ярмарки, где в 1880 году познакомился с гр. Н. П. Игнатьевым, который и разрешил ему, человеку без всякого ценза,

за разные услуги, газету.

И еще за полгода почти до выхода «Листка» в «Будильнике» появилась карикатура: едет Пастухов на рысаке, в шубе, на санках. На лошади надпись: «Московский листок», а внизу подпись: «На своей собственной».

И 1 августа 1881 года Н. И. Пастухов выехал.

На своей собственной! Вышел 1-й номер «Московского листка». Фактическим редактором был Н. П. Кичеев, редактор «Будильника», старый литератор, чистый и изящный человек.

На другой день, 2 августа, он меня в саду театра А. А. Бренко, у которой я служил, познакомил с Пастуховым, а тот пригласил меня сотрудничать, и в номере от 4 августа я дебютировал театральными анекдотами, под псевдонимом Театральная Крыса.

Газета печаталась в типографии Погодина на Софийской набережной, близ Б. Каменного моста.

Владелец дома и типографии, маленький человек с большой бородой и в черном сюртуке, Дм. Мих. Погодин, отрекомендовался мне при встрече:

— Дмитрий Погодин. Сын знаменитого историка.

Производил впечатление недалекого, ограниченного человека. Он то и дело прибегал в редакцию, удирая от своей властной жены, которой боялся.

Пока первые дни «Листок» издавался опрятно. Но вдруг Пастухов завел отдел: «Советы и ответы».

Это нечто неслыханное. Например: «Купцу Ильюше. Гляди за своей супругой, а то она к твоему адвокату ластится: ты в лавку — и он тут как тут… Поглядывай». Или: «Васе из Рогожской. Тухлой солониной торгуешь, а певице венгерке у Яра брильянты даришь. Как бы Матрена Филиппьевна не прознала». И весь город грохотал: и Вася и Матрена Филипповна были действительно, их знали и проходу им не давали зубоскалы-купцы, пока сами не попадались в «Советы и ответы».

А попадались очень многие.

После первого же такого появления «Советов и ответов» Кичеев отказался от редактирования, и его место временно занял Игнатий Герсон, маленький сотрудник, у которого визитные карточки были таковы: «Игнатий Герсон. Прозаическое заведение и рифмоплетня». Талантливый автор сценок, но больше юморист, чем редактор.

Герсона вскоре сменил Ев. Ал. Балле. Газета шла ходко, сообщая всякую московскую новость раньше всех других. Репортаж под руководством Н. И. Пастухова был поставлен блестяще. Он облюбовал меня и целыми днями и вечерами, а то и до утра, возил с собой всюду, со всеми знакомил и учил, как и что писать и как добывать сведения. Эта работа увлекла меня, и в первый же год я сделал большую услугу «Листку».

29 июня 1882 года на 296 версте Московско-Курской железной дороги провалился в размытую ночным ливнем насыпь почтовый поезд, и трупы откапывали с глубины 14 саженей.

Я в тот же день был на месте катастрофы, дал на другой день раньше всех газет целый фельетон с подробностями, поразившими Москву, и две недели я прожил в этой могиле, ежедневно посылал корреспонденции о кукуевской катастрофе. Она была под Мценском, в пяти верстах от Спасского-Лутовинова И. С. Тургенева, там жил на даче в это время Я. П. Полонский с семьею и гостил Ев. М. Гаршин, который, приехав на место катастрофы, увидал меня и увез к Я. П. Полонскому, где я иногда и ночевал, а утром уезжал на работу.

Розница газеты возрастала тысячами.

А еще, когда в Орехово-Зуеве сгорела у Викулы Морозова рабочая казарма с народом, я, переодевшись рабочим, два дня пробыл на фабрике и дал две корреспонденции со всеми подробностями и именами погибших, что старались скрыть администрация фабрики и полицейские власти.

И газета получила известность в фабричных районах. Купцы дрожали и трепетали Пастухова.

Потом явился вместо Валле-де-Бара выпускающим номера Ф. К. Иванов, который до самого конца издания, до 1917 года, и был редактором уже измененного тогда «Листка».

Одновременно с Ивановым прибыл из Великого Села, Ярославской губернии, новый сотрудник, сельский учитель А. М. Пазухин, и предложил писать повести и рассказы.

А в это время в Москве издавалась Н. П. «Паниным, гласным Думы и владельцем знаменитого завода шипучих вод, газета «Русский курьер». Газета чистая и самая либеральная. В ней работали В. А. Гольцев и Вл. И. Немирович-Данченко, А. О. Лютецкий и другие либералы того времени.

Пастухов в своей газете жестоко ругал своего конкурента, называя Ланина кислощейным фабрикантом и «Русский курьер» кислощейной газетой.

«Русский курьер» кто-то подвел, напечатав под другим заглавием какое-то известное классическое произведение, а потом П. И. Кичеев, старый журналист, написал и послал, конечно, от чужого имени либеральное стихотворение, которое «Русский курьер» напечатал, — и оно оказалось акростихом «Ланин — дурак».

И «Московский листок» до того был аккуратен, боясь быть одураченным, что когда Пазухин принес в первый раз в редакцию свою повесть, то побоялись ее взять: вдруг краденая!

— А может быть, ты откуда-нибудь ее украл! — так и сказал ему при нас Пастухов.

И заставили его тут же, в редакции, написать на заданную тему рассказ. И он написал «Приезд сельского учителя», который и был напечатан. А затем Пазухин написал сотни сценок и десятки романов из купеческого и крестьянского быта, где всегда правда и добро торжествовали. Его читатели любили — и вторники и пятницы с романами Пазухина печатали газеты больше. По воскресеньям сценки писал И. Ш. Мясницкий (И. И. Барышев, управляющий издательством и домом К. Т. Солдатенкова).

Больше пазухинских романов имел успех только пастуховский «Разбойник Чуркин». История такова: в Гуслицах, а именно в селе Запонорье, проживал разбойник Василий Чуркин. Дело о нем, довольно большое, находилось в уездном полицейском управлении, и исправник Афанасьев, приятель Пастухова, дал ему это дело на дом как материал для очерка. И вот Пастухов затеял написать роман, хотя самый Васька Чуркин далеко не был разбойником, а просто грабил на дорогах, воровал из вагонов и шантажировал угрозами пожаров местных мелких фабрикантов. Он был сослан в Сибирь, бежал, опять принялся за разбой и был убит местными крестьянами в болоте около деревни Заволенье. А Пастухов сделал из него героя-разбойника, так что генерал-губернатор В. А. Долгоруков запретил печатать роман. Я несколько раз по просьбе Пастухова ездил для проверки фактов и для описания местности в Гуслицы, и когда говорил Пастухову, что Чуркин вовсе не интересный тип, он злился и все-таки писал свое.

Особенно подробно давались в «Листке» отчеты из окружного суда. Впоследствии их давала Козлянинова, а в начале издания А. Я. Липскеров, бывший судебный стенограф «Московских ведомостей», тоже человек малограмотный, писавший, например: «одна ножница», «пара годов» и т. п. И Липскерову выхлопотал М. Н. Катков свою газету «Новости дня» в 1883 году.

Пастухов обозлился на нового конкурента и ругательски ругал его, а если кто из сотрудников уходил в «Новости дня», то делался врагом его. Зато было полное ликование, если сотрудник из «Новостей дня» переходил в «Листок». Когда В. М. Дорошевич, почему-то поссорившийся с Липскеровым, пришел к Пастухову, то он такой гонорар ему дал, о каком в России не слыхивали. Впрочем, ненадолго: Дорошевич уехал в Одессу.

Я в 1884 году перешел в «Русские ведомости», и Пастухов дулся на меня, но почему-то все-таки относился ко мне прекрасно и всегда приглашал меня к себе и на свои ежедневные обеды у Тестова.

Впрочем, я давал ему кое-какие мелочи, а когда сотрудничал в «Новостях дня», работал главным образом в журналах: в «Будильнике», «Развлечениях», «Осколках», «Зрителе», а впоследствии печатался и в толстых журналах, — и все-таки с Пастуховым дружил и любил

его: безусловно, добрейшей души был человек, готовый помочь нуждающемуся, кто бы он ни был. И помогал не мелкими подарочками, а прямо жизнь человеку устраивал, особенно семейным людям. И все это делал так, чтобы никто ничего не знал. Я мог бы привести десятки случаев, мне известных. И что бы про Н. И. Пастухова не говорили, а я скажу одно при воспоминании о нем:

«Жил-был на свете добрый человек!»

В 1883 году я начал работать по репортажу для «Русских ведомостей». Редакция тогда помещалась в доме

Мецгера в Юшковом переулке по Мясницкой. Как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. Во дворе — типография, а в фасадном корпусе — редакция. Солидная обстановка с огромными, зеленым сукном крытыми, столами, с единственным портретом основателя газеты Н. С. Скворцова.

Тогда уже редактором был В. М. Соболевский, заведующим редакцией был добрейшей души человек В. С. Пагануцци, присяжный поверенный, а в хозяйственном отделе принимал участие его друг А. А. Никольский, которому, собственно говоря, газета и была обязана своим существованием и благосостоянием. После кончины Н. С. Скворцова дела газеты шли туго, она, как говорится, дышала на ладан и погибла, бы, если бы Никольский, юрисконсульт железных дорог, не нашел мецената в лице В. К. фон Мекка, председателя правления Московско-Рязанской железной дороги. Тот сыпнул деньгами, и газета пережила тяжелое время, а там помогла ее дальнейшему успеху В. А. Морозова — и газета расцвела. Вскоре долги все были уплачены и даже приобретены газетой дом и собственная типография.

Еще солиднее обставлена была редакция с рядом отдельных кабинетов и большой редакционной приемной, где перед громадным библиотечным шкафом стоял огромнейший зеленого сукна стол, на одном конце которого важно заседал заведующий московским отделом А. П. Лукин, а в уголке — секретарь редакции, где и принимал он. посетителей. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный на чердаке вновь купленного дома, и, сидя против него, вдохновлялся величием громовержца.

Кроме «Русских ведомостей», где он писал и фельетоны за подписью Скромный Наблюдатель, Лукин вел фельетоны в «Новостях», но только под псевдонимом «XII». Именно двенадцать. Он сам писал их мало, а заказывал разным сотрудникам кусочки фельетонов по разным вопросам и сшивал их вместе, составляя фельетон. Я много зарабатывал у него этим путем, получая 5 копеек за строку.

В московском отделе главными силами были: милейший Ф. Н. Митропольский, ведший заседания Думы и земства, добрейший и невозмутимый неповоротливый толстяк, которого звали «Недвижимое имущество «Русских ведомостей», и я, в противоположность ему носивший прозвание «Летучий репортер». И ту и другую кличку дали нам остроумцы в типографии. Я вел городские происшествия и, в случае катастроф, эпидемий или лесных пожаров, командировался «специальным корреспондентом» на место происшествий, иногда очень далеко, даже на Кавказ, на Волгу и пр. Увлекшись этим живым делом, я не жалел сил и достиг того, что перебивал славу репортеров «Московского листка» и портил спортсменскую кровь Пастухова, набрасывавшегося на стаю своих репортеров при всяком случае, когда появившееся у меня сенсационное известие просыпал «Листок». Вторым редактором «Русских ведомостей» был незабвенный, милый П. И. Бларамберг. Добрейший человек, прекрасный редактор и известный композитор. Одна из его опер «Тушинцы» шла в Большом театре в 1845 году. «Шестидесятник-идеалист» — так озаглавлен был его некролог в «Историческом вестнике» в 1907 году.

Помню такой случай. Из дома Корзинкина в фирме Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка — самого людного места — в августе месяце.

Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов всюду, дело вел

знаменитый в то время следователь по особым делам В. Ф. Кейзер, который впоследствии вел дело Ходынки, где нам опять пришлось с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло недели три — дело замолкло.

Выхожу я как-то вечером из дома — я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, — а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири, громила по специальности.

— Я к вам! Пропишите их, подлецов, господин Гиляровский, в газете.

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля, как при его главном участии увезли шкаф, отправили его по Рязанской дороге в город Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост в Гуслицы, за 12 верст от станции, и по дороге к Запонорье, в кустах, взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашли около 15 тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и в бесчувственном состоянии сбросили с поезда, думая, что он мертвый. Когда же он вернулся на Хитров к организатору кражи, съемщику-капиталисту Золотому, тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видели, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, а мы знать не знаем!

И на следующий день в «Русских ведомостях» я напечатал подробнейший рассказ Болдохи с указанием места, где лежит шкаф. Болдохе я верил безусловно.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, а я смеюсь:

— Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит.

— Если это неправда, мы вас привлечем по статьям…

— Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

— А если его там нет, то вы будете под судом.

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится, взломанный, в сыскном отделении.

Кейзер приезжал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте преступления, указал всех участников, и дело Золотого разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

Болдоха успел бежать.

Редакция платила мне 5 копеек за строку, отдельные расходы и 100 рублей в месяц.

Самая первая моя работа, давшая мне успех и положение в «Русских ведомостях», была напечатана в 1886 году. Это очерк из жизни рабочих на белильных заводах под заглавием «Обреченные». В 1873 году я был рабочим на белильном заводе Сорокина в Ярославле, и там на клочках бумаги, на нарах, в свободные часы я записывал впечатления. Эти клочки послал моему отцу, и они у него долго хранились. Ими-то я и воспользовался для этого правдивого очерка.

Никогда не позабыть мне пережитой мной, начинающим еще литератором, одной беседы в редакции за чаем и вином, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ Г. И. Успенский привел в пример моих «Обреченных» и доказал, что первое гнездо российского пролетариата — это белильные заводы. И тогда, рассказывая им свои впечатления из заводской и бурлацкой жизни, я был центром внимания этих крупных людей. И в тот же день мы выпили на брудершафт и подружились с Глебом Ивановичем, с которым я был знаком раньше. А познакомились мы в Чернышах.

Так назывались номера на Тверской в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка. Это, можно сказать, было отделение «Русских ведомостей»: в верхнем этаже этих меблирашек я жил в 1882-83 гг., а рядом со мной жил писатель М. И. Орфанов (Мишла). Живали здесь Ф. Д. Нефедов, Н. М. Астырев, С. А. Приклонский и Г. И. Успенский, и

негласно пребывал, ночуя то у Мишлы, то у меня, Петр Григорьевич Зайчневский, тогда только что вернувшийся из каторги, автор знаменитой прокламации в 1862 году, призывавшей идти на Зимний дворец и истребить живущих там.

Еще тогда я водил Глеба Ивановича по трущобам Хитрова рынка — мы ходили вдвоем, и Глеб Иванович, видавший виды в «Растеряевой улице», приходил в ужас от виденного…

Тогда «Русские ведомости» были более демократичны, чем стали впоследствии, с переходом в свой дом. Подробности — в юбилейном издании «Русских ведомостей», где изложена вся история этой газеты, всегда воевавшей с «Московскими ведомостями». «Московские ведомости» была газета слишком известная по своему направлению, и сотрудники ее держались там скрытно и особняком, что из всех их только и появлялся в обществе, т. е., вернее, в театрах и на первых представлениях, лучший критик того времени С. В. Флеров (Васильев). Остальных никто и не видал и не знал. Разве только тогда, когда они появлялись в цензурных комитетах в качестве душителей всякого свободного слова в должности цензоров.

Они-то у меня и сожгли мою первую книгу «Трущобные люди».

Были еще газеты — «Русский листок», начавший издаваться, кажется, Миллером, под названием «Русский справочный листок», потом перешедший к присяжному поверенному, гласному Думы Н. Л. Казецкому и впоследствии переменивший название на «Раннее утро».

Начал я с Пастухова и кончу им.

Раскаиваюсь и сожалею, как я раз обидел Николая Ивановича, и настолько жестоко, что у него слезы на глазах появились.

Н. И. Пастухов, издавая «Московский листок», одновременно во время ярмарки в Нижнем издавал «Нижегородскую почту». Как-то в «Осколках» Лейкина я напечатал шутку: «Цитаты из «Ревизора» нашим газетам». Против «Нижегородской почты» стояло: «Родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете».

Встретил меня у Тестова Николай Иванович, вынул из кармана «Осколки», указал эти строки, подчеркнутые красным карандашом, и спросил:

— Ты?

— Я! Что же, это шутка.

— Шутка. Стало быть, моя «Почта» — сука, «Листок» — кобель, а я-то кто же буду?.. Стыдно, Володя, за хлеб, за соль так… — Слезы на глазах.

— Николай Иванович, я не хотел вас обидеть…

— Знаю, ради красного словца и себя облаешь… Идем селянку хлебать!

Были еще в Москве «Полицейские ведомости», которых никто не выписывал и не покупал.

В 1881 году в Москве была преобразована полиция. Уничтожили прежние кварталы и разделили Москву на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковых приставов и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Это было после 1 марта 1881 года, когда все тщетно ждали реформ.

И по Москве заходили четыре стишка:

Мы все надеждой запаслись —
Вот-вот пойдут у нас реформы.
И что же. Только дождались
Городовые новой формы.

И действительно только. Переоделись старые городовые в новую форму.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые, из молодых, побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые отпустили бороды по примеру царского двора, где из бакенбардов стали все

бородасты: царь носил окладистую бороду.

И, конечно, ставши приставами, квартальные заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины не отделаешься.

— Гони наличные, купить сами умеем!

Отдал я тогда в «Будильник» четверостишие, которое мне показали троекратно и зло зачеркнутым красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уже не либерально, а мерзко!»

А четверостишие было такое:

Квартальный был, стал участковый, А в общем та же благодать. Несли квартальному целковый — А участковому дай пять.

И вот в числе таких квартальных, переодевшихся в гвардейский мундир, был капитан Змеев — щеголь и козырь.

В это время издавались «Полицейские ведомости», в которых только публиковалось о торгах и о пропавших собаках, да еще о сдаче квартир, и которых, конечно, никто не выписывал и не читал.

И вот приставам было приказано понажать на обывателей, особенно на домовладельцев, чтобы они обязательно подписывались.

Капитан Змеев в это время был приставом на Тверской-Ямской, где, особенно переулки, были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков, и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Он поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

— На кой она нам!

— Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали! — и т. п.

И вот в одно из воскресений, после обедни, чуть ли не с городовыми на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы — как Дикой из «Грозы» — наполнили двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный и блестящий пристав.

— Здравствуйте, почтенные.

— Здравствуйте, вскородие…

— Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщик Осипов и лавочник Прокофьев.

— Выходи сюда. Пошли без шапок, дрожат.

— Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! — Даже руку им подал на прощанье.

Обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете — кому хватит.

— Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травку и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтобы без ошибок был! А кто выучит — пусть доложит мне, я проэкзаменую сам. — И крикнул городовым: — Никого не выпускайте со двора.

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в канцелярию. Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать. Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Конечно, сдачи с пяти рублей не давал. (Газета стоила 4 рубля в год.) Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали. Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило. В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходившие из аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок.

— Н-да… Что ловко, то ловко, а четвертной в кармане нет.

Помню, и мне, журналисту, раз пришлось участвовать в полицейской взятке.

Приставом 3-го участка Тверской части был долгое время Замайский. Большой театрал, меценат отчасти и очень любезный с представителями печати, которых побаивался.

Было в Большом театре сотое представление «Демона», причем дирижировал сам Рубинштейн. «Русские ведомости» выдали мне 5 рублей на билет и просили дать отчет об этом спектакле. Нечего говорить, что за 5 рублей никакого билета достать было нельзя. Но все же я вошел в театр, где меня знали даже все капельдинеры, и первое действие простоял в проходе при входе. К концу действия вошел Замайский и стал рядом со мной.

— Что же вы не сидите?

— Места нет — не мог билета купить.

— Н-да.

Акт кончился, публика хлынула к выходу, и я тоже. Но Замайский меня остановил:

— Погодите!

Я в недоумении остановился.

Замайский зорко оглядывал проходящих и вдруг поманил пальцем высокого молодого человека, шикарно одетого, в черном сюртуке. Тот вытянулся перед ним.

— Что прикажете, Станислав Фомич?

— В каком ряду сидишь?

— В пятом-с.

— Давай билет.

Франт передал билет приставу.

— П-шел, мерзавец.

Тот нырнул к выходу, а пристав ко мне.

— Вот садитесь, место хорошее, пятый ряд. Я стоял в недоумении.

— Возьмите и садитесь. Будьте спокойны, билет правильный. Берите, — и сунул мне билет в руку.

— Как же это? — удивляюсь я.

— Да вот так!.. Вы знаете, кто этот мерзавец? Карманник это, Пашка Рябчик.

И отчет о спектакле появился только благодаря этому случаю.

Друзья и встречи

Старогладовцы

Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со Смоленского рынка; двое приготовишек неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост… На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трех колесах; четвертое подкатывал к ней старичок огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лущила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, — а ей и горя мало! Лущит да поплевывает. Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.

Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:

— Граф-то как старается! — Какой граф?

— Да вон, у телеги. Я оглянулся.

Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница по-прежнему лущила

семечки.

— И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надысь работать. Наш хозяин, Козел, два пятерика купил, свалил их на улицу и нанял нас перетаскивать во двор и уложить поленницы, а граф — тут как тут: давайте, говорит, ребята, я помогу… Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял. Потом наши ребята его видели на Красном лугу: с золоторотцами из «Аржановки» тоже дрова укладывал…

Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но и получив деньги, он все продолжал говорить:

— Свой дом в Хамовницком переулке, имение богатое… Настоящий граф — Толстов по фамилии…

Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них.

Прошло два года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире, в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкова переулка между Мясницкой и Сретенкой. Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки. Происходило это утром, когда в редакции обычно никого не бывало.

Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, как-то знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой: видал где-то! Человек входил в подъезд, когда я шел мимо. Затворяя дверь, он на миг повернулся, и я увидел бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв минут пять в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок».

— Никого еще нет?

— Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил, спрашивал Василия Михайлыча.[6]

— Кто?

— Граф Толстой… Да как вы его не встретили? Сей минут вышел.

А! Так вот кому я когда-то помог колесо надеть!

Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогомилово дрова в пятерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне, и не знал, что к тому времени, когда мы встретились, он уже переехал в Москву.

* * *

Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз, но, конечно, никогда не напоминал ему о первой встрече. Раза два по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня расспрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе.

Как-то (это было в конце девяностых годов) я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились, разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся тогда в Шереметевском переулке, о чем между прочим и сообщил своему спутнику.

— Вот хорошо, напомнили, мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы В. М. Лавров и В. А. Гольцев.

При входе Лев Николаевич мне сказал:

---

[6] Соболевского

— Я только на минуточку.

И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раздеться отказался и так стоял в редакции в шапке, с повязанным сверх нее башлыком.

Весь разговор продолжался не более двух-трех минут, и мы вышли.

День был морозный, что-то около двадцати градусов; у Льва Николаевича заиндевела борода.

— А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете, и я далее думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем. Я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибири: арестант один рассказывает о своей жизни… Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно, но мне некогда заняться ею как следует. Просмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей десять — пятнадцать, и то хорошо.

Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича, Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату «18 октября 1899 г., Каинск, Томской губ.». В начале и в конце было обращение к Льву Николаевичу, а посредине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгаро.

Внизу последней страницы стояло три адреса: самого Лизгаро — Каинский острог; жены его, Беляевой-Лизгаро, — Таежная и г-жи Л-й — Каинск, для передачи Лизгаро.

Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами:

«Согласен все то, что изложено, пустить в печать, если нужно, переделать и исправить фамилии действующих лиц, пишу с целью материальной поддержки голодающей семье».

Прочитав рукопись Лизгаро, о деяниях которого я слыхал раньше от корнета Савина, тогда уже острожной «знаменитости», я на следующий же день переслал ему двадцать пять рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, а сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию.

— Зачем вы сами это сделали? И так много вдобавок! Лучше бы напечатать. Интересно!

Я кое-что знал о Лизгаро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано.

— Все равно интересно, прочиталось бы. Во всяком случае, очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег.

И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лизгаро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу.

— Я был в этом уверен, — сказал он и добавил: — А все-таки когда-нибудь напечатайте!

Украинский ученый, исследователь Запорожья Д. И. Эварницкий тогда читал в Московском университете «историю Малороссии» и часто просил меня:

— Ты знаком с Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его.

И вот однажды, после такой просьбы, я предложил Эварницкому поехать сейчас же (было около семи часов вечера), но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу… Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, послав заранее визитные карточки.

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духоборов и штундистов. Последних

Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку, хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, — склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже справился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!

Он чихнул в платок и обратился к Эварницкому:

— Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош! Боюсь, как бы не привыкнуть!

И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Эварницкому:

— А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье, наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей…

Как-то раз я встретил Льва Николаевича на Моховой. В это время Общество искусств и литературы, вылившееся потом в Художественный театр, ставило в Русском охотничьем клубе чеховские одноактные пьесы. Лев Николаевич указал мне афишу на столбе:

— «Медведь» Чехова! С каким бы удовольствием я посмотрел его пьески, да не хочется в клуб идти на спектакль.

— А вы на репетицию. Как раз завтра его пьесы репетируют, меня Арбатов[7] вчера приглашал.

— Да, но у меня знакомых там нет. А пошел бы…

— Позвольте мне завтра заехать за вами к семи часам вечера?

И вот на следующий день я велел моему постоянному извозчику Дунаеву подавать к шести часам вечера. Надо сказать, что Ваня Дунаев ездил со мной помесячно. Извозчики звали его Ванька-Водовоз за необыкновенную силу, а я назвал его Берендей, потому что он был из Пятницы-Берендеево, извозчичьей подмосковной местности. Я ездил с ним на рискованные репортерские приключения по разным трущобам совершенно спокойно: малый был удалой и всегда трезвый, потому что его ничем нельзя было споить… Он бывал со мною на скачках и бегах, знал всех лошадей и любил о них поговорить.

Вышел я и увидал: лошадь новая, крупный орловский рысак, только очень подержанный: передними ногами тронут — козинец, колена дрожат.

— Это откуда?

— Новокупочка. Сегодня с Конной вперворяд запряг… С бусырью малость, а резов Бессекундный!.. На бегах ходил, аттестат есть с гербом! Прямо по нашей езде: урвать да уехать… Сто двадцать дал. Двадцать задаток а останные по понедельникам.

Тогда московские барышники продавали в долг извозчикам лошадей с уплатой по пяти рублей каждый понедельник и наживали за эту рассрочку пятьдесят процентов.

Выбрались мы на Тверской бульвар — и понеслись. Огромный, мешковатый Ванька-Водовоз из простого погонялки преобразился в лихача. Лошадь держит на коротких вожжах, руки вытянул и только покрикивает, чтоб дорогу давали.

Через десять минут мы были в Хамовническом переулке. По-видимому, нас ждали — дворник тотчас же отворил ворота. Меня провели в столовую, где вся семья была в сборе. Все пили чай, но Льву Николаевичу не дали, чтобы не простудился. Он ел гречневую размазню.

Софья Андреевна все меня уговаривала ехать поосторожнее.

— Будьте спокойны, и назад привезу, — успокаивал я.

— Нет, об обратном пути не беспокойтесь, за ним дети заедут.

---

[7] Режиссер

Провожать нас высыпали все в переднюю. Стали одевать Льва Николаевича. Начали с валеных калош, потом теплый тулуп, подпоясали, подняли воротник, нахлобучили теплую шапку, повязали сверх башлык. Получилась фигура необъятная, а санки у меня были полулихацкие, узкие и притом без полости. Мне ездить с полостью было неудобно, так как то и дело приходилось соскакивать с саней, а холода я не боялся. Мой Берендеи был единственным извозчиком во всей Москве без полости, даже при обер-полицмейстере Власовском, который ввел одинаковую «форму» для извозчиков и их экипажей и, между прочим, требовал, чтобы у всех саней имелась полость. Полиция беспощадно штрафовала нарушителей этих правил. Мне пришлось лично ездить к Власовскому, чтобы сняли с моего Дунаева штраф и разрешили ему ездить со мной без полости. Штраф Власовский приказал снять, но ездить без полости так и не разрешил, найдя, впрочем, чисто полицейский, хитроумный выход:

— Нарушить свой приказ не могу: полость обязательно должна быть на санях. Но вы можете не употреблять ее, пусть ваш извозчик сидит на ней…

И Ванька очень гордился, что он ездит без полости, а другие извозчики ему завидовали.

Уступил я Льву Николаевичу три четверти сиденья, а сам кое-как примостился и полувисел в воздухе, крепко обняв талию в необъятном тулупе.

Летим переулком, Лев Николаевич сквозь шарф и воротник бурчит:

— Это только в Москве такое приличие… Ездят обнявшись. То и дело видишь — облапит даму, и катят…

Не успел он договорить, как мы выскочили рысью на Девичье поле и — прямо в ухабы! Тах!.. Тах!..

— Ну что, Лев Николаевич, если б я вас не обнял?..

— Да, вы правы, только уж очень быстро мы едем. Я люблю быструю езду… но это слишком!

— Ваня, как зовут твою лошадь?

— Птичек… Потому мать его была Птичка… В аттестате прописано.

— Ну, так с сегодняшнего дня зови его не Птичек, а Холстомер. В память того, что Льва Николаевича возил… У него есть «Холстомер».

Лев Николаевич что-то забурчал, но я не мог разобрать его слов.

Через несколько минут запаренная лошадь стояла, дрожа коленями и шпатуя задней ногой, на полукруглом возвышении перед подъездом, и швейцары клуба в казакинах и бараньих папахах с красным верхом высаживали, вводили почетного гостя и распаковывали его.

Я шепнул конторщику, чтобы он передал актерам, Арбатову или Лужскому, что я привез Льва Николаевича.

А он жал мне руку, что-то хотел сказать, а потом уставился на выстроившихся около вешалок швейцаров: рослые, красивые, в черных мохнатых папахах.

— Какие молодцы! Ну, прямо — старогладовцы!

Мы вошли в приемную. Из зала высыпали артисты и с великим почетом приветствовали неожиданного и дорогого гостя.

Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе особыми условиями боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения: «Казаки», «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах, среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же.

Недаром ведь, когда через шестьдесят лет после того, как он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа: он стремился в казачьи станицы! Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя… Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его

неприкосновенности, с казачьими обычаями, которые так ярко описаны Львом Николаевичем в его чудесной повести «Казаки».

Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице.

И вот его-то рассказы я вполне точно и передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то время, когда на него обращали внимания столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования.

В своем письме к графу Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит:

«Мы с Епишкой часто называли его за это «швиньей».

Этот Епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерошка, который выведен как живой в повести «Казаки». И тот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил Епишку и много мне о нем рассказал.

Эту встречу я записал подробно в Ессентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением.

Ессентуки, 19 июня.

Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый горец, офицер с солдатским Георгием и кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался — исконный гребенской казак Кирилл Григорьевич Синюхаев, родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казаки».

Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенской казак-офицер, — но то был молодой человек, а мой собеседник — однолеток Льва Николаевича, ему далеко за семьдесят, но это бодрый, энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет.

Гляжу на него и радуюсь: голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче.

— Как же! Я очень, очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообрядцы с Украины и полстаницы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в новой, а потом к нам перешел. У нас стояла двадцатая артиллерийская бригада, в ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно, у казака Сехина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сехиных, и все родня меж собой. Так Толстой — у нас его все Толстое звали — поместился у богатого Сехина, а рядом жил другой брат Сехина, друг Толстого, дядя Епишка, охотник и джигит, каких теперь нет, да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками да ястребами и с разным зверьем прирученным, — у него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то что мы одни, а и чеченцы, и ногайцы… К немирным в аулы, бывало, хаживал, и везде его принимали как почетного гостя. А говорил он всем одно и то же: «Все живем, а потом умрем. Люди не звери, — так и драться людям не надо. Вот зверя — того бей!» Так и жил он: либо на охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится, бешмет красный шелковый наденет — немирные князья Гиреи подарили, — чувяки и ноговицы, серебром расшитые. Папаха у него была волчья или лисья, каких, кроме него, никто не носил. И обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силищи непомерной. Каким я-то его помню, — так ему уже под семьдесят было. А выпьет, бывало, чихиря[8] с полведра да в хоровод — поет и пляшет. А как плясал! «Дядя Епишка, еще, еще!» — просят его.

«А ну-ка, швинья, тащи чапуру чихиря». Принесут, выпьет — и опять поет и пляшет да

[8] Молодое красное вино

на балалайке звенит. Такой Епишка в праздник бывал. А в будни — суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловой кожи штаны, поршни буйволовые, папаху старую волчью, на плечах шкуру звериную вверх шерстью, а в руках у него была всегда винтовка с золотой насечкой, — промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали…

Мимо нас в эту минуту проходил огромный, широкоплечий кубанец.

— Куда повыше и пошире его был дядя Епишка! — сравнил рассказчик. И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь этот друг Льва Николаевича…

— И, кроме охоты, ничем он не занимался. Был у него и крест георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете, да и то так, чтобы людям видно не было, для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали; славный был джигит, но потом от войны отказался: почему — никто не знал.

Веселый, мягкий был человек. И никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только швиньей, бывало, назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий.

На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался: «Я сам по себе. Я одинец», — знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключение: любил его. Кунаки были, на охоту с собой никогда и никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты варит кулеш, на камешках казанок ставит, и Толстой тут же сидит, — варят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты — оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы.[9] Походка легкая, а в самом пудов десять веса! На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски, у немирных князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чадрой не закрывались. Горцы с ястребами охотились, так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?

— Как сейчас вижу.

— Вы помните повесть «Казаки»?

— Чуть не наизусть. Ведь мы все ею зачитывались… Так и говорили: «Пишет наш Толстое».

— С кого он писал Лукашку?

— Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл я его имя… Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были, — все такие джигиты.

— А Марьяна?

— Не так давно умерла… — Потом стал он вспоминать дальше. — Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он вскочит на нее и скачет по станице… Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был да с дядей Епишкой дружил, а то разве знал кто, что он такой будет после! У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом… Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сехину, родному брату дяди Епишки, переехал, к Михаилу Петровичу. А это рядом с нами. Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За Старый Юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. А если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил?

— Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича?

— Едва ли. Разве Ергушевы. Так уж ему, старому, больше восьмидесяти лет.

---

[9] Шаталы — рогатки, на которые ставят ружья для прицела

— Знакомая фамилия — Ергушев. В «Казаках» ее упоминает Лев Николаевич.

— Ну да, — который пьяный-то казак лежит. Это он с натуры взял и настоящей фамилией назвал. Любитель выпить был Ергушев… Родственник наш.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?

— Конечно. Давным-давно, после первых произведений. И книги его все читали, и в школах о нем говорили… Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Епишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил, портрет с надписью для станицы от самого получил, только у него украли дорогой портрет этот.

— Как же это было?

— А уже это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска, он под Юцой в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня…

Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцой, верстах в шести от Пятигорска, и попал на ученье Екатеринодарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Ученье окончилось к полудню, и, пока расседлывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину.

Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с ученья, и я нашел Сехина в палатке. Вышел ко мне красавец-казачина с огромными усищами, в синих шароварах «шире Черного моря», в белой рубахе и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью: еще умыться не успел.

— Я Сехин, вам меня? — сурово спросил он.

— Дмитрий Михайлович?

— Да, это я! Вам что угодно будет?

— Я к вам от Кирилла Григорьевича.

Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает меня как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда.

— Ну, что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна, это лучшая минута моей жизни.

С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой я воспроизвожу сейчас.

«В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу — один

из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, подбежал, а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю:

— Лев Николаевич! Необыкновенный случай: пятьдесят пять лет спустя внук за деда делает вам ответный визит.

Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.

— А! Палкин? — спросил меня Лев Николаевич.

— Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки. Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит.

— Какого Ерошки?

— Того самого, у которого вы пятьдесят пять лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.

— Епиишки? Вот оно! — И лицо Льва Николаевича просияло. — Да не может быть! У Епишки и детей-то не было!

— А был брат Михаил Петрович, — я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.

— Сехин! Сехин!

Руку мне протянул и крепко пожал.

— А вы кто? Ротмистр? — и посмотрел на мою военную шинель.

— Нет, я войсковой старшина.

— А, значит подполковник. Ну пойдемте. Он повернул к дому, а потом вдруг сказал:

— Да вы садитесь в сани! Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо

еще десять минут погулять.

Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнате внизу. Через десять минут Илья Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и отрекомендовал меня.

— Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки.

И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им.

— А камышовые крыши еще есть?

— Есть.

— А сверстники мои живы?

— Ергушев Иван Варфоломеевич еще жив.

— А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток! А рыбка шемайка?

— Мало, да притом очень измельчала.

— Жаль, жаль! А я отлично все помню: и Старогла-довскую, и Старый Юрт! Горы — какая красота! Терек! Степи! Вот где настоящая жизнь. А Лукашка, брат Михаила Алексеевича! Да, да! Все помню. А как дом, где я жил? А дом Бабенковых, где жил брат Николай… А Епишкина хата?

— Все перестроено.

Лев Николаевич встал и сказал мне:

— Вот вам Гусев, расскажите ему.

Он вышел, но через пять минут вернулся, сел радостный и все вопросы о старине задавал.

— Забывчив вообще я стал. Но что тогда было — все помню!

Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться.

— Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить.

— Но, ваше сиятельство… — начал было я, но Лев Николаевич перебил меня:

— Зачем так?..

— Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич — уж очень будет фамильярно.

— А вы меня по-гребенскому.

— Да у нас тех, кто старше тебя, зовут, как, помните, дядю звали: дядя Епишка.

— Стало быть, и зовите: дядя Левка. Это очень, очень почтенно! — Он засмеялся ласково-ласково.

Я попросил у Льва Николаевича для Старогладовской школы его портрет.

Он достал портрет и надписал:

«На память старогладовцам Лев Толстой».

Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда: у меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет.

Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика генерала, служившего в дни юности в одной батарее с Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы:

— Как же-с… Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее, славный был офицер.

Антоша Чехонте

О встречах в моей юности я начал писать через десятки лет. Они ярко встали передо мной только издали. Фигуры в этих встречах бывали крупные, вблизи их разглядеть было нелегко; да и водоворот жизни, в котором я тогда крутился, не давал, собственно, возможности рассмотреть ни крупного, ни мелкого.

В те времена героями моими были морской волк Китаев и разбойничий атаман Репка. Да и в своей среде они выделялись, были тоже героями. Вот почему и писать о них было легко.

Не то — Чехов. О нем мне писать не легко. Он вырос передо мной только в тот день, когда я получил поразившую меня телеграмму о его смерти и тотчас же весь отдался воспоминаниям о нем.

Познакомился я с ним, когда он был сотрудником мелкой прессы, строчившим ради заработка маленькие этюдики и разбрасывавшим их по мелким изданиям. Мы вместе с ним начинали в этих изданиях, — он писал сценки, я — стишки и тоже сценки да еще репортерствовал, что давало мне в те времена больше, чем его рассказики, мало заметные первое время.

Сперва у нас были мимолетные встречи, а потом началась дружба. Я полюбил Антошу, и он меня любил до конца жизни, хотя последнее время мы и отдалились друг от друга.

В те годы, когда он еще ограничивался мелкими сценками, еще до издания его книжки «Сказки Мельпомены», я уже занял в «Русских ведомостях» солидное положение и, кроме репортажа, печатал статьи и фельетоны.

«Русские ведомости» считались «большой прессой», и Чехов появился в этой газете только в 1893 году, после того как печатался в 1892 году в «Русской мысли» и в 1888 году в «Северном вестнике», где была помещена его «Степь», которая произвела на меня огромное впечатление. И впоследствии этот рассказ был у нас с ним одной из любимых тем для разговоров. А до «Степи» он был для меня только милым Антошей Чехонте, рассказов которого, разбросанных по газетам и журналам, я почти и не читал, — в кипучей репортерской жизни не до чтения было, да и не все газеты и журналы попадали мне в руки.

«Сказки Мельпомены» и подаренные им мне «Пестрые рассказы» меня не заинтересовали, все это было так знакомо и казалось мелочью.

Первое, что осталось у меня в памяти, — это «Каштанка», да и то тут была особая причина.

Как-то раз я вернулся из поездки домой, и мне подали «Новое время»:

— Прочитай-ка насчет Каштанки.

Заглавие было другое, но я увидал подпись Чехова и прочел эту прекрасную вещицу, напомнившую мне один из проведенных с Антошей Чехонте вечеров… А через год была напечатана «Степь», и я уверовал в талант моего друга…

Шли годы, Чехова «признали». Его приглашали к себе, добивались знакомства с ним. Около него увивались те, кто так недавно еще относился к нему не то снисходительно, не то презрительно: так, сотрудничек мелкой прессы…

А затем у него началась связь с Художественным театром. Жить стали Чеховы богаче, кончились наши ужины с «чеховским салатом» — картошка, лук и маслины — и чаем с горячими баранками, когда мы слушали виолончель Семашки, молодых певиц и молодого еще певца Тютюника, который, маленький, стоя, бывало, У рояля, своим огромным басом выводил «…Вот филин замахал крылом» — и в такт плавно махал правой рукой.

Шумно и людно стало теперь у Чеховых…

Иногда все-таки урывались часы для дружеской беседы, и, когда мы оставались вдвоем, без посторонних — Чехов опять становился моим старым милым Антошей, на которого смотреть было радостно, а среди окружавшего его теперь общества мне всегда бывало как-то жаль его — чувствовалось мне, что и ему не по себе… Недаром он называл сотрудников «Русских ведомостей — мороженые сиги…

— Ты — курьерский поезд. Остановка — пять минут. Буфет.

Так Чехов сказал мне однажды, еще в те времена, когда он жил в «комоде», в этом маленьком двухэтажном коттедже на Кудринской-Садовой, куда я забегал на часок, возвращаясь из газетных командировок или носясь по Москве в вихре репортерской работы.

Приходят на память эти слова Чехова, когда начинаю писать воспоминания, так непохожие на обычные мемуары. Ведь мемуары — это что-то последовательное, обстоятельное — изо дня в день, из года в год… Их хорошо писать отставным генералам, старым чиновникам, ученым на покое, — вообще людям, прожившим до старости на одном месте, на одной службе.

У бродяги мемуаров нет, — есть клочок жизни. Клочок там, клочок тут, — связи не ищи… Бродяжническую жизнь моей юности я сменил на обязанности летучего корреспондента и вездесущего столичного репортера. Днем завтракаешь в «Эрмитаже», ночью, добывая материал, бродишь по притонам Хитрова рынка. Сегодня, по поручению редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра — едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны, — и вот — дымится джулун.

Над костром в котелке кипит баранье сало… Ковш кипящего сала — единственное средство, чтобы не замерзнуть в снежном буране, или, по-донскому, шургане… Антон Рубинштейн дирижирует в Большом театре на сотом представлении «Демона», присутствует вся Москва в бриллиантах и фраках, — я описываю обстановку этого торжественного спектакля; а через неделю уже Кавказ, знакомые места, Чертова лестница, заоблачный аул Безенги, а еще выше, под снежной шапкой Коштантау, на стремнинах ледяного поля бродят сторожкие туры. А через месяц Питер, — встречи в редакциях и на Невском… То столкнешься с Далматовым, то забредешь на Николаевскую, 65, к Николаю Семеновичу Лескову, то в литературном погребке на Караванной смотришь, как поэт Иванов-Классик мрачно чокается с златокудрым, жизнерадостным Аполлоном Коринфским, и слушаешь, как восторженный и бледный Костя Фофанов, закрыв глаза, декламирует свои чудесные стихи, то у Глеба Успенского на пятом этаже в его квартирке на Васильевском острове, в кругу старых народников рассказываешь эпизоды из своей бродяжной жизни бурлацкой… А там опять курьерский поезд, опять мечешься по Москве, чтобы наверстать прошедшую прогульную неделю…

И так проходила в этих непрерывных метаниях вся жизнь — без остановки на одном месте. Все свои, все друзья, хотя я не принадлежал ни к одной компании, ни к одной партии… У репортера тех дней не было прочных привязанностей, не могло быть… Прочных знакомств летучему корреспонденту тоже не было времени заводить — единственное знакомство у меня в то время, знакомство домами, было с семьей Чехова, да и то до тех пор, пока Чехов не вошел в славу.

Разные были мы с ним люди.

Я долго не мог вспомнить, как и когда началось наше знакомство и где произошла у меня первая встреча с Чеховым. Об этом он мне как-то раз напомнил сам; оказалось, что в эту первую встречу я Чехова и не заметил. Помнил только вторую, в редакции «Будильника», где редактор Н. П. Кичеев представил мне симпатичнейшего юношу с заброшенными назад волосами.

— Антоша Чехонте — дядя Гиляй. Знакомьтесь.

— Мы уже знакомы… Нас познакомил Селецкий, помните?.. Вы мне еще чуть руку не сломали.

Я сделал вид, что помню.

С этого дня мы стали встречаться особенно часто в «Будильнике» и «Зрителе» у Всеволода Давыдова. Совсем друзьями сделались. Как-то за столом у меня дома, в случайном разговоре о Русском гимнастическом обществе, он сказал улыбаясь:

— Я тоже член-учредитель Гимнастического общества. Селецкий меня и брата Николая записал в учредители… Так, для счета… Вот там-то мы с тобой, Гиляй, и познакомились. Помнишь?

Так как стесняться было нечего, я сказал откровенно:

— Нет, не помню.

И рассказал Антон Павлович, как его случайно завел Селецкий, тогдашний председатель общества, в гимнастический зал в доме Редлиха на Страстном бульваре.

— Посреди огромного зала две здоровенные фигуры в железных масках, нагрудниках и огромных перчатках изо всех сил лупят друг друга по голове и по бокам железными полосами, так что искры летят — смотреть страшно. Любуюсь на них и думаю, что живу триста лет назад. Кругом на скамьях несколько человек зрителей. Сели и мы. Селецкий сказал, что один из бойцов — Тарасов, первый боец на эспадронах во всей России,

преподаватель общества, а другой, в высоких сапогах, его постоянный партнер — поэт Гиляровский. Селецкий меня представил вам обоим, а ты и не поглядел на меня, но зато так руку мне сжал, что я чуть не заплакал.

Чехов с тех пор так и не бывал больше в Гимнастическом обществе, но разговаривали мы о нем впоследствии не раз, а в 90-х годах он даже внес членский взнос и снова стал числиться членом, желая сделать мне, председателю общества, приятное. Привез я ему как-то в Мелихово список членов общества, где и его фамилия была напечатана.

— Ну, какой же я гимнаст! — сказал он улыбаясь. — Я — человек слабый, современный, а вы с Тарасовым точно из глубины веков выплыли. Тамплиеры! Витязи! Как тогда хлестались вы мечами! Никогда не забуду. А ты и меня в гладиаторы!.. Нет уж, куда мне!.. Да и публика у вас не по мне, — пробежал он глазами по списку членов общества.

— Нет, публика у нас простая — конторщики, приказчики, студенты. Это — люди активные, ну, а те вот — Морозовы, Крестовниковы, Смирновы — виноторговцы и еще некоторые — только платят членские взносы.

— Значит, мы мертвые души? Люди настоящего века. А придет время, — может быть, лет через сто, — будут все сильными, будет много таких, как ты и Тарасов… Придет время!..

И несколько лет Антон Павлович числился членом общества, но никогда там не бывал, хотя ценил и любил силу и ловкость в других. Когда я приезжал в Мелихово, то обязательно и он и его отец, Павел Егорович, вели меня к лошадям, пасшимся в леваде, сзади двора, и бывали очень довольны, когда я им показывал какие-нибудь штуки по вольтижировке или джигитовке.

— Знаешь, Гиляй, пробовал я тебя описывать, да ничего не выходит, — говорил мне не раз Антоша. — Не укладываешься ты, все рамки ломаешь. Тебе бы родиться триста лет назад или, может быть, лет сто вперед. Не нашего ты века.

Разные мы с ним были люди, а любили друг друга. Я его, слабого и хрупкого, любил какой-то особой, нежной любовью. И как радостны бывали наши встречи! В юные годы мы очень часто виделись. Раз, в 1882 году, целую неделю вместе работали в окружном суде на деле Скопинского банка — известном процессе, который вел прокурор С. С. Гончаров. Антон Павлович писал заметки об этом процессе в «Петербургской газете» под псевдонимом «Рувер».

Много в Скопине воров, Погубил их Гончаров! — острил Чехов.

В 1884 году я женился, наши семьи познакомились. Помню, как-то в субботу, получив в «Русских ведомостях» гонорар за неделю, что-то около ста рублей, я пришел в «Будильник» и там встретил Чехова. На его долю гонорара в «Будильнике» пришлось что-то мало, а я похвастался деньгами.

— Ну так вот — пеки пирог у себя и скажи Марии Ивановне, что мы все придем. И Левитана приведем…

Под влиянием разговоров о Крыме Левитан, найдя на моем столе альбом, сделал в нем во время общей беседы два прекрасных рисунка карандашом: «Море при лунном свете» и «Ветлы». Тотчас после него Николай Павлович Чехов нарисовал в альбоме красным, черным и синим карандашами великолепную женскую головку. Антон Павлович, долго смотревший на художников, сказал:

— Разве так рисуют? Ну, головка! Чья головка? Ну, море! Какое море? Нет, надо рисовать так, чтобы всякому было понятно, что хотел изобразить художник.

Он взял альбом. Рисунок, готовый через несколько минут, был встречен общим хохотом. Антон Павлович, отдавая мне альбом, сказал:

— Бери, Гиляй, это — единственное мое художественное произведение: никогда не рисовал и больше никогда рисовать не буду, чтобы не отбивать хлеб у Левитана.

На рисунке изображена была гора, по которой спускается турист, в шляпе и с палкой, башня, дом с надписью «Трактир», море, по которому плывет пароход, и в небе — птицы; внизу — надпись: «Вид имения «Гурзуф» Петра Ионыча Губонина», а кроме того, везде были пояснения: «море», «гора», «туристы», «чижи»…

Первые годы в Москве Чеховы жили бедно. Отец служил приказчиком у галантерейщика Гаврилова, Михаил Павлович и Мария Павловна учились еще в гимназии. Мы с женой часто бывали тогда у Чеховых, — они жили в маленькой квартире в Головином переулке, на Сретенке. Веселые это были вечера! Все, начиная с ужина, на который подавался почти всегда знаменитый таганрогский картофельный салат с зеленым луком и маслинами, выглядело очень скромно, ни карт, ни танцев никогда не бывало, но все было проникнуто какой-то особой теплотой, сердечностью и радушием. Чуть что похвалишь — на дорогу обязательно завернут в пакет, и отказываться нельзя. Как-то раз в пасхальные дни подали у Чеховых огромную пасху, и жена моя удивилась красоте формы и рисунка. И вот, когда мы собрались уходить, вручили нам большой, тяжелый сверток, который велели развернуть только дома. Оказалось, в свертке — великолепная старинная дубовая пасочница.

Мы с Антоном работали в те времена почти во всех иллюстрированных изданиях: «Свете и тенях», «Мирском толке», «Развлечении», «Будильнике», «Москве», «Зрителе», «Стрекозе», «Осколках», «Сверчке». По вечерам часто собиралась у Чеховых небольшая кучка жизнерадостных людей: его семейные, юноша-виолончелист Семашко, художники, мой товарищ по сцене Вася Григорьев, когда Великим постом приезжал в Москву на обычный актерский съезд. Мы все любили его пение и интересные рассказы, и Антоша нередко записывал его меткие словечки, а раз даже записал целый рассказ о случае в Тамбове, о собаке, попавшей в цирк. Это и послужило темой для «Каштанки».

В 1885 и 1886 годах я жил с семьей в селе Краскове, по Казанской дороге, близ Малаховки. Теперь это густонаселенная дачная местность, а тогда несколько крестьянских домов занимали только служащие железной дороги. В те времена Красково пользовалось еще разбойничьей славой, деля ее с соседней деревней Кирилловкой, принадлежавшей когда-то знаменитой Салтычихе. И из Кирилловки и из Краскова много было выслано крестьян за разбой в Сибирь. Под самым Красковом, на реке Пехорке, над глубоким омутом стояла громадная разрушенная мельница, служившая притоном «удалым добрым молодцам». В этом омуте водилась крупная рыба и, между прочим, огромные налимы, ловить которых ухитрялся только Никита Пантюхин, здешний хромой крестьянин, великий мастер этого дела. На ноге у него много лет была какая-то хроническая гниющая рана, которую он лечил, или прикладывая ил из омута и пруда, или засыпая нюхательным табаком. Никита сам делал рыболовные снаряды и, за неимением средств на покупку свинца, употреблял для грузил гайки, которые самым спокойным образом отвинчивал на железнодорожном полотне у рельсов на местах стыка. Что это могло повлечь за собой крушение поезда, ему и на ум не приходило.

Чехов очень интересовался моими рассказами о Краскове и дважды приезжал туда ко мне. Мы подолгу гуляли, осматривали окрестности, заглохшие пруды в старом парке. Об одном пруде, между прочим, ходило предание, что он образовался на месте церкви, провалившейся во время венчания вместе с духовенством и брачащимися. Антон Павлович записал это предание. И вот на берегу этого самого пруда в зарослях парка мы встретили Никиту. Он ловил карасей и мазал илом свою ужасную ногу. Антон Павлович осмотрел ногу и прописал какую-то мазь; я ее привез, но Никита отказался употреблять лекарство и заявил:

— Зря деньги не плати, а что мазь эта стоит — лучше мне отдавай деньгами либо табаку нюхательного купи: табак червяка в ноге ест.

Рассказал я Чехову, как Никита гайки отвинчивает, и Антон Павлович долго разговаривал с ним, записывая некоторые выражения. Между прочим, Никита рассказывал, как его за эти гайки водили к уряднику, но все обошлось благополучно.

Антон Павлович старался объяснить Никите, что отвинчивать гайки нельзя, что от этого может произойти крушение, но Никите это было совершенно непонятно. Он только пожимал в ответ плечами и спокойно возражал:

— Нешто я все гайки-то отвинчиваю? В одном месте одну, в другом — другую… Нешто мы не понимаем, что льзя, что нельзя?

Никита произвел на Чехова сильное впечатление. Из этой встречи впоследствии и

родился рассказ «Злоумышленник». В него вошли и подлинные выражения Никиты, занесенные Чеховым в его знаменитую записную книжку.

Мы жили в доме де Ладвез на Второй Мещанской, в маленькой квартирке в нижнем этаже. В это время был большой спрос на описание жизни трущоб, и я печатал очерк за очерком, для чего приходилось слоняться по Аржановке и Хитровке. Там я заразился: у меня началась рожа на голове и лице, температура поднялась выше 40 градусов. Мой полуторагодовалый сын лежал в скарлатине, должно быть, и ее я тоже принес из трущоб. На счастье, мой друг доктор А. И. Владимиров, только что окончивший университет, безвыходно поселился у меня и помогал жене и няне ухаживать за ребенком. У меня рожа скоро прошла, но тут свалилась в сыпном тифу няня Екатерина Яковлевна, — вошь я занес, конечно, тоже с Хитрова рынка… И вот в это самое время случайно забежал ко мне Антон Павлович. Он пришел в ужас и стал укорять нас, что не послали за ним. Осмотрел няню, сына, проглядел рецепты и остался доволен лечением. Тут вернулся Владимиров, и мы все вместе уговорили Антона Павловича не приходить больше в наш очаг заразы. Суровый Владимиров для убедительности перевел все на профессиональную почву: дескать, лечу я и прошу не мешать. Как будто — уговорили. Не прошло, однако, и двух дней, как Антон Павлович явился опять и затем стал заходить и справляться чуть ли не ежедневно. Тогда мы решили не отпирать ему дверей, несмотря на все просьбы, разговаривали с ним сквозь щель, не снимая с двери цепочки.

Антон Павлович подарил мне первый литографированный экземпляр своей пьесы «Иванов», которая была поставлена в бенефис Н. В. Светлова в театре Корша. Вот что об «Иванове» рассказывал мне брат Антоши, Иван Павлович:

— Я носил пьесу в театр Корша. Понравилась. Потом как-то зашел я на репетицию и застал в буфете бенефицианта Светлова и Градова-Соколова. Светлов ругательски ругал пьесу: «Какая это пьеса для бенефиса? Одно название чего стоит — «Иванов». Кому интересен какой-то Иванов? Никто и не придет». — «Нет, брат, ошибаешься, — возразил Градов-Соколов. — Во-первых, автор — талантливый писатель, а во-вторых, — название самое бенефисное: «Иванов» или «Иванов». Каждому «Иванову» и «Иванову» будет интересно узнать, что такое про него Чехов написал. И если только одни Ивановы придут — у тебя уж полный сбор обеспечен»…

И действительно, Градов-Соколов предсказал верно. Когда начался разъезд после спектакля, только и слышалось у подъезда:

— Карету Иванова!

— Одиночку Иванова!

— Лихач от Большой Московской с Ивановым!

— Кучер полковника Иванова!..

В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы», изданные «Осколками». Самую первую свою книжечку, «Сказки Мельпомены», он дал мне еще в 1884 году. Вслед за «Пестрыми рассказами» он напечатал в том же году в типографии братьев Вернер, на Арбате, вторую книгу — «Невинные речи». У Вернеров мы оба работали в издаваемом ими журнале «Сверчок».

Чехов посоветовал и мне собрать и издать свои очерки и рассказы, которых за последние два года благодаря моему увлечению беллетристикой накопилось порядочно.

— Кто же мне издаст?

— А Собачий Воротник.

Так Чехов называл младшего Вернера, щеголя, носившего пальто с воротником из какого-то серого меха.

Но «Собачий Воротник» отказался издать мою книгу, а предложил напечатать ее в кредит. И я напечатал «Трущобные люди».

Ее сожгли. Уцелел лишь один экземпляр, переплетенный из листов, тайком данных мне фактором. Единственный экземпляр моей книги я подарил жене. Близкие знакомые, желавшие прочитать эту запретную книгу, приходили к нам. Пришел и Чехов.

— Ну, конечно, нецензурно. Хоть ты мне бы показал, что печатать хочешь… Можно было бы что-нибудь сделать. А то уж одно название — «Трущобные люди» — напугало цензуру. Это допустимо было в шестидесятых годах, когда цензоры либеральничали в угоду времени. Ну и дальше заглавия: «Человек и собака», «Обреченные», «Каторга», «Последний удар»… Да разве это теперь возможно?

— Вы подумайте, Антон Павлович, — у жены это любимое слово было, — вы подумайте, как же не напечатать книгу, когда все помещенные в ней очерки были раньше напечатаны?

— В отдельности могли проскочить и заглавия и очерки, а когда все вместе собрано, действительно получается впечатление беспросветное… Все гибнет, и как гибнет! Мрачно все…

И тут же Чехов утешил нас:

— Ну, да скоро доживем мы до того времени, когда эту книгу Гиляя напечатают, и увидим ее большой успех… А это будет… будет… Идет к тому…

Сожгли мою книгу, и как будто руки отшибло писать беллетристику. Я весь отдался репортерству, изредка, впрочем, писал стихи и рассказы, но далеко уже не с тем жаром, как прежде.

Я увлекся конским спортом — вспомнил юность, степи, табуны. Я отдыхал на скачках, главным образом не на самих скачках, а на утренних работах скаковых лошадей.

Потом начал писать в казенном журнале «Коннозаводство» и московском «Русском спорте», а впоследствии редактировал «Журнал спорта». Я интересовался только верховыми лошадьми, купеческого рысака я не любил, — и метался по степям, по табунам, увлекаясь давно знакомым мне делом.

С Чеховым я встречался все реже и реже… Уже давно кончились наши субботы у меня и воскресенья у Чеховых. Антон Павлович стал идти в гору. «Русские ведомости», которые я почти оставил, стали за ним ухаживать, «Русская мысль» — тоже… А потом — Художественный театр. Но хотя наши встречи и стали реже, они всегда были самые теплые, дружеские и по-прежнему веселые. Вспоминается, например, такой случай.

Как-то часу в седьмом вечера, Великим постом, мы ехали с Антоном Павловичем с Миусской площади из городского училища, где брат его Иван был учителем, ко мне чай пить. Извозчик попался отчаянный: кто казался старше, он ли или его кляча, — определить было трудно, но обоим вместе сто лет насчитывалось наверное; сани убогие, без полости. На Тверской снег наполовину стаял, и полозья саней то и дело скрежетали по камням мостовой, а иногда, если каменный оазис оказывался довольно большим, кляча останавливалась и долго собиралась с силами, потом опять тащила еле-еле, до новой передышки. Наших убеждений извозчик, по-видимому, не слышал и в ответ только улыбался беззубым ртом и шамкал что-то невнятное. На углу Тверской и Страстной площади каменный оазис оказался очень длинным, и мы остановились как раз против освещенной овощной лавки Авдеева, славившейся на всю Москву огурцами в тыквах и солеными арбузами. Пока лошадь отдыхала, мы купили арбуз, завязанный в толстую серую бумагу, которая сейчас же стала промокать, как только Чехов взял арбуз в руки. Мы поползли по Страстной площади, визжа полозьями по рельсам конки и скрежеща по камням. Чехов ругался — мокрые руки замерзли. Я взял у него арбуз.

Действительно, держать его в руках было невозможно, а положить некуда.

Наконец я не выдержал и сказал, что брошу арбуз.

— Зачем бросать? Вот городовой стоит, отдай ему, он съест.

— Пусть ест. Городовой! — поманил я его к себе.

Он, увидав мою форменную фуражку, вытянулся во фронт.

— На, держи, только остор…

Я не успел договорить: «осторожнее, он течет», как Чехов перебил меня на полуслове и трагически зашептал городовому, продолжая мою речь:

— Осторожнее, это бомба… неси ее в участок… Я сообразил и приказываю:

— Мы там тебя подождем. Да не урони, гляди.

— Понимаю, вашевскродие. А у самого зубы стучат.

Оставив на углу Тверской и площади городового с «бомбой», мы поехали ко мне в Столешников чай пить.

На другой день я узнал подробности всего, вслед за тем происшедшего. Городовой с «бомбой» в руках боязливо добрался до ближайшего дома, вызвал дворника и, рассказав о случае, оставил его вместо себя на посту, а сам осторожно, чуть ступая, двинулся по Тверской к участку, сопровождаемый кучкой любопытных, узнавших от дворника о «бомбе».

Вскоре около участка стояла на почтительном расстоянии толпа, боясь подходить близко и создавая целые легенды на тему о бомбах, весьма животрепещущую в то время благодаря частым покушениям и арестам. Городовой вошел в дежурку, доложил околоточному, что два агента охранного отделения, из которых один был в форме, приказали ему отнести «бомбу». Околоточный притворил дверь и бросился в канцелярию, где так перепугал чиновников, что они разбежались, а пристав сообщил о случае в охранное отделение. Явились агенты, но в дежурку не вошли, ждали офицера, заведовавшего взрывчатыми снарядами, без него в дежурку войти не осмеливались.

В это время во двор въехали пожарные, возвращавшиеся с пожара, увидали толпу, узнали, в чем дело, и старик брандмейстер, донской казак Беспалов, соскочив с линейки, прямо, как был, весь мокрый, в медной каске, бросился в участок и, несмотря на предупреждения об опасности, направился в дежурку.

Через минуту он обрывал остатки мокрой бумаги с соленого арбуза, а затем, не обращая внимания на протесты пристава и заявления его о неприкосновенности вещественных доказательств, понес арбуз к себе на квартиру.

— Наш, донской, полосатый. Давно такого не едал.

Немало квартир переменили Чеховы, во всех приходилось мне у них бывать. Припоминаю один курьез из тех времен, когда они жили на Большой Якиманке. Пришел я к Чеховым как-то под вечер и нашел Антона ходящим из угла в угол по кабинету: лицо — бледное, осунувшееся.

— Что с тобой?

— Живот болит. Завязал шарфом — не помогает, надо радикально лечиться, — и позвал служившего у него мальчика: — Бабакин, сходи в аптеку и купи касторки в капсулах.

Аптека была рядом, и мальчик живо принес касторку. Чехов развернул коробку и со смехом показал мне две огромные капсулы.

— Каковы? За кого они меня приняли? — Он взял перо и крупными буквами написал на коробке: «Я не лошадь».

Бабакин снова отправился в аптеку и на этот раз принес шесть капсул в коробочке. Аптека получила желанный автограф.

В 80-х годах Антон Павлович купил себе небольшое имение Мелихово в Серпуховском уезде, в двенадцати верстах от станции Лопасня, Курской железной дороги.

Антон Павлович очень любил свой тихий мелиховский уголок, свой «вишневый сад».

Особенно хорошо там бывало ранней весной. Иногда я ездил туда на Пасху, когда съезжались в Мелихово гости и вся патриархальная семья Чеховых была в сборе.

Налево от передней помещался кабинет Антона Павловича с полками книг и письменным столом, на котором всегда лежала папка с начатым рассказом или повестью. Он обыкновенно при гостях работал урывками, но все-таки писал каждый день: напишет немного, потом оторвется от работы, выйдет к гостям поговорить, затем опять садится писать. Иногда во время обеда он внезапно вставал из-за стола, уходил в кабинет, набрасывал несколько строк и, вернувшись в столовую, продолжал застольную беседу. Удивительно легко у него гостилось. Всякий делал, что хотел, никто никому не мешал. И в то время, когда он писал, к нему можно было входить в кабинет, не боясь помешать. Так, по крайней мере, на моей памяти это всегда бывало в Мелихове.

Столовая была рядом с кабинетом. У Антона Павловича имелось свое излюбленное место у конца стола, вблизи от двери в кабинет.

В те времена он не отказывался от рюмки водки и стакана вина и всегда сажал меня рядом с собой и любил сам наливать мне. По правую руку от меня всегда занимал место его отец, Павел Егорович, тоже разделявший нашу компанию. А дальше мать, Евгения Яковлевна, сестра, Мария Павловна, и братья.

Уроженцы Таганрога, они любили южные кушанья, и Евгения Яковлевна мастерски их готовила и любила угощать по-донскому. И настоечка, и наливочка, и пироги — всего бывало всегда вволю. А уезжающим в Москву обязательно завертывали чего-нибудь вкусного на дорогу.

С восторгом я вспоминаю о Мелихове. Это, кажется, лучшее время из жизни Чехова. Здоровье его тогда находилось еще в сравнительно хорошем состоянии, был он жизнерадостен, любил природу. Да и задумываться было некогда: литературная работа, хозяйство, сад, в котором Антон Павлович всегда копался, занимаясь посадками, а потом вечная толпа баб и мужиков, приходивших к своему «дохтуру» с разными болезнями. И всегда — гости и гости.

Когда последних съезжалось слишком много, а особенно «дамского сословия», мы, своя компания, с Антоном Павловичем во главе, переселялись в баню. Впрочем, ее только называли баней. В действительности там при бане было несколько комнат, прекрасно обставленных, с кроватями и диванами. Славно время проводили мы там — и наливочка, и чаек, и разговоры да чтения с вечера до утра.

Кто-то из братьев Чеховых имел фотографический аппарат, снимал виды и группы. И вот однажды ранней весной, только что снег сошел, мы гуляли в саду, Антон Павлович обратился ко мне:

— Гиляй, я устал, покатай меня на тачке! — и сел в тачку. Туда же поместился его брат Миша, бывший тогда еще гимназистом, а когда я привез их к дому, то пожелали снять фотографию. Кроме нас трех, на группе — Иван Павлович Чехов и двоюродный брат Антона Павловича — Алеша Чехов.

Я частенько наезжал в Мелихово. Иногда Антоша вызывал меня письмами. Вот одно из них, случайно уцелевшая открытка:

«Москва. Столешников, дом Корзинкина. Вл. Ал. Гиляровскому. Хочешь, чтобы тебя забыли друзья? Купи имение и поселись в нем. Потяни, Гиляй, за хвостик свою память и вспомни о поздравляющем тебя литераторе Чехове. Христос воскресе! Твой А. Чехов. Мелихово.

P. S. Лошади теперь хорошие. Приезжай».

Помню, раз, должно быть в 900-м году, напечатал я фельетон о выступлении декадентов в Художественном кружке и их жестоко вышутил. Заглавие фельетона было «Люди четвертого измерения». В ответ я получил от Чехова такую открытку:

«Милый дядя Гиляй, твои «Люди четвертого измерения» великолепны, я читал и все время смеялся. Молодец дядя! После 20 апреля буду в Москве. Крепко жму твою ручищу. Твой А. Чехов. 23 марта 1900 г.».

Помню, что я ответил ему тогда открыткой с такими стихами:

Каламбуром не избитым
Удружу — не будь уж в гневе:
Ты в Крыму страдал плевритом,
Мы на севере — от Плеве.

Когда приехал Чехов в Москву, я спросил его, получил ли он открытку. Оказалось — нет. Я ему повторил стихи.

— Ну вот, ты напиши-ка мне их, а открытка твоя, наверное, пригвождена к делу приставом Гвоздевичем…

Как-то мы завтракали вдвоем с Антоном Павловичем в «Славянском базаре». Он зимой приехал в Москву из Ялты.

— Ты помнишь Епифанова? — спросил Чехов меня. — Сценки писал…

— Ну да, Сережу… Алкоголик, бедняга…

— Наткнулся я на него в Ялте в больнице за несколько дней до смерти. Носил ему гостинцев… Всему он радовался… Вспоминали старых товарищей, Москву, трактиры… Когда заговорил я о тебе, он только два слова сказал: «Было попито!»

Я тут же рассказал один случай с Епифановым, который очень понравился Чехову, и он взял с меня слово, что я его обязательно напечатаю. Это был уже блеск его славы, и мелочей он не писал. Я дал ему слово — и забыл.

Мы сидели как-то в редакции «Московского листка», где Н. И. Пастухов, по обыкновению в расстегнутом халате и в туфлях, рассматривал за письменным столом принесенный репортерами материал. Сережа Епифанов, небесталанный поэт и автор сценок, принес уличную картинку о том, как толпа в самый Новый год собралась на Цветном бульваре около лежавшего на снегу замерзшего попугая, прекрасного белого какаду. Епифанов рассказывал, что в Москве появились попугаи, живут они на бульварах, все это в смешной форме. Пастухов прочел сценку и сказал: «Не пойдеть! Ты вот найди, откуда это попугай взялся и как он на бульвар попал, тогда пойдеть!» — «Это невозможно, Николай Иванович». — «Какой же ты после этого репортер выходишь? Может, сам нашел на помойке дохлую птицу и подкинул ее, чтобы сценку написать? Вон Гиляй с Вашковым купили на две копейки грешников у разносчика, бросили их в Патриарший пруд, народ собрали и написали сценку «Грешники в Патриаршем пруде». Там хоть смешно было… А это что? Сдох попугай, а ты сценку в сто строк. Вот найди теперь, откуда птица на бульвар попала. Эх, ты, строчило мученик!»

Пастухов встал и ушел.

На углу Петровки и Рахмановского переулка, в доме Левенсона, над трактиром Зверева помещались тогда меблирашки «Надежда», которые были населены главным образом проститутками из средних, мелкими служащими и актерами. В те времена, когда Пастухов послал Епифанова разыскивать попугая, в самом лучшем из номеров «Надежды» жил некто Кондратьев, красивый высокий блондин с огромными выхоленными усами. Он рекомендовался всем как отставной офицер, но, судя по его языку, уж слишком упрощенному, этому верить было трудно. Известно только было, что он жил картежной игрой и бильярдом и был завсегдатаем бильярдного трактира Саврасенкова близ памятника Пушкину. Эта бильярдная, занимавшая два зала, с лучшими фрейберговскими бильярдами, служила в Москве самым крупным притоном для шулеров. Игра происходила на деньги, причем публика, теснившаяся по длинным диванам вдоль стен, держала иногда крупные суммы за игроков-шулеров, и спуск шел вовсю. Играли здесь знаменитости того времени: Пискун, Соломон, Шулькевич, Голиаф, Малинин и, не последний среди них, Кондратьев. Играл еще маляр Кирюша, умевший показывать такую игру, что у шулеров выигрывал партии.

Из редакции «Листка» после отповеди Пастухова мы с Епифановым вышли очень огорченные, и я повел его к Саврасенкову утешать графинчиком водки с приличной закуской. Мы сели на большой диван, как раз против бильярда, где велась игра. К нам подсел великан, игрок Голиаф, которого я давно знал, и, указывая на игравших, сказал:

— Вот Малинин, что он вчера с Кондратьевым сделал — смехота!

— А что?

— Уж и не говорите. У Кондратьева на празднике деньжонки завелись, ну, Васька к нему и подмазался и прямо отсюда, это третьего дня было, к нему в гости навязался. Выпили в номере чайку, водочки вдвоем, а потом ему Малинин банчишко заложил один на один. Игра шла начистоту. Играли долго. Под утро Малинин все деньги у него выиграл, часы, портсигар, а тот зарвался, из себя вон лезет. А Васька ему: «Хочешь на попугая?» А в комнате у него белый попугай любимый жил. «Да на что он мне? Ну, изволь, согласен».

Долго ли, коротко играли, Кондратьев и попугая проиграл. «Получай, твой попугай! Хочешь на собаку? У меня пойнтер есть ланских кровей, цены нет». — «Где же он?» — «Да внизу в швейцарской, в номере держать нельзя, хочешь за триста рублей?» — «Ладно, давай и кобеля!» Кондратьев вышел из номера за собакой, а Малинин взял попугая из клетки да и выкинул его через форточку на улицу, а сам надел шубу и наутек. «Куда же ты?» — «Не могу, домой пора». И ушел. Сейчас вот Малинин все это нам и рассказывал. Кондратьев за ним бегает, плачет: «Отдай попугая, я без него жить не могу», а он уж сдох давно, на Цветном бульваре ребята его таскали замерзлого.

Это была удача! Епифанов подробно описал всю рассказанную нам историю, принес Пастухову и получил за это 25 рублей и теплое пальто в подарок.

В пятом томе писем А. Чехова есть письмо от 25 ноября 1899 года Горькому из Ялты:

«Здесь в приюте для хроников, в одиночестве, в забросе умер поэт «Развлечения» Епифанов, который за два дня до смерти попросил яблочной пастилы и, когда я принес ему, то он вдруг оживился и зашипел своим больным горлом, радостно: «Вот эта самая! Она!» Точно землячку увидел».

Я прочел это письмо в собрании писем, изданных Марией Павловной, вспомнил данное слово и написал то, что рассказывал когда-то Антону Павловичу об Епифанове.

«Над дорогой с веселым криком носились старички, в траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким «тррр» полетело к холмам. Кузнечики сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую, монотонную музыку…»

С такой любовью описывает Антон Павлович утро в степи.

А дальше день, знойный июльский день: «Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же — небо, равнину, холмы… Музыка в траве приутихла. Старички улетели, куропаток не видно. Над поблекшей травой, от нечего делать, носятся грачи; все они похожи друг на друга и делают степь еще более однообразной… Для разнообразия мелькнет в бурьяне белый череп или булыжник; вырастет на мгновение серая каменная баба или высохшая ветла…»

Славно удалось его первое большое произведение «Степь»!

Не та буйная, казацкая, гоголевская степь с ее налетами запорожцев, а тихая, спокойная степь времени его детства и юности.

Антон Павлович — степняк прирожденный, от прадедов. Когда вышла его «Степь», я много беседовал с ним о степях, которые сам страстно люблю. В этих беседах принимал участие и его отец.

Из рассказов Павла Егоровича и его детей я узнал и родословную Чеховых.

Дед Антона Павловича, Егор Михайлович Чех, принадлежал к крепостным знаменитого донца графа Платова. Почему прозвание его было Чех, так и осталось неизвестным. Он жил и работал в степных слободах Крепкой и Княжой, заработал достаточно денег чтобы выкупиться на волю, что и сделал. Дети у него были уже свободны, — три сына: Михаил, Павел и Митрофан.

Михаил, старший, был отцом отдан в ученье в переплетчики в Калугу, где скоро получил известность, как лучший мастер. Он назывался не Чехов, а Чохов. Своему отцу он прислал подарок — весьма сложно сделанную шкатулку со следующею надписью: «Примите, дражайший родитель, плод усердного труда моего». Шкатулкой этой очень дорожил Антон Павлович.

Митрофан Егорович открыл бакалейную торговлю в Таганроге. После него остались два сына: Владимир, учительствовавший в Таганроге, и Егор, служивший в Русском обществе пароходства и торговли. Это был любимец Антона Павловича, который звал его «Жоржик». Я бывал в Ялте у Антона Павловича, встречал у него Егора Митрофановича.

Павел Егорович, отец Антона Павловича, начал свою молодость трудной работой прасола. Он гонял скот — и красный калмыцкий и серый украинский — в Москву, в Харьков и другие большие города. Во время путешествия с гуртами, где верхом, где пешком, он

попал в Шую и там высмотрел себе невесту. Это и была Евгения Яковлевна. Она урожденная Морозова, дочь купца.

Женившись, Павел Егорович задумал переменить полную приключений кочевую жизнь прасола на оседлую и открыл в Таганроге, по примеру брата, колониальную лавочку.

Дети Михаила Чехова все были коммерсанты.

Дети Павла Егоровича: покойный Николай — был весьма талантливый художник, Антон, Александр и Михаил — писатели, Иван — учитель, Мария — художница-пейзажистка. Павел Егорович, став коммерческим человеком, все-таки не утратил той поэтической жилки, которую заставила забиться в груди его степная прасольская жизнь.

Много раз я беседовал с Павлом Егоровичем. Холодный, расчетливый практик исчезал, и предо мной вставал совершенно другой человек, полный поэзии, когда разговор переходил на степь, на привольную жизнь, на табуны, на казачество. Молодел и изменялся Павел Егорович.

В том же Мелихове, бывало, когда я возвращался на север из моих частых поездок по южнорусским степям, разговоримся мы, заслушается, оживится старик и предложит:

— Пойдемте-ка, я вам наших лошадок покажу.

— Вот садитесь-ка на эту, проезжайте, — как идет! Только что с Дона привели! — и начнет расписывать достоинства лошадки, заглянет в старину и скажет: — Эх, бывало, и я когда-то ездоком был!

А то еще у него увлечение было — скрипка.

Вспоминал он иногда и некоторые строки Кольцова.

Видно, что поэзия степной жизни, глубоко вкоренившаяся в юности, и любовь к степи, переданная сыну, таились в душе его и, хотя изредка, все-таки пробивались сквозь толстую, наносную, многолетнюю кору практической жизни и борьбы с нуждой.

А нуждаться ему приходилось в прежние годы. Торговля в Таганроге шла неважно. Надо было подыскивать еще заработки. И тут-то вот скрипка, знание музыки и хороший голос создали новую профессию Павлу Егоровичу…

На родной сестре Евгении Яковлевны, Федосье Яковлевне, был женат друг и товарищ Павла Егоровича, А. Б. Долженко, начавший свою деятельность такими же степными путешествиями по России за скупкой холста и разных крестьянских изделий. Бывали оба они в Шуе и женились на родных сестрах. А. Б. Долженко потом завел мануфактурную торговлю в Таганроге, был большой любитель духовного пения и на этом сошелся с Павлом Егоровичем. Сначала они пели в греческом монастыре, потом во дворце, в походной церкви и в соборе. Павел Егорович обучал хор под скрипку и был регентом.

Это давало почетное положение в городе, а хор его приезжали слушать даже из Ростова и других городов.

В хоре пели все дети Чехова и сын А. Б. Долженко, Алексей, до настоящего времени один из друзей семьи Чехова, сверстник младших. Александр Павлович, старший, пел сначала дискантом, потом басом; Николай, хороший скрипач, помогал отцу и особенно много пел, что отразилось на его здоровье и, возможно, послужило причиной его болезни; Антон пел альтом.

Семья жила очень дружно. Антон Павлович был смирнее всех. У него была очень большая голова, и его звали «Бомбой», за что он сердился. Любимым занятием Антона было составление коллекций насекомых и игра в торговлю, причем он еще ребенком мастерски считал на счетах. Все думали, что из него выйдет коммерсант.

В том, что Антон Павлович сделался писателем, мы многим обязаны его матери, Евгении Яковлевне, а также и тому, что коммерческие дела отца его в Таганроге шли плохо. Старшие дети учились, Александр был уже в четвертом классе гимназии, когда приспело время отдавать учиться Антона…

В «Степи» Чехова отец Христофор разговаривает с купцом Кузьмичевым. Первый стоит за учение и приводит в пример Ломоносова:

— Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, богу угодные.

А Кузьмичев отвечает:

— Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра — женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтоб из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что ежели все пойдут в ученые, да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают.

— А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учения постигать.

Вероятно, подобные разговоры происходили когда-то среди окружавших Антона Павловича в детстве.

Когда Антон был в четвертом классе, а Александр в восьмом, отец открыл новую лавку около вокзала, надеясь на наплыв публики.

И время каникул у обоих прошло в лавке. Единственным отдыхом было посидеть вечером на крылечке и послушать отдаленную музыку, доносившуюся из городского сада.

Покупатели были большей частью беднота, а торговцы-гимназисты обладали добрым сердцем, и в результате вместо барыша оказался убыток. Лавка была закрыта.

Антон снова очутился в гимназии. Николай и Александр были отправлены в столицу, первый — в Московское училище живописи и ваяния, второй — в университет.

Торговые дела Павла Егоровича шли все хуже. А тут еще домовладелец Моисеев плату за квартиру и лавку с четырехсот рублей в год возвысил до восьмисот. Это была последняя капля, — и Чеховы, закрыв торговлю, переселились в Москву.

Здесь начали учиться младшие дети, Мария и Михаил, а вскоре приехал из Таганрога доучившийся там в гимназии Антон и поступил в университет, а затем стал сотрудничать в юмористических журналах.

Любил я чеховскую компанию, когда они жили в «комоде». Удивительно был похож на комод этот двухэтажный флигелек — он и сейчас такой же — на Кудринской-Садовой; он принадлежал тогда земляку Чехова, доктору Карнееву, донскому казаку. Вверху помещались столовая и комнаты для семьи, внизу — большой кабинет Антона Павловича, в который сверху была устроена внутренняя лестница прямо из столовой. Тогда я очень много разъезжал в разных командировках, то на холеру, то на чуму в Астраханские пустыни, то на разные катастрофы, а то в Задонские степи по делам табунного коневодства, в казачьи зимовки и калмыцкие улусы. И только налетом, возвращаясь в Москву, мог видеть я моего друга, и каждая встреча наша была взаимно радостна.

В один из таких приездов влетел я к Антону в кабинет. Он, по обыкновению, за письменным столом сидит.

— Откуда? — улыбнулся он, и глаза его засияли.

— Да отовсюду: с Волги, с Дона, с Кубанских плавней, с Терских гребней.

— Как ты загорел! Совсем чугунный. Ну, садись! Рассказывай!

— Вот тебе гостинец из родных краев, — копченый гусь, сало, две бутылки цимлянского с Дона да шемайка вяленая с Терека.

Весь стол у Антона был обложен аккуратно связанными пачками конвертов с сохранившимися еще на них пятью сургучными печатями — денежных, — со стола он перекладывал их на полку.

— Архив перебираю, — пояснил он мне. — Все редакционные дела. Вот «Осколки», вот «Стрекоза», вот «Петербургская газета»… Память о прожитых богатствах.

И он начал развертывать мой кулек.

— А, с Дону, родное, степь-матушка!

Я тихо, бережно пожал ему руку, он улыбнулся.

— Эх, ты!.. Ну, рассказывай…

Не успел я рта разинуть, как сверху сбежал юноша в студенческом мундире — Н. Е. Эфрос… А из прихожей появились Семашко с виолончелью и певец Тютюник. Поздоровались, начали любоваться гостинцами. Эфрос почти тотчас же простился и убежал.

Сверху послышался крик Марии Павловны:

— Антоша, завтрак готов!

— Несите все на стол! — обратился Антон Павлович к нам. — Вы, Семашко, рыбу, гуся и сало, а вы, певец, вино. Мы сейчас придем есть.

Они ушли наверх. Вдруг раздался звонок, вошла горничная.

— Антон Павлович, вас портной спрашивает.

— Глебов? Белоусов?

— Нет, не Федор Глебыч и не Иван Алексеич, а другой какой-то, с бородой и с узлом.

— Гиляй, милый, посмотри и, если чужой кто, скажи, что меня дома нет.

Я вышел в переднюю. У двери смиренно стоял в скромном драповом пальто бородатый мужчина, под мышкой у него был узел в черном коленкоре, в каком портные заказы приносят.

— Владимир Галактионыч! Вот не узнал… Из Нижнего? Ну, раздевайтесь!

— Да, вчера приехал.

— Антоша, Короленко пришел! — закричал я. Только что мы уселись в кабинете, как раздался голос Евгении Яковлевны сверху:

— Антоша, кабачки остынут!

Пришлось прервать беседу и идти наверх, в столовую.

И почти всегда так бывало: когда ни придешь, постоянно народу у Чеховых труба не толченая. Он уже начал входить в моду. Начался тот период, о котором так много писали, а я здесь описываю только мои личные впечатления, вспоминаю то время, когда мы — Гиляй и Антоша Чехонте — были близки. И хотя до конца жизни он остался для меня Антошей, а я для него Гиляем, прежней близости, когда Чехов «вошел в моду», уже не' стало — слишком редки были встречи вдвоем.

Здоровье Антона Павловича становилось все хуже и хуже. Я изредка навещал его в Ялте. Приехал я как-то раз очень усталый от довольно бурно проведенного времени и норд-оста потрепавшего нас между Новороссийском и Ялтой. Тогда у меня, чего никогда еще не бывало, появился тик, нервное подергивание лица и шеи.

— Это что тебя дергает? Это что еще за глупости? Как не стыдно, — ты, витязь, премированный за атлетику! — начал упрекать меня Чехов.

Меня опять дернуло.

— Оставь, будь умным! Ты думаешь, что лучше будет, если ты так головой мотнешь? — И он точь-в-точь повторил мое движение с сердитым взглядом. Первый раз в жизни я увидел у него такие глаза.

— Ничего от твоего дерганья на свете лучше не будет, все как было, так и останется… Брось, не смей!

И, погрозив сердито пальцем, он сразу изменил тон и показал мне в окно на невзрачного человека, копошившегося около клумбы.

— Это наш Бабакай. Пойдем в сад, и ты мне скажи экспромт о Бабакае.

Я сочинил какие-то четыре строчки, из которых помню теперь только последнюю: «И какой-то Бабакай».

— Ну вот, теперь напиши это на косяке, — мы спускались в это время вниз по лестнице.

Я написал. Антон Павлович прочел.

— Это я с тебя стихами докторский гонорар взял за то, что от глупой привычки вылечил. Понял ты, что дергаться не надо, от этого никому не лучше, ни хуже не будет, и перестал.

— Верю и не буду.

— Да, вот… Ты думаешь, я плохой доктор? Полицейская Москва меня признает за доктора, а не за писателя, значит, я доктор. Во «Всей Москве» напечатано: «Чехов Антон Павлович. Малая Дмитровка. Дом Пешкова. Практикующий врач». Так и написано: не писатель, а врач, — значит, верь!

И я поверил и больше ни разу не дернулся до сего времени.

Мы сидели на лавочке в саду, а Бабакай рылся в клумбе. У меня был кодак, я снял несколько раз Антона, Бабакая, дачу, Антон меня снял. Подошла Мария Павловна, — сняли и ее. Одна только ее карточка и вышла хорошо. Это единственный раз, когда Антон Чехов был фотографом. Подошел Бабакай.

— Антон Павлович, какие-то бабы из города в шляпках приходили, я сказал, что вас нет.

— Хорошо, Бабакай! Это он городских дам называет бабами, отбою от них нет, — пояснил мне Чехов.

— Судьба твоя такая. Без баб тебе, видно, не суждено. Ты подумай, сам говоришь: «От баб отбою нет». Служит у тебя Бабакай… Под Новым Иерусалимом ты жил в Бабкине, и мальчик у тебя был Бабкин… И сапоги мы с тобой покупали у Бабурина…

— Да, я и не подумал об этом, все баб… баб… баб… кругом! — рассмеялся он.

— Нет, еще не совсем кругом, а только что в начале баб. А чтоб завершить круг, ты вот на этой самой клумбе, которую копает Бабакай, посади баобаб.

В ответ Антоша со смехом вынул кошелек, порылся в нем и подал мне две запонки для манжет.

— Вот тебе за это гонорар. На память о баобабе… Обязательно посажу баобаб и выпишу его через Бабельмандебский пролив… Бабельмандебский!

Он опять расхохотался.

— Гиляй, знаешь что, — заключил он, — оставайся у меня жить. С тобой и умирать некогда.

А как любил Чехов степи! Они были постоянно темой наших разговоров, когда мы оставались вдвоем, и оба мы на этих воспоминаниях отдыхали от суеты столичной…

Еще в начале нашего знакомства он с удовольствием выслушивал мои стихи про Стеньку Разина, про запорожцев, которые еще тогда напечатаны не были.

Я уже говорил о том впечатлении, которое произвела на меня «Степь», напечатанная впервые в «Северном вестнике», в конце 80-х годов. При первой же встрече я высказал Чехову свой восторг:

— Прелесть! Ведь это же настоящая, настоящая степь! Прямо дышишь степью, когда читаешь.

— Скучно тебе было читать, скажи по совести!

— Тихо все, читаешь, будто сам в телеге едешь, тихо-тихо едешь.

— Вот оттого-то она и скучна тебе, так и быть должно. Моя степь — не твоя степь. Ведь ты же опоздал родиться на триста лет… В те времена ты бы ватаги буйные по степи водил, и весело б тебе было. Опоздал родиться…

Он засмеялся. Потом задумался и, глядя мне в глаза, медленно проговорил.

— Будет еще и твоя степь. И ватаги буйные будут. Все повторится, что было… Только мы с тобой не доживем до этого. А будет, будет это… И Гонты, и Гордиенки, и Стеньки Разины будут… Все будет… И шире и грознее еще разгуляется. Корка вверху лопнет и польется; ведь в каждой станице таится свой Стенька Разин, в каждой деревне свой Пугачев найдется… Сорвется с цепи — а за ним все стаей, стаей…

Повторение этого разговора было у нас опять в Ялте, через несколько лет, когда я возвращался из «Нового света» — знаменитого голицынского виноделия. Антон Павлович был один — он да Евгения Яковлевна. Остальные все разъехались. Он чувствовал себя в этот день очень хорошо, мы опять гуляли по саду и разговаривали в кабинете перед открытым окном, глядя на море.

— Твои герои — в прошлом, сильные, могучие, с порывами; а мои нынешние все кислота, киснут и скулят; как ты выражаешься — чеховщина.

Он надолго закашлялся.

— Да ведь так гнить без конца нельзя… Гниет болото, гниет да и высохнет… И запылает от искорки торф в глубине и лес наверху. Только после нас это будет. Не вовремя

ты родился. Или опоздал на триста лет, или раньше явился на сто. Помнишь, у тебя стихи. Я забыл. Как это?

— Какие?

— Идут полки… Бунчуки стали… кто гол… кто в бархате… атаман… усища… Всю картину вижу, а стихов не помню.

— Изволь:

Идет казацкой силы рать…
Все ближе… ближе… Слышны крики,
Видны отдельные полки,
Звенят подковы, блещут пики,
Горят на солнце бунчуки.
На том папаха,
Из черна соболя окол,
На этом рваная рубаха,
На этом бархат, этот гол,
И лишь полгруди закрывают
Усы…

— Вот… вот… Именно такие… Все будет, все будет… через сто лет.

Он вытянул руку к окну, к морю.

— Гляди! Вот твои запорожцы летят на чайках, — прямо на гостиницу «Россия»! Вот ватаги с горы толпами прут, топоры сверкают. Слышишь, гудит?..

— Антоша, завтракать! — вошла Евгения Яковлевна. Он сразу поник, опустил руку и обернулся ко мне:

— Идем.

Мы вышли из комнаты вслед за Евгенией Яковлевной.

«Так-то, Гиляюшка, все будет, все будет, только мы с тобой не увидим…» — еще звучало у меня в ушах.

В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох, хотел меня видеть и что доктора его увозят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему, на четвертый этаж дома Полякова, № 22 по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку как дверь сама навстречу мне отворилась и вышел доктор Ю. Р. Таубе.

— Ну вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали, Антон Павлович вспоминал вас, обрадуется.

— Каков он?

— Слаб. Послезавтра за границу.

На шум вышла в прихожую Ольга Леонардовна с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась:

— Я испугалась, думала, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам…

Мы тихо подошли к кабинету. Сквозь полуотворенную дверь я увидал Антона Павловича. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое… и руки тоже… Услышав шаги, он поднял голову… Один момент — и три выражения: суровое, усталое, удивленное — и веселые глаза. Радостная Антошина улыбка, которой я давно не видел у него.

— Гиляй, милый, садись на диван! — И он отодвинул ноги вглубь.

— Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчасика вас покину, — обратилась ко мне Ольга Леонардовна.

— Да я его не отпущу! Гиляй, какой портвейн у меня! Три бутылки!

Я взял в свою руку его похудевшую руку, — горячую, сухую.

— А ну-ка пожми! Помнишь, как тогда… А табакерка твоя где?

— Вот она.

Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке и поднес ее близко к носу.

— С донничком? Степью пахнет донник. Ты оттуда?

— Из Задонья, из табунов.

— И неуков[10] объезжал?

— И неуков объезжал, и каймак[11] ел, и цимлу пил, и выморозки…[12]

— Хорошо там у нас… Наши платовские целинные степи!

Он задумался.

— А я вот за границу еду, да… за границу…

— Прекрасно, а как вернешься, в степи тебя повезу, в табуны.

— Ах, степи, степи!.. Вот ты счастливец… Ты там поэзии и силы набираешься. Бронзовый весь, не то, что мы. Только помни: водку пей до пятидесяти лет, а потом не смей, на пиво переходи.

Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле,[13] о каторжной работе табунщиков зимой в голодовку да в шурганы,[14] когда по суткам с коня не слезаешь, чтоб табун головой против ветра держать… а он слушал, слушал, сначала все крутил ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то вдаль… задумчивые и радостные… Думаю, степь увидал.

— Допивай портвейн, там в шкафу еще две бутылки… Хороший портвейн… Только твоя сливянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся Марии Ивановне да скажи, что приеду обязательно ее наливки пить… Помнишь, тогда… Левитан, Николай, опенки в уксусе…

И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку:

— Я так, минутку… не уходи, пей…

И задремал. За все время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежавшие желтые руки с синими жилками и думал:

«Нет, Антоша, не пивать тебе больше у меня сливянки, не видать тебе своих донских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных…»

Колышется живая площадь красными знаменами, красными платочками, красными майками. А среди этого красного, ритмически волнующегося моря вкраплены яркие зеленые, оранжевые и голубые пятна и полосы.

Послушная звукам оркестра, стройно движется демонстрация. Тысячи рук с рельефными мышцами сверкают и золотятся живой бронзой на солнце, опускаются и снова вырастают из цветных маек. Тысячи оживленных глаз и здоровых румяных лиц глядят весело и уверенно.

Шаг уверен, ярок, смел. Звучит ритмично мостовая, И бронза загорелых тел Горит на солнце, как живая.

— Все люди будут сильными! — сказал мне в одну из бесед А. П. Чехов.

— «Все люди будут сильными», — глядя на демонстрацию, повторил я слова Чехова.

---

[10] Неук — необъезженная лошадь, не ходившая еще ни в упряжи, ни под верхом

[11] Каймак — особым способом приготовленные сливки из топленого молока

[12] Цимла — цимлянское вино. Выморозки — крепкое виноградное вино, из которого вода удалена вымораживанием

[13] Хурул — монгольский храм

[14] Шурган — метель, буран

В восторге смотрел я на эту полную сил и жизни молодежь, на стройные ряды загорелых ребятишек, радостным и звонким строем уверенно шагающих за своими старшими товарищами. На лицах у всех написано:

«Мы — сильные!»

И теперь, когда я заканчиваю эти строки, мое восьмидесятилетнее сердце болит о друге юных дней, и мне думается, будь он жив, — встретив такой праздник молодежи, он, автор «Хмурых людей», написал бы книгу: «Жизнерадостные люди».

Сожженная книга

На Тверской, напротив генерал-губернаторского дворца, стоял четырехэтажный дом Олсуфьева. Ряд надворных флигелей был сплошной трущобой, а в доме на улицу четвертый этаж занимали меблирашки, известные всей Москве под именем «Чернышей», — комнаты с низкими потолками, с маленькими окнами, с подоконниками на треть метра от полу: чтобы посмотреть в окно, надо было согнуться в три погибели. Этим огромным домом управлял квартальный из бывших городовых, состоявший при генерал-губернаторе князе В. А. Долгорукове для личных услуг. Полиция перед ним трепетала и не смела сунуть носа в олсуфьевскую крепость — ни в ее трущобы, ни в меблирашки «Черныши», которые десятки лет содержала старуха Чернышева. Управляющий не интересовался, кто и как в них живет, вполне полагаясь на «Чернышиху», крестившую с десяток его детей, причем каждому своему крестнику она клала на «зубок» по выигрышному сторублевому билету. И хозяйка оправдывала доверие: в меблирашках всегда было тихо, ни шума, ни скандалов, — половина жильцов была не прописана.

В семидесятых — восьмидесятых годах там останавливались и подолгу проживали отцы и деды нашей революции.

В эти годы самый большой номер, в две комнаты, занимал М. И. Орфанов-Мишла, бывший судебный следователь по должности, ярый народник-шестидесятник и автор «Сибирских рассказов», запрещенных для библиотек. Роста он был огромного, сложения богатырского, темная борода в полгруди, по-видимому, никогда не ведала ножниц, а косматая грива подстригалась раз-два в год.

В номере рядом с ним жил его друг Вася Васильев, провинциальный актер, служивший в то время в Москве, в театре А. А. Бренко, мой старый товарищ по сцене; сам он был крошечный, лицо с кулачок, бритое по-актерски, густые брови и черные курчавые волосы — родовое наследство по мужской линии.

Отец его был кантонист, по фамилии Шведевенгер, родом откуда-то с Волыни. В аракчеевские времена там забирали еврейских мальчиков от родителей, крестили их и в кантонистских школах воспитывали из них солдат.

Разъезжали фуры по еврейским поселкам, ловили ребятишек и навсегда увозили от родителей. При крещении им давали имя и фамилию большей частью по крестному отцу, а отец с матерью даже не знали, где находится их ребенок.

И Мишла и Вася были прописаны: один — по указу об отставке, другой — по паспорту клинского мещанина Василия Васильевича Васильева. Проживал мещанин Васильев по этому документу столько лет, сколько искала полиция солдатского сына Шведевенгера, разыскиваемого по делу Питерской коммуны в Эртелевом переулке и по другому делу, связанному с арестом Н. Г. Чернышевского. Потом он был арестован еще по делу 193-х, но как-то ухитрился удрать, и на место Шведевенгера выплыл актер Васильев.

В номере Мишла стояли две кровати и диван вроде тургеневского «самосона», поперек которого могло в ряд улечься пятеро, что иногда и бывало. В номере Васи тоже стояли две кровати и диван поменьше и тоже не пустовали. Эти два номера были явками для народников и местом их ночлега. Два номера напротив занимали: один — студент Ершов, а другой — хористка Попова, знакомая Гриши Орденсона, торговца книгами, который время от времени, проездом через Москву «с товаром», останавливался у нее. Часть багажа он

обычно по приезде отдавал Васе, а остальное вез дальше, главным образом в Воронеж, где у его жены был домишко. Вася распаковывал багаж и раздавал его по назначению в Москве. По большей части это были книжки и брошюрки на тонкой бумаге для рабочих на фабриках и заводах, а иногда увесистая пачка «Народной воли».

Ночевали у Мишла и Васи разные лица. И раз в номере последнего целый месяц спокойно прожил П. Г. Зайчневский, удравший из ссылки. Не раз ночевал и я.

Как-то утром зашел к нам Мишла. В одной рубахе и в резиновых огромных калошах на босу ногу. А мы только что встали и пили чай.

— Сегодня в час приходите ко мне завтракать. Будут Нефедов, Приклонский и Глеб Иваныч. Он вчера приехал из Питера и сейчас еще спит у меня. Я хочу прочитать новый сибирский очерк. Ну, так приходите. А я побегу к Генералову за закусками. Предупреждаю, водки не будет. Только пиво. Хочется серьезно прочитать.

Я немного опоздал, и, когда пришел, чтение уже началось. Не желая мешать, я сделал общий поклон и сел в сторонке. Меня с улыбкой дружеским жестом приветствовал Мишла и поклонились остальные. В первый раз я тогда увидел писателей, и сразу четырех.

На диване-самосоне сидел гигант Мишла и читал. Справа от него, вытянув во всю длину короткие ножонки, приютился у спинки маленький Вася. Он, задрав голову, смотрел на чтеца, как мышь на колокольню. Слева устроился сумрачный Нефедов, с его лысой головы наполовину сполз косматый, грубо сделанный парик. Напротив, на стуле, сидел Глеб Иванович Успенский, внимательно слушая. Он глубокомысленно резал ломтики сыра и запивал их маленькими глотками пива.

С. А. Приклонский, автор книги «Год на севере», стройный и красивый, с лицом, еще обвеянным недавними полярными бурями Ледовитого океана, курил папиросу за папиросой, то и дело стряхивая пепел с вьющейся русой бороды.

— Два года табаку не видал! Курили с поморами мох да торф, — говорил он обыкновенно, как бы извиняясь, когда запускал пальцы в портсигар соседа.

В молчании слушали все интересный рассказ из острожной жизни.

На половине тетради чтец остановился:

— Дайте отдохнуть. Пожалуйте пока закусить. Наливайте пива.

Завтрак был сервирован на столе, с листом газеты «Русских ведомостей», только что поданным и пахнувшим краской; вместо скатерти: полковриги ситного, филипповские калачи, головка голландского сыра и три вареных колбасы во всей своей неприкосновенности.

— Ну-с, режьте и ешьте!

Тогда-то Мишла представил меня обществу, назвав по фамилии.

— Друг Василия Васильевича. Вместе работают. Меня приняли очень любезно: рекомендация была солидная.

Принялись резать колбасу, наливать пиво, батарея бутылок которого стояла на окне.

— Колбаса великолепная, еще совсем горячая!.. У нас в Петербурге такой нет. Каждый раз в гостинец привожу ее из Москвы от Генералова, — сказал Глеб Иванович.

И тут вдруг громко захохотал, поперхнулся и прыснул пивом на всех нас Приклонский.

— Ты чего ржешь? Что с тобой? — улыбнулся Мишла.

— Ха-ха-ха! Генераловская! — заливался Приклонский.

— Да в чем дело?

— В чем? Вернулся после двух лет отсутствия вчера в Москву. Иду по Тверской, все так же, как и прежде было… Тот же двухэтажный желтый дом Филиппова… Тот же золотой калач над дверью висит… Рядом та же гостиница Шевалдышева. Дальше та же самая голубая, с огромными золотыми буквами вывеска над гастрономическим магазином: «Генералов». Как раз над ней такого же размера другая старая вывеска — «Фотография», — ну, словом, все как и было… Издали только и видны эти две крупные надписи «Фотография»… «Генералов». Читаю, да как расхохочусь на всю улицу! Народ останавливается, а я гляжу, оторваться не могу. Гляжу и хохочу. Читаю вслух «Фотография»

и «Генералов» — и хохочу.

«Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Давно ль на сей земле? Да что с вами?» — подает мне кто-то руку. Гляжу — мой защитник Плевако.

«Здравствуйте, Федор Никифорович! Да вы глядите, читайте», — указал я на противоположную стену.

«Ну, фотография, ну Генералов, ну…»

Вдруг его скуластое лицо расплылось в улыбку. Засмеялись киргизские раскосые глаза, и грянул хохот на всю улицу.

Образовалась толпа. Подходят знакомые, здороваются с Плевако. Спрашивают, что такое, а он поднимает обе руки, одним пальцем показывает на одну вывеску, другим — на другую. Все читают и хохочут, глядя на две большие золоченые свиные головы, рельефно выдающиеся посреди стены, как раз между вывесками «Фотография» — «Генералов».

Приклонский хохотал, мы все ему вторили. И ведь тоже только сейчас вспомнили про эти головы. Никому в голову не приходило. У Глеба Ивановича слезы на глазах выступили от хохота.

— Ведь каждый раз захожу к Генералову за колбасой, каждый раз, когда мимо иду, вижу эти две курносые свиные головы, каждый раз невольно читаю вывески-и никогда не думал и подумать, что это фотография генералов!.. Вот как мы, российские обыватели, запуганы генералами.

В этот день больше не читали.

Это была моя первая встреча с Глебом Ивановичем Успенским.

Прошли годы. Я уже был женат. Мы встретились снова с Глебом Ивановичем в «Русских ведомостях».

Глеб Иванович Успенский очень любил щи с головизной и московские расстегаи с рыбой и вязигой, а потому каждый его приезд в Москву мы отправлялись небольшой компанией прямо из редакции в Черкасский переулок, к «Арсентьичу». Так звали не совсем первоклассный, но сытный трактир, славившийся рыбными блюдами. Впоследствии, когда мы подружились, он не раз обедывал у меня, и жена угощала его борщом и ватрушками или щами с головизной и рыбной кулебякой.

Мы обедали втроем, и после обеда, за стаканом вина, он каждый раз просил меня прочитать «Стеньку Разина». Сцена с палачом всегда вызывала у него слезу на глаза, и он, впечатлительный и нервный, говорил при этом жене:

— Мария Ивановна! Как вы не боялись выйти за него замуж? Ведь он Стенька Разин! Только Стенька Разин так и мог про себя написать.

В один из таких обедов в моей скромной квартирке, в доме Лавровой в Хлыновском тупике, за стаканом самодава, привезенного мне моим приятелем с Дона, я разболтался, стал рассказывать о белильном заводе Сорокина в Ярославле, о чем никогда никому не говорил. Глеб Иванович засыпал меня вопросами, а я в ответ принес ему очерк из рабочей жизни «Обреченные», который лежал у меня, начисто переписанный, но отдавать его в печать я даже не мечтал и никому, кроме своей жены, не читал.

Набросан он был еще в 1874 году на Волге, между Ярославлем и Нижним, когда я с белильного завода пробирался в Астрахань на вольные ватаги.

Из Нижнего я отослал это мое первое произведение отцу, и только в 1883 году, уже твердо вступив на литературный путь, я взял у отца эти листы бумаги, исписанные карандашом, и впоследствии в свободное время их отделывал, переписывал, но все еще не решался печатать именно этот очерк.

Великая радость охватила меня, когда Глеб Иванович, прослушав весь большой очерк, не перебивая, с влажными от волнения глазами, сказал:

— Ведь это золото! Чего ты свои репортерские заметки лупишь! Ведь ты из глубины вышел, где никто не бывал, пиши, пиши очерки жизни! Пиши, что видел…

И целый час он говорил, говорил, заставлял перечитывать отдельные строки, выражения, целые сцены…

Незабвенно говорил, а мы незабвенно, в восторге слушали, и я рос в своих глазах.

— Нет, ты сообрази… Ведь ты показал такой ад, откуда возврата нет… Приходят умирать, чтобы хозяин мошну набивал, и сознают это и умирают тут же. Этого до тебя еще никто не сказал. А это будет. Другого исхода нет.

Мы просидели целый вечер у меня. Он расспрашивал подробности, мелочи и то и дело говорил:

— Этого у тебя нет. Запиши! Вставь! Сегодня ты перепиши и завтра принеси в редакцию. В четыре часа я буду там.

Когда я на следующий день пришел в редакцию «Русских ведомостей», В. М. Соболевский меня уже ждал, сидя за своим редакторским столом, а Глеб Иванович тут же вычитывал свою корректуру.

В этот вечер я исполнил просьбу Успенского — сводил его на Хитровку. Он пришел в ужас от обстановки и далее разбойничьего трактира «Каторга» отказался идти. С Хитровки мы вместе поехали в типографию «Русских ведомостей», где я сдал срочные заметки и, к величайшей моей радости, увидел гранки набранных уже «Обреченных». Это была моя первая крупная работа в «Русских ведомостях» за подписью.

Я печатал уже давно рассказы и очерки в газетах и журналах, но не рисковал дать в «Русские ведомости», где «подвалы» занимались корифеями. Этим моим выступлением в профессорской газете я обязан Глебу Ивановичу и затем ему же обязан еще большим: он меня спас от тюрьмы, а может быть, и от Сибири, а пока упрочил мое положение в «Русских ведомостях».

Собрал я пятнадцать рассказов, разбросанных в разных изданиях за эти годы: вышло больше десяти листов; дал заглавие «Трущобные люди» и напечатал в типографии братьев Вернер, на Арбате, книжку в двести сорок страниц.

Это была первая моя книга!

С трепетом сердца, почти священнодействуя, я читал корректуру и в гранках, и уже в листах, и, наконец, когда все было отпечатано, я получил в листах один экземпляр, а другой, сброшюрованный, был отправлен цензору.

Совершенно спокойный, надеясь, что на книге кой-что заработаю, взял я аванс в редакции, занял, кроме того, сто рублей для уплаты типографии в счет трехсот рублей и ждал с нетерпением выпуска книги. Она еще лежала в листах, запертая на замке в кладовой типографии. Второго экземпляра, несмотря на мои усиленные просьбы, мне не выдали.

— Подождите, получим от цензора, начнем брошюровать, тогда и дадим сколько угодно.

Прихожу на другой день, 17 ноября, в типографию. Евгений Вернер, переводчик и редактор «Сверчка», встречает меня с встревоженным видом:

— Гиляй, твою книгу арестовали! Ночью приехал инспектор по делам печати, обыскал типографию и буквально всё, до последнего листа твоей книги, арестовал, увез, а набор велел при себе рассыпать. У самих ни гранки не осталось. И оригинал взял!

Я чувствовал себя убитым. Бросился к председателю цензурного комитета — старому-старому Федорову.

— Уж ежели арестовали — значит, хороша книга.

Зря не арестуют. В Петербург для соответствующего распоряжения отправили экземпляр.

И больше разговаривать не стал.

Посоветовали мне поехать в Петербург, в главное управление по делам печати, куда был послан вместе с книгой и мотивированный доклад цензора. Что было в докладе, я так и не узнал, ибо это в цензурном комитете считалось величайшей государственной тайной.

А я весь в долгу, и выпуск книги для меня был всё.

Поехал в Петербург. Являюсь в цензурный комитет и наталкиваюсь на секретаря С. В. Назаревского, которому рисую мое горе. Он деликатно объясняет, что едва ли я получу разрешение на выпуск книги, что она уже с неблагоприятным для меня заключением

главного управления рассматривается в комитете министров.

— По всей вероятности, не дозволят выпустить в свет!

— Что же делать? Мне советовали подать прошение начальнику главного управления Феоктистову.

— Подайте… для очищения совести… Только едва ли… Завтра в два часа подайте лично начальнику.

Прихожу на другой день в два часа с прошением о пересмотре книги и разрешении ее. Прошу курьера доложить, сшибая с него важность рублевой бумажкой.

— Сейчас доложу… Только их превосходительство сегодня не в духе… Подождите.

Доложили. Вхожу. Солидный чиновник один шагает по кабинету. Увидал меня и, наклонив голову, подходит. Рекомендуюсь, подаю прошение.

— Что это? Прошение?

— Да.

Берет. Смотрит.

— А марки? Марки где, я говорю?!

— Марки я наклею… Только, пожалуйста, не откажите выслушать.

— Без марок прошение не подают… Извольте наклеить марки…

Я стоял молча, растерянный.

— Идите же… Приложите марки и передайте прошение в канцелярию.

Я продолжаю стоять.

— Извольте идти, я кончил. — И, нагнув еще больше шею, повернулся ко мне задом.

Пока я в канцелярии наклеивал марки, оказалось, что Феоктистов уже ушел. Прошение мне пришлось подать его помощнику Адикаевскому.

Это страшное, тупое существо в вицмундире приняло меня весьма сурово и заявило, что оно знакомо с моей книгой и с заключением цензурного комитета об ее уничтожении вполне согласно.

— Там описание трущоб в самых мрачных тонах, там, наконец, выведены вами военные в неприглядном и оскорбительном виде… Бродяги какие-то… Мрак непроглядный… Н-да-с, молодой человек, так писать нельзя-с… Из ваших хлопот ничего не выйдет… Сплошной мрак, ни одного проблеска, никакого оправдания, только обвинение существующего порядка.

— Там все правда! — возразил я.

— Вот за правду и запретили. Такую правду писать нельзя. Напрасно хлопотали и марки на прошение наклеивали… Марки денег стоят-с… Уезжайте в свою Москву, вас уведомят, — он повернулся и ушел.

Ничего не понимая, спускаюсь по широкой лестнице с пятого этажа цензурного комитета.

Свежий воздух на улице привел меня в себя — и первая мысль в голове: «Как это я не побил морду Адикаевскому?»

А кулаки уж свинцом налились. Стою, как добрый молодец на распутье.

Передо мной в этот миг выросли двое друзей: богатырская фигура седого старика и Глеб Иванович Успенский.

— Ты как здесь?.. Вот рад! — воскликнул Глеб Иванович.

— Здравствуй, Гиляй!.. — меня облапил и целует старик.

Тут только я узнал его. Это был Аполлон Николаевич Алифатов, управляющий конным заводом Орлова. А Глеб Иванович глаза вытаращил:

— Да разве вы знакомы? Аполлон, ты знаешь его?

— Ну вот еще! Наш брат — лошадник.

Мы стояли на тротуаре, я подробно рассказывал свое горе и закончил:

— Вот и жду! Как выйдет Адикаевский — морду в клочья, ребра переломаю. А завтра Феоктистова изувечу!

И оба в один голос:

— Что?! Да ты обезумел! Попадешь в тюрьму — и прямо в Сибирь! А им только по ордену дадут в утешение.

— Все равно, прежде я сам их награжу… Друзья взяли меня под руку, а я уперся:

— Никуда не пойду. Алифатов старается.

— Нешто его, быка, сдвинешь!.. Ну! Рванули и повели. Я послушно пошел.

— Да ты подумай только, как, например, Феоктистова бить… Он уж так побит, что сам не свой ходит. Вот что про него Минаев написал:

Островский[15] Феоктистову
Затем рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал!

— Ну, черт с ним! Адикаевского изувечу.

— И это глупо. Из-за мерзавца и себя и семью губить… А на кого семья останется? А где Успенский будет борщ с ватрушками есть? А?

Алифатов все время смотрел на меня, качал головой и повторял:

— Вот дура, вот дура некованая. Вспомни: Адикаевский! Набьешь ему морду, попадешь к жандармам в ад и будешь каяться.

Мы все трое засмеялись и двинулись дальше. Пересекли Невский и зашли в меблирашки у Аничкова моста, к Алифатову, где случайно остановился и я. На столе была икра, сыр, колбаса и бутылка красного вина. Закусили и выпили. Много говорили, и, наконец, Глеб Иванович убедил меня, что после такого ответа Адикаевского ждать нечего.

— Все равно, книгу сожгут наверное, а это большая честь: первая твоя книга — и сожгли! А скандалить будешь — вышлют. Схватят вот так, как мы с Алифатовым тебя тащили, да и поведут. А там начальство грозное в синем мундире сидит, а рядом жандарм здоровеннейший… И скажет тебе начальство… Ты только вообрази, что вот я, Глеб Успенский, генерал, а он — жандарм.

Алифатов встает, вытягивается во фронт, руку под козырек:

— Так точно, васкобродие!..

— Взять этого смутьяна в кибитку — и прямо в Сибирь! Ты мне головой отвечаешь за него! Понял?

— Так точно, васкобродие… Предоставим, васкобродие…

И лица у обоих серьезные, и вдруг мы все расхохотались, и всем нам стало весело…

Вечер мы провели у Глеба Ивановича, на Васильевском острове, проужинали до рассвета, а на другой день с почтовым увез меня Алифатов в Москву. С этого дня у нас с Глебом Ивановичем установилось навсегда дружеское «ты».

В Москву я вернулся успокоенным и даже с некоторой гордостью: автор запрещенной книги!

Сочувственно отнеслись ко мне все товарищи по «Русским ведомостям», а горячее всех — наборщики, всегда мои лучшие и самые близкие друзья.

В Москве заговорили обо мне и о моей книге, которая, невиданная, сделалась всем интересна, но я упорно никому ее не показывал. Она в хорошем переплете хранилась у жены, которой я и подарил этот единственный экземпляр.

Славы было у меня много, а дома денег ни копья. Долги душили. Я усиленно работал, кроме «Русских ведомостей», под всевозможными псевдонимами всюду: и стихи, и проза, и подписи для карикатур. Запрашивал цензурный, комитет, но всегда один ответ: запрещена безусловно.

Встречаю как-то в ресторане Тестова издателя «Московского листка» Н. И. Пастухова.

---

[15] М. Н. Островский, брат писателя, министр государственных имуществ.

И он сообщает мне:

— Главного инспектора сегодня утром видел. Поехал в часть твою книгу жечь… Только смотри, это страшный секрет.

— Как жечь? Отчего же меня не уведомили?

— А вот сожгут и не узнаешь. Я сказал сегодня инспектору, что вообще книги жечь очень глупо.

— Конечно, глупо! — обрадовался я такому либеральному взгляду у редактора «Московского листка».

— И даже очень! Какая польза от того и кому? Надо запрещенные книги не жечь, а изрезать и продавать на фабрику в бумажную массу. Ведь это денег стоит! Инспектор поблагодарил меня, хочет проект внести об этом.

— А в какой части жгут мою книгу?

— В Сущевской. Только, гляди, меня не подведи.

Через несколько минут лихач домчал меня до Сущевской части. С заднего двора поднимался дым. Там, около садика, толпа пожарных и мальчишек. Снег кругом был покрыт сажей и клочками бумаги. Я увидел специальную печь из железных прутьев — точь-в-точь клетка, в которой везли Пугачева, только вдвое выше. В печи догорала последняя куча бумаги: ее шевелил кочергой пожарный. Пахло гарью и керосином, которым пропитался снег около печи… Начальственных лиц — никого: уже все разъехались. Обращаюсь к пожарным, спрашиваю по знакомству, что жгут.

— Книгу какую-то запрещенную… Да и не книгу, а листы из типографии… Вот остатки догорают… И что за книга — никто не знает. Один листок только попал, на цигарки взяли, да и то не годится: бумага толста.

Я взял у пожарных этот единственный измятый лист с оторванным на курево уголком. Читаю: «Вл. Гиляровский. Трущобные люди». Всего в моих руках оказалось восемь страниц, и я до сего времени берегу эту реликвию. Я после узнал, что проект инспектора по делам печати был принят, он получил награду, и после моей книги уж ни одной в Москве не было сожжено: резали на полосы и посылали на бумажную фабрику. Железная печь была заброшена в пожарный сарай, и только во время революции 1905 года ее извлекли пожарные-кузнецы и перековали на свои надобности.

А мне осталось утешение, что, последней сожженной книгой в Москве была моя!

Певец города

Половина июня, а уж кандидаты на выигрыш дерби начинали определяться, хотя владельцы на утренних галопах старались скрыть резвость своих крэков,[16] пуская их совершенно неожиданно не с определенных мест, а где-нибудь внутри круга, иногда по мягкой дорожке, или делали галопы в два часа ночи, на рассвете. Июнь — боевой месяц московских скачек, и с рассвета до восьми-девяти часов утра владельцы лошадей и спортсмены всегда присутствовали на работах. Посторонних зрителей не бывало прежде всего потому, что пускали на ипподром только своих, да, кроме того, жокеи скакали без камзолов, в пиджаках и фуражках — так что лошадь узнать не знатоку не было возможности и глядеть, не зная, что за лошади скачут, интереса не представляло. Владельцы входили внутрь круга, где проводили лошадей, шептались с тренерами, отдавали приказания жокеям. Любители сидели скромно за чайком вокруг мраморных столиков посреди партера. Накануне больших скачек весь цвет скакового спорта присутствовал здесь.

Солнце еще только сверкнуло лучами на крышах высоких зданий, а граф Г. И. Рибопьер в сопровождении К. А. Петиона уже показался на росистой траве круга. Рибопьер любовался трехлетками своего завода, детьми Эола и Астарота, и обсуждал шансы на приз с

---

[16] Крэк — фаворит

тренером Митчелем. Рибопьер, вице-президент скакового общества, был в гусарской форме, а Петион, состоявший при нем в менажерах,[17] его товарищ по гвардии, — в штатском, но такой же «гордый и ясный», как и его принципал. Рибопьер очень гордился своим графством, хотя титул этот и фамилию предок его получил по милости Екатерины II за заслуги, о которых потомок избегал распространяться. Придворный парикмахер Пьер был особенно миловиден, когда смеялся, и Екатерина часто говорила ему: «Ris beau Pierre!».[18] Отсюда и пошла фамилия, а потом к ней присоединился и графский титул. Петион о своих предках молчал, потому что в те времена иметь дедом одного из крупнейших вождей французской революции было, конечно, возможно, но говорить об этом было рискованно. Чуть ли даже не из-за этого родства Петион, гвардейский офицер, в отставку принужден был выйти.

Вот два рыжих трехлетка в попонах ринулись внутрь круга с места… Петион щелкнул секундомером — все спортсмены поднялись у своих столиков и взялись кто за бинокль, кто за часы… Все караулили конюшню Рибопьера, откуда ждали дербиста. К Рибопьеру подошел генерал Арапов, лошади которого уже отскакали: тренер его, Николай Чураев, проверил их, еще когда чуть брезжило, и теперь наблюдал конкурентов…

Братья Иловайские, донские коннозаводчики, тоже пустили своих красавцев, детей знаменитого Дир-боя, купленного ими у донского коннозаводчика Максима Денисова из Пятиизбянской станицы, прямого и единственного потомка Степана Разина, что Денисову ставилось в вину начальством и отзывалось на успехах службы… Как журавль на болоте, в дальнем углу ипподрома недвижно стоял польский коннозаводчик Людвиг Грабовский. Своего трехлетка, который, как он верил, должен вне конкуренции взять дерби, Грабовский не пускал сегодня, потому что много собралось публики. Этот страстный охотник любил скаковую публику только в те моменты, когда его лошадь, взявшую большой приз, публика поощряла аплодисментами. Тогда Грабовский прямо от весов, еще не остывшего скакуна брал левой рукой за повод и проваживал перед трибунами под аплодисменты публики, размахивая ответно цилиндром, поднятым выше головы лошади…

Братья Ильенко, украинские коннозаводчики, всегда скакали только на лошадях своего завода и сажали на них только своих жокеев-украинцев, которых так воспитывали, что они являлись самыми опасными конкурентами и в скачках побивали англичан. Таковы были Воронков и Дудак.

Круг оживал все больше и больше. Появились члены скакового общества с биноклями. Они разместились в беседке для действительных членов, куда члены-любители не допускались. Сюда им подавали кофе и легкий холодный завтрак. Здесь были казак Платонов с солдатским Георгием, А. Ф. Шереметьев, М. Л. Пеховский, Ф. Ф. Достоевский, сын знаменитого писателя, казначей общества… Вот в беседку внесли на кресле княгиню А. М. Хилкову — она давно уже лишилась ног, но без лошадей жить не может. А сегодня привезли ее посмотреть трехлетка Вальса, сына Лагурьена, любимого производителя ее завода. На Вальса она возлагала большие надежды и любовалась красавцем жеребцом под жокеем Пучковым, промчавшимся по призовому кругу возле самой беседки…

Дербисты отскакали. Пошел старший возраст и ездоки-охотники. На препятствиях пробовал новую лошадь, кажется, Вервену, ротмистр Сумского гусарского полка Г. Н. Зворыкин, не пропускавший ни одной скачки с препятствиями. Он падал несколько раз, и его уносили с круга замертво, говорили, что у него «семь ключиц» сломано, а он все скачет и добросовестно берет призы. Соколов весьма удачно пробовал на «ирландском банкете» какую-то норовистую лошадь и лихо справился с опасным препятствием… Брал. барьеры прекрасный ездок Манич. Ему из-за столиков аплодировали, но не за езду, а по другой,

---

[17] Менажер — заведующий хозяйством, управляющий

[18] «Ри, бо Пьер»! — Посмейся, красавец Пьер!

особой причине: кроме скакового спорта, он занимался комиссионными делами. Года два назад он по поручению фабриканта Постникова продал его роскошный дом на шоссе, примыкавший садом к скаковому двору, фабриканту Коншину. В саду был небольшой пруд с карасями. При составлении у нотариуса купчей Манич выговорил себе в добавок комиссии карасей в пруду, на что Коншин согласился, и в купчей написали, что караси в пруду принадлежат Маничу. Прошло два года, Коншину понадобилось выстроить для своей рысистой конюшни здание, для чего необходимо было засыпать пруд. Когда приступили к работам, Манич заявил, что он не позволяет трогать его рыбу. В конце концов за десяток карасей Манич получил с Коншина двенадцать тысяч рублей.

Но вот барьеры убрали, и часов с семи начали скакать лошади, следить за резвостью которых интересно было уже только их владельцам да игрокам в тотализатор. Когда все скаковое начальство ушло, стала собираться посторонняя публика. Приходили любители провести утро на свежем воздухе и полюбоваться лошадьми. Ввалилась раскрасневшаяся компания прямо из отдельного кабинета «Яра». Предводительствовал компанией завсегдатай «Яра» Иван Иваныч в своем неизменном цилиндре над огромными усами. Он занял столик, а сам подошел к соседнему столику, где сидели солидный пожилой мужчина с рыжей бородой и другой- с коротко подстриженными усами, а на стуле стоял гимназист и в бинокль наблюдал лошадей.

— Яков Кузьмич, меня просил цыган Федор Соколов узнать, выиграет ли сегодня гандикап ваш Еврипид?

Иван Иваныч расправил усы, поздоровался и сел за столик.

— Думаю, что не выиграет… Мы сейчас вот с Бараниным рассуждали… Он ведь его тренирует — и говорит, что шансов нет — фунтов пять сбросить бы.

— Ну, а Этна как? Она на поощрительный приз скачет…

— Этна не в кондициях… Так, для галопа пускаем] — вдруг; соскочив со стула, отрезал гимназист. Сел, отвернулся и снова взялся за бинокль.

Иван Иваныч извинился, встал и направился к своей компании.

— Этна сегодня легко выиграет, но если этому усатому сказать, он разблаговестит, и дадут за нее гривенник на рубль, — заявил гимназист, как только Иван Иваныч отошел.

— Ты уж у меня, Валерий, известный политик… Все у тебя рассчитано, — ответил мужчина с рыжей бородой, отец гимназиста.

В тотализатор он обычно не играл, только каждый раз брал на свою лошадь один билет и то не ради азарта, а просто так, без всякого расчета. За билетом он посылал сына, а тот, когда знал наверное, что лошадь выиграть не может, клал деньги в карман и говорил отцу:

— Я ставить не буду и страхую твой выигрыш, даром жечь денег не следует. А на эти деньги я книг куплю…

— Ах, дипломат, дипломат! И все-то у тебя с «холодным вниманьем рассудка».

Яков Кузьмич, развитой и начитанный, любил щегольнуть цитатой, особенно за стаканом вина, в дружеской беседе. Чистокровные лошади были его страстью.

«Чистокровная лошадь — красота и сила», «резвость есть сумма силы», — то и дело бросал он в разговорах со спортсменами такие афоризмы.

У него было всего только две лошади второстепенных — Этна и Еврипид. Они стояли на конюшне тренера Баранина, выигрывали редко, а все-таки окупали себя и доставляли огромное удовольствие владельцу, страстному любителю скачек, как и его сын, гимназист. Со стариком Брюсовым я был знаком по «Славянскому базару», где он завтракал, приходя из своего городского амбара. Он был подписчиком спортивного журнала, который я редактировал, а главным читателем журнала был его сын. С обоими я постоянно встречался на скачках.

Однажды сын пришел ко мне в редакцию раскрасневшийся, взволнованный и робко подал статью по вопросу, в то время сильно волновавшему спортсменов. Написано было бойко, освещение верное. Я ее напечатал в ближайшем номере, и велика была радость юноши, увидавшего в печати свое первое произведение. После этого В. Я. Брюсов написал

еще несколько спортивных статей, а затем, уже будучи студентом, навсегда бросил спорт и перешел на поэзию и науку. Впоследствии он мне прислал книжку своих стихов «Русские символисты» с посвящением и подписью авторов: «Валерий Брюсов и А. Миропольский». Мы время от времени начали встречаться, но близко знакомства как-то не завязывалось.

Весной 1900 года ехали мы с Валерием Яковлевичем Брюсовым вдвоем в купе из Москвы по Александровской железной дороге. Конечно, разговор о поэзии, о современных поэтах, о литературных течениях и общих знакомых.

— Мы люди разные, — сказал Брюсов. — Вы человек степи, певец воли и удали, а мы люди города. Мы износились в городе, а все-таки я его люблю.

Надо заметить, что говорил он это года за три до своего увлечения Верхарном.

— Вот в вашей «Забытой тетради», — продолжал Брюсов, — в стихотворении «Каменный город», вы говорите:

Сгубят меня эти камни, Годик побыть бы на воле…

— А мы вот без города жить не можем, — продолжал Брюсов. — Город для нас всё. Мы боимся степного простора.

И он прочел несколько стихотворений. В них были и «улицы, кишащие народом, шумные дикой толпой», и «ушедшие в небо ступени, застывшие громады зданий», и «грохот его и шумы певучие»…

— Вот ответ на ваш «Каменный город», слушайте:

Мы дышим комнатного пылью, Живем среди картин и книг, И дорог нашему бессилью Отдельный стих, отдельный миг.

А я отвечал ему отрывками из «Стеньки Разина», «Запорожцев», отвечал ему песнями моря, степи, горных бурь, ночного урагана… Разина я ему прочел всего, с запрещенными тогда главами.

— О, если б это напечатать! Это сплошь революция.

— На Волге начато. На Дону кончено.

— Да. Это в городе не могло родиться.

— Вот поэтому-то я и не люблю города, — ответил я.

Вернувшись осенью в Москву, я нашел у себя на столе письмо от Валерия Яковлевича, в котором он говорил, что посылает мне продолжение нашей вагонной беседы, а меня просил прислать ему всю, с запрещенными главами, поэму «Стенька Разин». В другом пакете лежала книга «Tertia vigilia».

Рубрика «Города» два раза подчеркнута карандашом. А на первой странице такое посвящение:

В.А. Гиляровскому
Все мы жалки и тощи
В этой дряхлой вселенной,
В мире бледных кикимор.
Слава радостной мощи
Все ж в тебе неизменной,
Гиляровский Владимир.

Валерий Брюсов. 1900

Потом мы часто встречались в Литературно-художественном кружке, где он был директором, но это были встречи на народе, не такие, как тогда, в вагоне. Здесь Брюсов совсем не тот. Мне казалось, что вышел он из врубелевского портрета — в официальном сюртуке, застегнутый, как футляр, на все пуговицы, со скрещенными на груди руками. И даже голова мне казалась такой, как ее понял и дал проникновенный Врубель.

Или я его видел иногда на шмаровинской «среде», на литературных «вторниках», на разных юбилейных ужинах. Встречи были минутные, но когда мы жали друг другу руку, лицо его теряло обычную холодную корректность, на губах расцветала дружеская улыбка, и

вся его фигура оживала от статуйности. Радостно каждый раз встречались и ни разу не обменялись при встречах своими взглядами на то или другое течение в литературе. Я следил за его литературными и разнообразными учеными работами и вспоминая его слабую, бессильную фигуру, дивился работоспособности дышавшего «комнатной пылью» человека, у которого «отдельный стих, отдельный миг»… В его переводах Верхарна я находил много знакомого, много того, что я пять лет назад, в вагоне между Москвой и Шелковской, слышал от «певца города», которому был понятен

Грохот его и шумы певучие.

* * *

Шли годы. Наши мимолетные встречи продолжались так же дружески, но «певец города» становился с годами другим. В нем клокотал уже отзвук вулкана революций, он уже предвидел

Океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон…

«На этих всех, довольных малым, вы, дети пламенного дня, восстаньте смерчем, смертным шквалом, крушите жизнь и с ней меня…»

И город стал не тот, что тогда, когда он писал свои «Tertia vigilia». Теперь он славил город:

«И когда среди крови, пожара и дыма неумолимо толпа возвышает свой голос мятежный, — все прошлое топчет в прахе, играет со смерчем в кровавые плахи…»

Так еще задолго до первой революции начинает сказываться будущий поэт Октября.

* * *

Менялось время. Менялись отношения между людьми. А мы в отношении друг друга были неизменны. Насколько понимали мы и любили друг друга, может быть ясно из следующего.

В 1911 году, под осень, я сильно заболел воспалением легких. Чувствую, что все может случиться, что я, наконец, могу сломаться, а надо было кое о чем подумать вперед. Я решил обратиться к единственному в Москве человеку — хоть вся Москва знакома — Валерию Яковлевичу.

С постели вызвал его по телефону и говорю:

— Валерий Яковлевич, у меня воспаление легких, температура больше тридцати девяти, но мне необходимо вас повидать. Именно вас одного и никого более. Заразного ничего. Если бы вы…

— Ну что же, я через час, ровно через час приеду к вам, — перебил он меня и еще раз сказал: — Через час я у вас. — И положил трубку.

Часы пробили шесть.

Жду. Ставлю термометр: тридцать девять. Начинаю сомневаться: вдруг не приедет?

Звонок у двери. Жена идет встречать и через минуту вводит Валерия Яковлевича. Часы бьют семь.

— Дядя Гиляй! Да разве степному орлу полагается хворать! — И протягивает руку. Я не хочу подавать — он берет насильно и крепко жмет. Я отвечаю.

— Э, дядя Гиляй! Руку сломаешь, ведь мы городские.

— Валерий Яковлевич! Прошу выслушать — и дайте слово, что меня не перебьете до конца.

— Даю.

— Мне очень плохо. Сегодня ночью уж я был на том свете. Если не перенесу —

исполните мою огромную просьбу.

И я рассказал ему, как бы мне хотелось видеть изданными мои работы.

— Ну вот видите, дорогой дядя Гиляй, первую вашу просьбу я исполнил. А она была очень трудная — не перебить вас, когда вы, извините, несете чушь. Но я не перебивал вас. Вторая же ваша просьба совсем легкая, я с легким сердцем даю вам слово исполнить ее в точности, тем более, что мне ее и не придется исполнять: через две недели мы будем в кружке пить ваш любимый карданах… Вы любую болезнь ветром развеете… А вот если вас придавит рухнувшим домом в городе или в степи грозой убьет, — иначе вы умереть не можете, — то даю вам слово сделать все, что вы сказали.

Во время чая Валерий Яковлевич рассматривал мой альбом и написал в нем следующие стихи. Был ли это экспромт и есть ли они в печати — не знаю.

Опять поманит ли улыбкой Любовь, подруга лучших лет, Иль над душой, как влага зыбкой, Заблещет молний синий свет,-

На радости и на страданья
Живым стихом отвечу я,
Ловец в пучине бытия
Стоцветных перлов ожиданья.

Валерий Брюсов. На добрую память о прошлом В. А. Гиляровскому 29 сентября 1911 г.

Часы били девять. Тогда он ушел.

Потом он несколько раз справлялся по телефону, а через две недели мы пили с ним в Литературно-художественном кружке карданах.

* * *

Во время германской войны ни разу не встречались, выходило так: когда он в Москве — я уеду или наоборот.

Только после Октября мы стали встречаться чаще и опять на минуты. Как-то в голодный год только подольше побеседовали в театре Зимина на каком-то митинге или спектакле. Сидели за кулисами в артистической уборной, пили чай и ели жадно какие-то бутерброды с лошадиной колбасой. Между прочим, поменялись экспромтами. Что ему я написал — не помню, а он занял страничку моей книжки:

Другу моего отца и моему В. А. Гиляровскому — дяде Гиляю.
Тому, кто пел нам полстолетья,
Не пропустив в нем ни штриха,
При беглой встрече рад пропеть я
Хотя бы дважды два стиха.

Валерий Брюсов 20 июля 1920 г.

* * *

На моем полувековом юбилее, 3 декабря 1923 года, Валерий Яковлевич был товарищем председателя юбилейного комитета. Чувствуя себя не совсем здоровым, он все-таки приехал и в своем приветствии вспомнил, как он гимназистом принес ко мне свое первое произведение и как был счастлив, когда я напечатал его первый литературный труд. И это было в последний раз, когда я видел Валерия Яковлевича, слышал его, говорил с ним.

Через месяц праздновался юбилей поэта в Большом театре, но юбиляр, еще не поправившийся от болезни, незримо присутствовал в глубине темной директорской ложи бенуара, рядом со сценой.

Я знал о состоянии его здоровья, знал, что он там, за этой драпировкой. Он грезился мне таким же усталым и бледным, каким он был на моем юбилее, и, читая свое приветствие, я встал на правой стороне сцены и обратился лицом к ложе. В своем стихотворении я хотел продолжить его речь, его воспоминание юных дней — и оно начиналось так:

Помню я, в серенькой блузе
Ко мне гимназист приходил…

Грачи прилетели

На Моховой, бок о бок с Румянцевским музеем — ныне Ленинской библиотекой, — у входа в «меблированные комнаты» остановился извозчик, из саней вылез мой приятель, художник Н. В. Неврев. Мы, так сказать, столкнулись.

— Зайдем к Саврасову, возьмем его с собой и пойдем завтракать в «Петергоф».

Я не был знаком с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым, но преклонялся перед его талантом. Слышал, что он пьет запоем и продает по трешнице свои произведения подворотным букинистам или украшает за водку и обед стены отдельных кабинетов в трактирах.

Поднимаясь в третий этаж, Неврев рассказал мне, что друзья приодели Саврасова, сняли ему номер, и вот он уже неделю не пьет, а работает на магазины этюды…

— Я вчера к нему заходил, — прекрасную вещь кончает… Пишет с натуры через окно сад и грачиные гнезда… Нарочно сейчас приехал к нему посмотреть.

Дверь была чуть приотворена. Мы вошли. Два небольших окна глядят в старинный сад, где между голых ветвей, на фоне весеннего неба, чернеют гнезда грачей.

Мне вспомнились слова И. И. Левитана:

— Я ученик Алексея Кондратьевича.

В комнате никого не было. Неврев пошел за перегородку, а я остановился перед мольбертом и замер от восторга: свежими, яркими красками заря румянила снежную крышу, что была передо мною за окном, исчерченную сетью голых ветвей берез с темными пятнами грачиных гнезд, около которых хлопочут черные белоносые птицы, как живые на голубом и розовом фоне картины.

За перегородкой раздался громкий голос Неврева:

— Да вставай же, Алеша! Пойдем в трактир… Ну же, вставай!

Никакого ответа не было слышно.

Я прошел за перегородку. На кровати, подогнув ноги, так как кровать была коротка для огромного роста, лежал на спине с закрытыми глазами большой человек с седыми волосами и седой бородой, как у библейского пророка. В «каютке» этой пахло винным перегаром. На столе стояли две пустые бутылки водки и чайный стакан. По столу и на полу была рассыпана клюква.

— Алеша, — тормошил Неврев.

— Никаких! — хрипел пьяным голосом старик.

— Никаких! — повторил он и повернулся к стене.

— Пойдем, — обратился ко мне Неврев, — делать нечего. Вдребезги. Видишь, клюквой закусывает, значит, надолго запил… Уж я знаю, ничего не ест, только водка да клюква.

Потормошил еще — ответа не было. Вынул из кошелька два двугривенных и положил на столик рядом с бутылками:

— Чтобы опохмелиться было на что, а то и пальто пропьет.

Неврев был в восторге от картины:

— Ведь это же старый Алексей Кондратьевич. Вчера утром я подмалевку видел, а сейчас почти закончено… Надо присмотреть, чтобы спьяна не испортил… Забегу к нему

завтра утром…

Так я в первый раз видел знаменитого художника, одного из основоположников русского пейзажа. Это было 25 марта, в солнечный день, в конце 80-х годов.

Потом как-то через год или два я зашел однажды в эстампный магазин «Ницца» и увидел знакомую картину, ту самую, которую я видел в номере на Моховой. Внизу стояла подпись красной краской «А. Саврасов», видно, что сделана дрожащей рукой.

— Я видел у Саврасова эту картину, — заявил я владельцу магазина.

— Это не она, а повторение. Та картина давно продана, но Алексей Кондратьевич делает повторения. Да это уж далеко не то. Совсем старик спился… Жаль беднягу.

Оденешь его — опять пропьет все. Квартиру предлагал я ему нанять — а он свое: «Никаких!», — рассердится и уйдет. Как раз вчера писал у меня. Есть еще такие повторения, и не плохие. В прошлом году с какой-то пьяной компанией на «Балканах» сдружился. Я его разыскивал, так и не нашел… Иногда заходит оборванный, пьяный или с похмелья. Но всегда милый, ласковый, стесняющийся. Опохмелю его, иногда позадержу у себя дня на два, приодену — напишет что-нибудь. Попрошу повторить «Грачи прилетели» или «Радугу». А потом все-таки сбежит. Ему предлагаешь остаться, а он свое: «Никаких!..»

Видел я Саврасова еще раз, Великим постом, когда он ехал по Мясницкой с Лубянской площади, совершенно пьяный, вместе со своим другом Кузьмичом, который крепко его держал, чтобы он не вывалился из саней. Кузьмичом звали И. К. Кондратьева — старого писателя, работавшего в журналах и писавшего романы для издателей с Никольской. Жил он всегда на «Балканах» в Живорезном переулке, куда, видимо, и вез Саврасова, приютившегося у него.

Зима того года, когда мы встретились, была с самой осени снежная. Весь февраль — кривые дороги — сплошь метели. Поезда дальнего следования запаздывали, иногда на сутки, а на московских крышах, с кратерами вокруг труб, алмазные на солнце плато снега нависали большими белыми губами над тротуарами. Тогда не особенно следили за очисткой крыш, да и сбрасывать снег было весьма рискованной работой — заградительные решетки на краю крыши были редки.

Март в самых первых числах дохнул весной, иногда лишь порошил сырой снег с полчаса. «Молодой за старым идет» — говорили. Температура поднялась выше нуля. Солнце подогрело, и снег начал сползать с крыш, валиться целыми глыбами, а на желобах повисли хрустальные сосульки. Вдоль тротуаров по мостовой бежали мутные ручьи.

Пробираясь по Петровке, я остановился на тротуаре и задумался, где бы наскоро позавтракать. Напротив в актерском ресторанчике «Палермо» «неугрызимые» бифштексы и телятина под бешемелью с тухлинкой. В доме Левенсона на Петровке же — ресторан-низок Трехгорного завода, тоже дрянь, хоть и назывался литературным,

потому что в этом доме прежде помещалась редакция «Русского слова».

Пораздумав, решил отправиться в «Россию», которая прежде называлась татарским рестораном. Ее держали татары, а потом снял необыкновенно толстый грек Венизелос или Владос — не помню точно имени. Он надвигался своей громадной тушей на гостя и гудел сверху, так как толщина не позволяла ему нагибаться.

— Позалуста. Цудак по-глецески. Позалуста. Тефтели из филе, а ля Владос (или Венизелос, не помню), — рекламировал он меню.

Я остановился на тефтелях, но когда еще раз поднял глаза на Петровку, то решил идти завтракать домой.

Петровские линии, самая чистая улица Москвы, единственная тогда покрытая асфальтом, напомнила мне легенду о Вавилонском столпотворении в момент, когда после смешения языков строители разбежались и нахлынувшие аборигены начали разбирать леса и сбрасывать нагроможденные одна на другую каменные глыбы.

Я стоял и дивился. Грохали лавины снега. На крышах обоих домов с десяток рабочих, привязанных веревками к трубам, лопатами двигали и рушили вниз громады легко сползавшего снега…

По обе стороны тротуары были отделены от середины улицы снеговыми хребтами. Проезда не было, а проход, не без риска, конечно, был по самой середине мостовой. У подъезда ресторана два швейцара в картузах с золотыми галунами прокладывали лопатами путь, просекая траншею поперек снегового хребта. Я шел домой. Через Столешников переулок переправлялась толстая дама, хлюпая по мокрому снегу и балансируя на скользких выбоинах, что было весьма не легко: правой рукой она поддерживала подол модного тогда длинного платья, а в вытянутой левой руке держала муфту и шляпную картонку с надписью: «Вандраг», заменявшие ей необхрдимый баланс при опасной переправе…

Я остановился на углу Столешникова. На середине переулка кое-где обнажались булыжники мостовой, по которым скрежетали полозья извозчичьих саней, и чмокали на ухабах копыта лошадей… По обеим сторонам, вдоль тротуара громоздились кучи снега, сброшенного с крыш, и среди них серели каменные тумбы. Тогда тумбы были еще обязательны на всех улицах. Эти глупые тумбы являлись пережитками еще тех почти доисторических времен, когда деревянные мостки, заменявшие тротуары, ограждались ими от лошадей и телег.

На углу Столешникова и дальше по Петровке, где теперь огромный дом № 15, тогда стояли дома Рожнова. Там помещались магазины, между прочим, модный шляпный магазин Вандраг, булочная Савостьянова, парикмахерская Андреева. А между ними большая гостиница «Англия» с трактиром, когда-то барским, а потом извозчичьим и второстепенным. Во дворе находились два двухэтажных здания меблирашек и стоянка для извозчичьих лошадей…

Вход в трактир был со двора, а другой и въезд во двор — со стороны Столешникова переулка.

И вот на тротуаре около этих ворот я увидел огромную фигуру, в коротком летнем пальтишке, в серых отрепанных брюках, не закрывавших разорванные резиновые ботики, из которых торчали мокрые тряпки. На голове была изношенная широкополая шляпа, в каких актеры провинциальных театров изображают итальянских бандитов. Ветер раздувал косматую гриву поседелых волос и всклокоченную бороду.

Я подошел ближе. Он правой рукой шарил в кармане и сыпал на ладонь левой копейки. Я взглянул в лицо.

— А…

Я узнал Саврасова, когда-то любимого профессора Училища живописи, автора прославивших его картин «Грачи прилетели» и «Разлив Волги под Ярославлем»…

Много я видел его этюдов и рисунков по журналам — и все на любимую тему — начало весны.

— Алексей Кондратьевич, здравствуйте.

— Погоди… четыре… пять… — считал он медяки. — Здравствуйте, Алексей Кондратьевич!

— Ну? — уставился он на меня усталыми покрасневшими глазами.

— Я — Гиляровский. Мы с вами в «Москве», в «Волне» работали.

— А, здравствуйте! У Кланга?

— Да, у Ивана Ивановича Кланга.

— Хороший он человек… Ну вот… А сам дрожал, лицо было зеленое…

— Вот собираюсь опохмелиться. Никак не могу деньги собрать, за подкладку провалились.

— Вот что, Алексей Кондратьевич. Пойдем ко мне,-

предложил я, — выпьем, закусим…

— Куда ж это?

— Вот рядом, в дом, где балкон.

Он вдруг поднял голову, воззрился на что-то, посвежел, помолодел как-то сразу, глаза загорелись. Ткнул меня в бок, а правой рукой указывал на крышу церкви напротив, на углу Петровки.

— Гляди, гляди!..

По крыше тихо сползала лавина снега, а на ней сидела ворона, что-то торопливо, энергично долбившая клювом. Лавина двинулась быстрей, нависла на миг всей массой над тротуаром. Часть ее оторвалась и рухнула вниз, распугав, к счастью благополучно, прохожих, а на другой половине, быстро сползавшей, ворона продолжала свое дело. И когда остальное снежное плато рухнуло, ворона приподнялась, уселась на самом желобе и стала глядеть вниз на упавший снег: то одним глазом взглянет, то повернет голову — и другим…

— Какая прелесть!.. — радовался старик.

Должно быть, убедившись, что все потеряно, ворона улетела, и снова потух старик.

— Пойдемте, — позвал я его и взял за руку.

— Лучше бы в трактир, напротив. Да вот деньги-то… — и он опять зашарил в кармане.

— Денег-то у меня тоже нет.

Я взял его за руку, и мы зашлепали по растаявшему тротуару.

— Одет-то я… Нет, не пойду! — уперся было он на лестнице.

— Да у меня отдельная комната, никого не встретим. Я отпер дверь и через пустую прихожую мимо кухни

провел его к себе, усадил на диван, а сам пошел в, чулан, достал валенки-боты. По пути забежал к жене и, коротко сказав о госте, попросил приготовить поесть.

Принес, дал ему теплые носки и заставил переобуться.

Он долго противился, а когда надел, сказал:

— Вот хорошо, а то ноги заколели!

Встал, закозырился, лицо посвежело, глаза улыбались.

— Ишь ты, теперь хоть куда. Штаны-то еще новые… — и снова сел.

В это время вошла жена — он страшно сконфузился, но только на минуту.

— Алексей Кондратьевич, пойдемте закусить, — пригласила она.

С трудом, дрожащей рукой он поднял стаканчик и как-то медленно втянул в себя его содержимое. А я ему приготовил на ломтике хлеба кусок тертой с сыром селедки в уксусе и с зеленым луком. И прямо в рот сунул:

— Закусывай — трезвиловка1 Он съел и повеселел:

— Вот так закуска!..

А жена ему тем временем другой такой же бутерброд приготовила.

— Не разберу, что такое, а вкусно, — похвалил он.

После второго стаканчика старик помолодел, оживился и даже два биточка съел — аппетит явился после «трезвиловки».

Разговорились. Вспоминали журналы, выставки, художников. Он взял со стола карандаш и спросил бумаги.

— Привык что-нибудь чертить, когда говорю… А то руки мешают.

Я подал ему альбом и карандаш.

Просидел у меня Алексей Кондратьевич часа два. От чая он отказался и просил было пива, но угостили его все-таки чаем с домашней наливкой, от которой он в восторг пришел.

Я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он все-таки надел, и когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра.

Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно. Он радостно обещал, но ни разу не зашел, — и никогда больше я его не встречал, слышал только, что старик окончательно отрущобился и никуда не показывается.

Я его видел только три раза и все три раза в конце марта, когда грачи прилетают и гнезда вьют…

В моем альбоме он нарисовал весну… избушку… лужу… и грачей…

И вспоминаю я этого большого художника и милого моему сердцу человека каждую

весну, — когда грачи прилетают.

«Нечаянная радость»

Огромный железный замок, каких с тех пор я больше никогда не видал, висел на низенькой, обитой листовым железом двери.

А привело меня к этой двери вот что. Это было в половине восьмидесятых годов, в конце сентября. Я работал тогда в «Русских ведомостях» и возвращался с ночного пожара по Малой Бронной. Вижу, с бульварчика Патриарших прудов тропотит мелкими шажками, чуть не бежит, маленький человечек с рыжеватой округлой бороденкой и маленькими «северными» пронзительными глазками, весело глядящими, ничего не видя из-под измятой полястой шляпенки. Одет он был в модную тогда среди небогатой интеллигенции коричневую размахайку-крылатку.

— Елпидифор Васильевич, здравствуйте!

— А, Баян, ты откуда такой чумазый?

— С пожара на Живодерке.

— Большой пожар?

— Строчек на пятнадцать… цыганский домишко сгорел.

— А! На-ка, пощупай…

И сует мне из-под крыла своей размахайки пакет с горячими калачами.

— Горяченькие; пойдем ко мне чай пить. Вот моя квартира.

И, потянув меня в ворота, вынул из кармана огромный железный ключ с резной бородкой и плоской, ажурной ручкой.

— Видал такие? В прошлом году настоятель Каменного монастыря на Кубинском озере подарил замочек-то. Петровских времен.

Пока он отпирал этот замочек величиной с кошку и изображавший собой кошку: ручка — хвост во рту, — к нам подошел усатый, солдатского вида, седой дворник. Он поставил к стенке метлу, вытянулся во фронт и шапку «по-николаевски» скинул.

— Чего изволите приказать, ваше превосходительство?

— Опять?! Сколько раз говорил. У меня, небось, имя есть.

— Ельди… Ельди… Ну, хоть убей… Ваше превосходительство…

— Ладно; вот тебе копейка, беги в трактир за кипятком, чай заваришь…

Заиграл какую-то музыку замок, запела дверь, и мы с Елпидифором Васильевичем вошли. Елпидифор Васильевич передал дворнику большой медный чайник, в который сыпнул щепотку чаю из жестяной чайницы с надписью «К. и С. Поповы».

— И на письмах, — обратился ко мне дворник, — им пишут: «Его превосходительству»…

— Ну, ладно, беги за чаем… Да тут около пруда разносчик с грешниками1 стоит, купи у него десяточек, — и дал гривенник и газету на обертку.

— Грешники и Патриарший пруд! Это почище «развесистой» клюквы, думаю…

Квартира Елпидифора Васильевича была в нижнем этаже, с маленькими оконцами, глядевшими из толстенных сводов, как из глубокой ниши. Первая комната, где мы повесили верхнее платье, была прихожая, заваленная связками рукописей чуть не до потолка. Только рядом с дверью висел медный рукомойник над треногой ушастой деревянной лоханью. Рядом с ним серебрилось широкое полотенце, вышитое синим с красным: с одной стороны — красная избушка, по сторонам две елки, а с другой — синий монах в красной лодке и опять две елочки, тоже синие.

— На, умойся! — Подал мне кусок яичного мыла и, указывая на полотенце, сказал: — Этим летом мне монашки в скиту поднесли.

1 Гречневики.

Когда я умылся и вошел в следующую комнату, Елпидифор Васильевич разбирал наваленные на столе бумаги и перекладывал их на соседний стол.

— Очищу место для чая… А ты пойди в те комнаты, погляди на стенах иконы древние.

Комната, в которой накрывался чай, была и столовая, и приемная, и рабочий кабинет. Она сплошь завалена пачками и кипами перевязанных бумаг. По стенам — полки, набитые книгами, то огромными, то крошечными, в древних кожаных переплетах. На одном из четырех столов стояла чернильница, лежали окруженные выцветшими древними рукописями свежие листы начатой работы. Следующая комната — спальня хозяина. На огромном, красного дерева диване — ситцевое одеяло из цветных ситцевых треугольничков. «Наверное, работы таких же монашенок, что и полотенце вышивали!» — подумалось мне. Сверху лежали две подушки, также в вышитых наволочках. По сторонам, между полками книг, висели от пола до потолка древние иконы, рассмотреть которые было невозможно: окна, запыленные, должно быть, никогда не мытые, создавали таинственный полумрак. Слепо выглядывали образа из ниш и почерневших от времени глубоких, толстых сводов. Пахло слегка сыростью, пылью, старой бумагой и еще чем-то. Я узнал чем только в следующей большой комнате. В полумраке (солнце из-за высокого соседнего дома никогда сюда не заглядывало) можно было рассмотреть такие же иконы, сплошь завесившие стены, уложенные на полу книги и связки рукописей. Местами все переплелось паутиной. Я догадался, чем пахло в той комнате: пахло мышами. Рассмотреть ничего нельзя, — только из-под толстой, мохнатой, как бы живой пыли неведомые контуры видны. Елпидифор Васильевич вошел и позвал пить чай.

— Вот три года все собираюсь разобраться, да все не удосужусь. Цены нет этому хламу. И вот всё новые и новые наслоения. Каждый год с севера привожу… Вот здесь уж законченная работа — «Причитания северного края»… Былины да песни древние. Вот здесь весь угол раскольничий. Тут древний царский быт… А вот театральный уголок! Я, брат, тоже по театру годка два поработал, по истории русского театра до восемнадцатого века… А вот это, где пыли нет, сверху, — «Слово о полку Игореве»… Чудеса! Что за язык… я прямо отдыхаю на этой работе… Как раз сейчас на столе «Игорь» лежит… А вот как-то пришел ко мне один приятель, — ты его знаешь, а потому имени не скажу, — да и говорит: «Так жить нельзя! Это у тебя не квартира ученого, а лавочка старьевщика!» И с этого слова мне еще дороже стало мое логово и мой хлам. Чуть пошевелишь — золото. Копнешь, а под ним бриллиант. Одно возьмешь, а другое само лезет. Все-то я помню. Этот хлам у меня в голове: закрою глаза и памятью вижу, что там лежит, что как выглядит.

А чай уже сервирован.

На свободном месте стола, рядом с кипой рукописей по «Игорю», стоял большой медный чайник и два стакана на блюдечках, лежали калачи, каленые яйца, вареная колбаса и десяток гречневиков на «Московском листке».

— Еще теплые, подсолнечным маслицем вспрыснуты. Аромат! Я их очень люблю. А вот чем я тебя попотчую с чайком. Землячка вот твоя! — И подвинул ко мне глиняную банку с благоуханным поляничным вареньем на меду.

— Это с Бела-Озера… Ведь твой отец белозер, а я черепан. Оба мы потомки ушкуйников. Давно я с ним не видался, вместе учились.

Я это знал, и мой отец в письмах ко мне приписывал: кланяйся черепану. Из-за этого и наша долгая дружба с Елпидифором Васильевичем началась.

Когда закусили и выпили чаю, он наклонился под стол и вытащил полуштоф наливки и характерной формы бутылку бенедиктина, его любимого напитка. Вместо рюмок появились два маленьких серебряных стаканчика: на одном выгравировано по-славянски: «Его же и монаси приемлют», а на другом: «Пей другую».

— А ты все по пожарам да по катастрофам носишься! А дельное-то что делаешь?.. Стихи-то пишешь? Ведь я тебя недаром Баяном зову. Тебя да еще одного только Граве Леонида… Твоих бурлаков помню… Плакал, читал.

— Вот я со «Стенькой Разиным» вожусь. Две главы написал…

— А ну-ка? Может, что помнишь? Стеньку я люблю. Стенька мужик умный. Он знал, что знал!

И когда я ему прочел «Казнь», он даже прослезился и сказал:

— Это, брат, для грядущих поколений… Света долго не увидит. Вот когда-нибудь такой будущий Барсов разыщет твою пропахшую мышами рукопись, — вот тогда она и свет увидит. А ну-ка, еще что помнишь?

Прослушал.

— Все равно печатать нельзя. А я тебе о Стеньке расскажу, что сам слышал: написать надо, а то пропадет.

И рассказал мне Елпидифор Васильевич о том, как Никон, разжалованный царем из патриархов, сидел ссыльным монахом в своем «Новом Иерусалиме», в своем каменном доме-крепости. «Патриарх всея Руси и собинный друг государя» был накануне ссылки в глухой Олонецкий монастырь, как вдруг к нему пришел неизвестный человек и просил принять его.

— Ты, Баян, был в Новом Иерусалиме? Недалече от Москвы, посмотреть тебе надо… главное — дом Никона, моя речь о нем; съезди.

На другое лето я был в Новом Иерусалиме. В роскошном монастырском саду, в глухом углу стоит под вековыми деревьями небольшой двухэтажный дом, сложенный на тысячи лет, с толстенными стенами и маленькими окнами — крепость по тому времени необоримая. В то время, когда я был в нем, все сохранилось так, как было. Обратил я внимание на мебель: неподъемные скамьи, столы из толстых досок на таких ногах-бревнах, что не сдвинешь с места. И особенно эта вековечная мебель была страшна в маленькой комнатке во втором этаже, где Никон занимался делами и принимал поодиночке только тех, с кем тайный разговор держал.

И вот в те, такие тревожные дни для метавшегося в своей крепости, обозленного Никона к нему тайно пришел Стенька Разин!

— А то, что я тебе рассказываю, — пояснил мне Барсов, — я слышал в Новом Иерусалиме от старого монаха, говорившего вообще мало и с большой осторожкой, по выбору. Я долго работал в хранилищах монастыря и подружился с ним.

«Допустил патриарх (с большим уважением он вспоминал и его и Стеньку) к себе Степана Тимофеевича в свой собинный покой, где вот мы с тобой сидим, и пошел у них разговор долгий и бесспорный, потому думали они одинаково. И рассказал атаман донской патриарху всея Руси, что он хочет для народа правду открыть и дать волю… Вот, — как сейчас вижу, — на тех самых местах, где мы, маленькие людишки, сидим, тогда сидели два богатыря… И патриарх благословил его: «Иди, бейся за правду и волю!»

— Вот, что мне удалось слышать, то и тебе передаю, — у тебя выйдет, а то без этого нехватка будет. Пиши! А теперь замонахорим.[19]

Выпили по чарочке.

— А вот я тебе покажу кое-что.

Елпидифор Васильевич вышел в заднюю комнату. Когда он вернулся с тетрадью своей рукописи, я кончал то, что впоследствии украсило моего «Стеньку» и что я прочел тут же ему:

Благослови, отец святой,
Мне постоять за волю…

Так начинается моя книжка «Стенька Разин», напечатанная только в 1922 году. Я прочел эту, сейчас за его столом написанную главку со словами Никона:

Ты прав, Степан, иди за волю биться…

---

[19] С латинского. Здесь — выпьем «монахора», т. е. бенедиктина

После самых сердечных излияний Елпидифор Васильевич положил передо мной свою тетрадь, исписанную его круглым, четким почерком, и сказал:

— Читай, Баян!..

"Боянъ бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобице".

Через год он дружески надписал мне свою работу — «К «Слову о полку Игореве».

Долго мы не видались с Барсовым. Он вообще нигде не бывал, занятый научным трудом и музейными изысканиями да в обществе «Древностей российских», где секретарствовал. Как-то летом в воскресенье, когда семья была на даче, я нахожу на столе визитную карточку: «Елпидифор Васильевич Барсов. Шаболовка, собственный дом». А на другой стороне надпись карандашом: «Милый друг Баян. Хоть бы заглянул ко мне на новоселье. Воскресенья и праздники всегда дома».

Выхожу я тотчас же из дому, — навстречу по Столешникову переулку хромает романист А. М. Пазухин. Я показываю ему карточку: собственный дом.

— Ты всеведущий, а этого и не знал. Ну-ну!

Мы зашли позавтракать в Петровские линии, в ресторан, и Пазухин рассказал мне о событии, которое может случиться только в Москве, где необычайный размах уживается с копеечничеством на мелочах. Пазухин был участником такого интересного события.

Через час, расставшись с Пазухиным, я подъезжал к двухэтажному деревянному, небольшому с фасада дому на Шаболовке.

«Дом действительного статского советника Елпидифора Васильевича Барсова» — значилось на воротах. Отворяю калитку — звякнул колокольчик на весь двор. Вхожу. Широкий двор. По зеленой травке ходят куры. За решеткой сада, в конце двора, белеют под старыми липами и тополями пышные кусты жасмина, а из дверцы садовой решетки торопится ко мне навстречу и сам домовладелец, в красной рубахе, подпоясанной шелковым поясом, в широкополой соломенной шляпе. Блаженство и радость на лице его с седеющей бородкой, подстриженной, уж не той, как прежде, клочкатой, нечесаной.

— Милый Баян! Вот рад, вот рад! Наконец-то ты у меня, в моей «нечаянной радости», в моей новой «лавочке старьевщика».

— Любуюсь!

— А ведь я уж два года женат… Пойдем в сад. Жена пошла на базар клубники к чаю купить, а я малость вздремнул после обеда… По праздникам мы обедаем в двенадцать…

В решетчатой зеленой беседочке, оплетенной диким виноградом, около стола с розовой скатертью, уставленного закусками и чайной посудой, хлопотал в белом фартуке дворник солдатского вида, с седыми усами, который меня узнал и приветствовал.

— Вот и его мне тоже Николай Иваныч вместе с архивом с Патриарших прудов перевез.

Я притворился, что ничего не знаю.

— Какой Николай Иваныч? Ничего не понимаю!

— Помнишь, я тебе тогда говорил, что был у меня приятель, который сказал, что у меня не квартира, а лавочка старьевщика. Тогда фамилии его я тебе не назвал. А это был Пастухов!

Я развел удивленно руками.

— А уж меня-то как он удивил. Вот, пока жены нет, я тебе, Баянушка, как другу, все расскажу. А ты закусывай. Вот пирожки с верхвологодскими груздями… Вот вяленая нельмушка из Кубинского озера. Колбаска генераловская… Морошка моченая. А вот наливочка поляничная. Кушай и слушай такой сказ, что будь жив Щеголенок Василь Петрович, он бы такую былину сгоношил, что за сказку примешь.

Выпили мы по серебряной чарочке, а он мне другую наливает.

— Слушайся надписи!

Я охотно послушался, читая: «Пей другую».

— …Да, так вот было дело. Сижу я у себя на Патриарших, разбираюсь в старье, вдруг входит Пастухов.

— Не помешал?

— Нет, просто так роюсь. Садись, Николай Иваныч.

— Одевайся, поедем ко мне, а потом уж к тебе я тебя перевезу.

Выходим. Стоит четырехместная коляска. Садимся. В Ваганьковском к нему во двор не въезжаем. Навстречу из ворот выходят в шляпах Виктор (сын Пастухова) и Пазухин. А Пастухов говорит им:

— Садись, ребята, в коляске прокачу! — И махнул кучеру рукой, чтобы ехал. Тот уж знал, куда ехать; как оказалось, через Каменный мост едем. Приезжаем на Шаболовку. Останавливаемся у ворот вот этого самого дома, и он пальцем тычет, на вывеску показывает. Читаю — и как безумный гляжу… И очень мне обидно показалось: что за глупая шутка, думаю… «Дом действительного статского советника Е. В. Барсова».

Входим во двор. На крыльце встречает какая-то женщина, скромно одетая, в темном платье, с косынкой на голове, и кланяется.

— Милости просим, Елпидифор Васильевич…

Меня Николай Иванович и Виктор ведут под руки. Иду, а сам дрожу. Ничего не понимаю… Входим в зал, по стенам пустые книжные шкафы… Дальше — кабинет с роскошным письменным столом и тоже шкафы и полки по стенам, а на столе дорогой письменный прибор и серебряный бювар с надписью: «Дорогому другу Е. В. Барсову на новоселье от Н. Пастухова».

Открывает он бювар, а в нем бумага — купчая крепость на дом на мое имя! После чаю я тебе все покажу!..

Вошла с корзинкой клубники моложавая, довольно красивая и стройная женщина в легком сереньком платьице, с кружевной косынкой на голове.

— А вот и супруга моя… А это Баян, поэт, сын моего друга и мой дружок.

Этим на этот раз и кончились разговоры, а остальное передаю со слов Пазухина, что в ресторане уже слышал.

Пастухов, повидав житье-бытье Барсова, решил своему сотруднику подарить дом, где ему было бы удобно работать.

— Там он того гляди умрет — дышать нечем, — говорил он и стал отыскивать домик-особнячок в здоровой местности. Подыскал домик с садом на Шаболовке, у одинокой вдовы недавно умершего бухгалтера. Оформил покупку и привез нового владельца на новоселье.

В тот же день перевезли в фуре Ступина сразу весь барсовский архив под присмотром солдата, усатого дворника, который в тот же день переселился в новый дом. В первые два дня все было уложено и уставлено.

В эти дни обедать Пастухов его увозил к Тестову, самовар ставил новый дворник, или старая хозяйка приглашала его пить. чай. На третий день она должна была переехать совсем и уже наняла себе квартиру. Утром зашел к ней проститься Елпидифор Васильевич. Она сидит у чайного стола и горько плачет. Из разговора выяснилось, что и квартирку наняла хорошую, и кухарка остается у нее, одно неудобство: хлева нет.

— Все бы ничего… Всем я довольна… Да вот сижу и жду мясника, коровушку на убой продаю…

Слезы текут.

— Коровушку жаль! — И разрыдалась.

Сидит Барсов, сам чуть не плачет, утешая ее, и вдруг:

— Знаете что: выходите за меня замуж! Вы знаете, кто я такой… Позвольте сегодня же по старинному порядку сваху заслать, а там честным пирком и за свадебку.

Так и стала вдова-мещанка генеральшей.

В летние месяцы я иногда заезжал к Барсову. Самое интересное бывало, когда я заставал его одного. В солнечные дни сидели в садике за чарочками для наливок или

«наперсточками» для бенедиктина. Жена его, мало понимавшая наши разговоры, уходила по хозяйству, и через решетку слышались ее воинственные крики на кур или ворон, карауливших наседку с цыплятами.

В дождливый день он водил меня по желтому крашеному полу, ежедневно протертому керосином. Нигде ни пылинки. Казалось, что книги и рукописи на полках в застекленных шкафах скучают о «лавочке старьевщика» и о паутинке, которая все-таки шевелилась, когда по ней бегал паук или трепетала муха, залетевшая через дверь с грязного двора. Особенно поражал чистотой зал, где по субботам каждый лист «самосадков», доросших, как и три широколиственные пальмы, до потолка, перетирался самой хозяйкой, балансировавшей с рассветом на складной лестнице. Эти пальмы были ею выращены, когда она еще была девочкой, а ее отец, мещанский выборный, выстроил этот домик за год до ее рождения, на монастырском пустыре. На окне горшки с геранью — и пахучей кудрявой, и красно-розовой, и лилии, и столетник, лимоны и апельсины, посаженные зернышками, — словом, садоводство на каждом окне. А на столике, сделанном из старинных изразцов уже по заказу самого Барсова, красовался медный чайник, с которым когда-то его усатый «Личарда» бегал за кипятком в трактир. Теперь он служил для поливки цветов.

Внизу две комнаты были заняты разным громоздким драгоценным старьем северной старины: деревянные фигуры святых, вырезанные из цельного дерева, половинки церковных резных дверей иконостасов и различные посохи, между которыми отличался посох с финифтевой ручкой, украшенной надписью вязью. Барсов его нашел где-то на глухой почтовой станции под Архангельском, и кому он принадлежал, неведомо.

— Какому-нибудь сосланному святителю, — говорил он.

Древних икон еще больше прибавилось: ими завешаны обе комнаты, и всему свой уголок, свое место. В первой комнате чего-чего не было! Вот деревянные колодки, в которые монастырских узников заклепывали, и куски иконостасов и царских врат удивительной резной работы, сохранивших еще позолоту… А рядом — настоящие и с глубокого севера и из мордовских лесов большие идолы, вырубленные также из целого векового пня дерева. Потом, познакомясь с работами Коненкова, я вспомнил барсовских идолов. Мне сразу на ум пришло:

«Эге! Вот откуда твоя слава пошла. Ничто не ново под луной!»

Глядя на эти фигуры идолов и домодельные скитские иконы и картины из покоев раскольничьих владык севера, много общего я находил потом на декадентских выставках. К их картинам также требовались надписи вроде этой:

«Се лев, а не собака».

На стенке разное оружие, отысканное Барсовым на чердаках и в подвалах монастырей: копья, ружья, медная пушечка, и из раскопок в старой Рязани — стрелы, ерихонки железные, кольчуги.

— А вот это, видишь, на стене, железные вериги в пуд весом. Их носил юродивый Фомушка, который проклял за душегубство Ивана Грозного, когда он зверствовал в Вологде. Иван Грозный после этого проклятия уехал и не тронул «блаженного». Вериги потом в Вологде висели в монастыре, а Палладий, новый архиерей, приказал их убрать и выбросить.

А вот оборудованный с особым тщанием под средним окном и около него на стене — театральный уголок.

— Я, брат, ты знаешь, тоже годика два и театру послужил… Работал по истории русского театра до восемнадцатого века. Всех книжников и барахольщиков объелозил… Книги, рукописи — там, вверху, в шкафах а здесь, видишь, — указал он на стену и витринку, — маски разных времен, рисунки, лепка, оружие и доспехи, а в шкафу костюмы… Я, брат, тоже считаю себя человеком театра. Кто им не увлекался! Я-то ушел, а вот и сейчас два дьякона в опере служат.

Потом уж, наверху, за накрытым столом, говорит:

— Помнишь, какая хламота была на Патриарших? Теперь этот музейчик всегда заперт, окна не отворяются, все кисеей покрыто… А мышами-то все-таки припахивает!

— Да, есть-таки. Как там было.

— Вот за это-то я и люблю эти комнаты. Как ты ни говори, а все-таки «лавочка старьевщика» имела свою особую прелесть. Ведь там и под пылью жизнь кипела: потянешь одно, а там, глядишь, другое за ним, из друго-

го совсем мира… А за ним еще и еще. Как игра в бирюльки — только живые. Одна родит другую.

А сам поляничную подливает и подвигает ко мне чарочку: «Пей другую». Это уж десятая!

— Так-то, Баян!

Выпили, а он широким жестом обвел шкафы.

— А тут что? Как солдаты, стоят книги, и каждая на своей полочке, и каждая бирюлька занумерована… А там, куда ни ткнись, всюду «нечаянная радость». Не ждешь, а найдешь!

— Да, это ты верно слово сказал.

— Да не мое это слово — чужое повторяю, а сказал его Лев Николаевич Толстой. Он в конце семидесятых годов, когда приезжал в Москву, ко мне захаживал советоваться насчет материалов для своих работ. Иногда надо было показывать их и при нем рыться в пыли архива. То и дело приходилось неожиданно находить нужное совсем в неподобающем месте. И сказал он мне как-то: «Я понимаю теперь, как можно любить самую беспорядочность такого архива: в нем живет нечаянная радость».

Вот почти единственное, что у меня осталось ярче всего в памяти из его рассказов о Толстом. А говорил он мне о нем не раз. Смутно помню, что он много раз вспоминал разговоры с Толстым по поводу декабристов. Я помню, что Барсов упоминал в тот день часто это слово, — называл много известных имен, но я боюсь их вспоминать, даже то, что осталось в памяти: вдруг ошибешься. А с такими великими именами ошибки недопустимы, а то выйдет, как у барсовского «Личарды».

— Ельди… Ельди… Хоть убей… Ваше превосходительство!

Я вот ничего не записывал из этих разговоров, о чем теперь слезно жалею: сколько он знал!

Помнится, что раз только, вернувшись домой, я записал один разговор, а что именно, не помню.

И вот теперь, через десяток лет, когда я пишу мою памятку о друге моем, друге моего отца, друге всех и вся, — я нашел в папке обрывок старой тетради, в которой сохранилась единственная запись одной нашей беседы.

Вот она целиком, вся как есть.

«Сегодня, 25 июня 1901 года, был я у Барсова в его домике. Он, как всегда дома, в кумачной рубахе и соломенной шляпе. Блаженствует в своем садочке. Самовар. Чай с поляничным вареньем — из Белозерска прислали. Пирожки с вологодскими рыжечками и луком и неизбежный «монахором» из старинных серебряных чарочек.

— Все то же, что там, на Патриарших. И варенье-поляничка, и морошка моченая, и наливочка.

— Сравнил! Теперь рай! И скатерка чистая, и самовар.

— Мне и тогда у тебя нравилось, хорош уголок был!

— Вот то же и Толстой говорил… Он там у меня несколько раз был, когда приезжал в Москву. Это было в 78-м и 79-м годах. Он тогда писал новый роман «Петр I». Много о севере расспрашивал, о древних людях. А потом приходит как-то ко мне и говорит:

— Я пока остановился писать «Петра»: ничего в расколе не понимаю. — И засыпал меня вопросами о расколе. Потом уж я напечатал в «Русском обозрении» статью: «Петр и Толстой». Это был мой ответ Льву Николаевичу. Как-то тогда Толстой встретился с гостившим у меня моим другом, собирателем былин Щеголенковым. Я записывал с голоса его былины. Старик был совершенно неграмотен.

Я их познакомил. Разговор сделался общим. Щеголенков много говорил о внецерковных христианах. Толстой заслушался его, хлопнул меня по плечу и сказал:

— Вот как по-настоящему богу молятся. А мы разве умеем?

Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи.

Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенкова, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, — ему было тогда под восемьдесят, — прогостил у Толстого месяца три. С этой встречи у меня Толстой бросил окончательно свой роман «Петр I» и перестал быть художником, посвятив всего себя вопросу внецерковного христианства…»

Рассказ Барсова я записал дословно, пока Елпидифор Васильевич выходил из-за стола по хозяйству, и даже из записной книжки переписал в тетрадь.

Встречи с Горьким

I

Я зачитывался первыми рассказами Горького, дивился, что нашелся большой художник, затронувший тот мир, в котором я так долго вращался. Антон Чехов не раз мне говорил: «Тебя надо свести с Горьким! Познакомься с ним обязательно».

И Горькому говорил обо мне с тем же предложением.

Но мои постоянные отъезды из Москвы в газетные командировки нас вечно разлучали: он в Москве — меня нет, — и наоборот. Но все-таки встретились в первый раз у Чехова.

В 1899 году я работал в только что открывшейся амфитеатровской газете «Россия» и в «Курьере». В июле, вернувшись из очень рискованной поездки по Балканскому полуострову и сдав последнюю корреспонденцию в «Россию», я, совершенно утомленный работой и пережитыми днями в Белграде во время осадного положения, решил отдохнуть несколько дней на Волге. Остановился в Нижнем, чтобы на другой день выехать обратно, но зашел к Горькому, положительно очаровался им и застрял на несколько дней. Мне помнится, что он жил в той же квартире, где я бывал в 1882 году у Вл. Г. Короленко, тоже сосланного тогда в Нижний, как и Горький.

* * *

Алексей Максимович и Екатерина Павловна приняли меня просто и дружески. Я у них обедал, пил чай, играл с маленьким Максимом, который лазал по мне, забираясь на плечи.

Незабвенные дни!

Как-то, гуляя по Покровке в яркий июльский день, я фотографировал своим кодаком всю семью, но лучше всех вышел Максимчик. Это единственная карточка, уцелевшая у меня от того времени.

С Алексеем Максимовичем вдвоем мы гуляли ежедневно с утра по городу, по Нижнему базару, среди грузчиков и рабочего народа, с которым так связана была его и моя юность. Было что вспомнить, понимали друг друга с одного слова. Лазали вдвоем по развалинам кремля и снимали кодаком друг друга, стараясь повиснуть где-нибудь над пропастью. Алексею Максимовичу нравились такие порывы удали. Сидя на откосе и над впадением Оки в Волгу, мы любовались красотами.

На меня особо сильное впечатление производил тогда этот вид, подобный которому я видел так недавно, месяц назад. Откос Нижнего и сад Калимегданской крепости в Белграде — это повторение одного в другом. И там с высокой скалы и также слева перед самым городом впадает могучая Сава в огромный Дунай. Там, где перед нами строения ярмарки, — город Землин, и так же как перед нами теперь даль полей, так и там — степи Венгрии. И тут я рассказал Алексею Максимовичу подробности моего побега и события в Белграде, о которых он уже знал из газет… Я, как шиллеровский Роллер, сорвавшийся с виселицы, под впечатлением вида с откоса переживал недавние приключения и болтал без умолку…

С откоса мы прошли в цирк Акима Никитина, моего старого товарища по цирку,

попали на репетицию. Аким был в восторге от гостя, которого знал хорошо, как и весь Нижний его знал, и тут же предложил посещать цирк во все время его пребывания в Нижнем, и во время спектаклей, и во время репетиций, быть в цирке, как дома.

Алексей Максимович сразу полюбил Акима, простого и милого, интересовался репетициями и всегда ходил в цирк, как свой человек.

Но как хорошо было в доме за обедом и чаем! У меня нервы были приподняты после пережитого, я рассказывал о моих приключениях, так что гостеприимному хозяину и говорить было некогда.

Но когда я стал рассказывать подробности о студенческих волнениях в Москве, Алексей Максимович оживился и заговорил, весь отдавшись этому жгучему вопросу.

Тут я припомнил написанные мной зимой два стихотворения, ходившие в Москве по рукам. Когда я прочел их, он встал, принес бумаги и карандаш и просил меня записать, что я и сделал, подписавшись В. Гиляй.

II

На другой день мы гуляли по пристани. Встречаю знакомого москвича, долго служившего по пароходству на Волге. Окликаю его:

— Николай Федорович!

С ним трое нижегородцев, тоже служащих по пароходству. Окружили нас, познакомились и зовут:

— Пойдем с нами. Там баржу разбило. Вот наш пароход стоит. Там и закуска — все как следует… Только добежим до… — назвали какое-то место, — поглядим и сейчас назад… Через час дома.

— Алексей Максимович, едем, — предлагаю.

— Едем, — улыбается.

Сели на шумевший небольшой буксир, повернули нос и побежали на низ. Мы сидели на носу. Разговаривали. День серенький, без ветра. Я чувствовал себя совершенно отдохнувшим, и настроение было буйное, хотелось расходовать свои возобновленные силы. Я начал читать стихи на буйные мотивы… Наконец прочел всю поэму свою о Стеньке Разине. Лучшей обстановки и лучших слушателей с Горьким во главе придумать было нельзя. Восторг полный… Пароход уже стал заворачивать, чтобы причалить против воды у затонувшей баржи.

Незаметно пролетел десяток верст.

Алексей Максимович сказал мне:

— Дядя, а мне Стеньку пришли!

Затонувшая баржа, груженная железом. Водолив да двое рабочих на ней. А кругом нигде и никого. Мы да баржа на боку…

Хозяева спустились на баржу, а мы гуляли по песку минут десять, и нас кликнули:

— Ну, теперь выпьем!

Перед нами выросли три корзины.

Развязали одну — шампанское.

Развязали другую — стаканы, тарелки, посуда.

Развязали последнюю — ламповые стекла, завернутые в соломенные колпачки. Недоумение сменилось хохотом.

— Чем закусывать будем?

А Горький указал на мачту баржи.

— А вобла-то на что?

Сняли с мачты связки воблы. Отвалили и пошли вверх. Алексей Максимович веселился больше всех, смотря, как под воблу хорошо шампанское пьется… Меня заставил прочитать еще раз Стеньку Разина… Через полчаса мы были у пристани. А через час Екатерина Павловна угощала нас обедом.

Вернувшись в Москву, я послал мой сборник стихов «Забытая тетрадь», где были напечатаны, проспанные цензурой, две главы «Стеньки Разина».

«Разин — здорово! и красиво!» — пишет мне в ответ на посылку Алексей Максимович.

* * *

Впоследствии в Москве мы встречались у Антона Чехова и в Художественном театре, когда Алексей Максимович ставил свое знаменитое «На дне». Для этой пьесы я водил артистов труппы Художественного театра со Станиславским и Немировичем-Данченко во главе по притонам Хитрова рынка, а художника Симова даже в самые трущобные подземелья Кулаковки, в тайные притоны «Сухого оврага», которые Симов увековечил в своих прекрасных декорациях. А потом Алексей Максимович уехал за границу, прислав мне со своей надписью полное собрание своих сочинений.

III

Я опять пережил эти впечатления 1899 года еще раз, когда в мартовской книжке «Нового мира» за 1926 год был напечатан протокол допроса Горького после его ареста весной 1901 года.

«Еще в 1899 году к Максиму Горькому, по его словам, приезжал литератор Гиляровский и в разговоре о студенческих беспорядках сказал, что в Москве имеет большой успех среди публики стихотворение «Сейте». По просьбе Горького, Гиляровский будто бы воспроизвел эти стихи на лоскуте бумаги, не ручаясь за точность (стихи отобраны при обыске у Горького в 1901 г.).

Под стихами значится неразборчивая подпись: «И. Гиля…».[20] Начальник жандармского управления, сообщив об этом департаменту полиции, заметил, что «стихи написаны карандашом, но довольно разборчиво и без всяких помарок, очевидно, Гиляровский прекрасно помнил содержание этих стихов». Хотя М. Горький и отрицал на жандармском допросе авторство Гиляровского в отношении этих стихов, но жандармы склонны были приписать стихотворение именно ему. Авторство Горького в данном случае отпадало потому, что стихи были написаны не его рукой и значилась подпись: «И. Гиля…»

Стихотворение это было написано в Москве, зимой, вс время самых беспорядков, на завтраке в «Славянском базаре» на белом листе переплетенной карточки вин. Завтракали мы вчетвером: В. А. Гольцев, В. М.Лавров, редактор «Русской мысли», и В. М. Соболевский. Гольцев вырезал ножом страницу со стихами, спрятал в карман, пообещав прислать мне на другой день копию, что и исполнил. Стихотворение засверкало по Москве. Я даже сам столько читал его в разных компаниях и на вечеринках, что выучил наизусть.

Давно забыто все старое в кипучем вулкане захватывающей новой жизни!

И вдруг благодаря — кому же?! — жандармскому архиву я имею и забытое стихотворение, и Незабвенные дни, проведенные у Алексея Максимовича, встали передо мной, как далекий сон.

Фогабал

Холодно. Побурела трава на опустелом ипподроме. Ни дверей, ни окон у остатков каменных зданий… Прежде отделялось высоким забором от Ходынского поля здание на дворике, где взвешивались на скачках жокеи, и рядом стоял деревянный домик смотрителя круга. Кое-что осталось от садика перед домиком, забор и загородка садика уничтожены, и из окошек домика открывается вид на голое Ходынское поле и Ваганьковское кладбище. В

[20] А я часто пишу неясно

домике живет семья… Голодает, холодает. Дрожит ночью, когда идут мимо толпы бесприютного и бродяжного люда, но как-то ее никто не трогает — должно быть, сразу видно, что взять нечего. Жильцы флигелька вынесли октябрьскую бомбардировку, когда из Ходынских казарм слали снаряды в Кремль, и на следующий год ночной пожар скаковых трибун рядом с их жильем, от которых остались эти «железные удавы» — куча изогнутых от жары рельс и балок.

Сегодня, гуляя по оголенному осеннему парку, я прошел сюда, на самую середину круга, — и воспоминания роятся и свертываются в клубок, и яркими гирляндами и живыми цветочными клумбами рисуются пять этажей трибун, полных в день дерби летними платьями дам, огромный партер вдоль всего этого ажурного железного здания, которое ни с какой постройкой и сравнить нельзя… Ну, а с чем можно сравнить «ирландский банкет» посредине? Это головоломное препятствие, на которое решались скакать только самые отважные спортсмены!

Он такой же, как и был. Высокий вал между двух широких канав. Лошадь скачет сначала через одну канаву на гребень вала, а с него уже вторым прыжком берет вторую канаву, за два раза перепрыгивая в ширину более семи метров и всегда теряя около минуты на этом препятствии. Нередко на нем ездоки и кости ломали и лошади калечились.

Еще в те дни, когда существовала деревянная беседка, в день розыгрыша самого почетного приза разыгрывался однажды стипльчезный приз с «ирландским банкетом». На последний записалось трое известных победителей на скачках с препятствиями. Все трое — гвардейские офицеры из Петербурга; четвертым записался совершенно неожиданно совсем молодой офицер, улан, младший брат скаковых коннозаводчиков Евгения и Сергея Ильенко — Иван. Он скакал на лошади, им самим выезженной и тренированной одновременно для скачек и для службы в полку.

Прозвучал звонок к стипльчезу. Со старта выделился ротмистр К. на своем выводном крэке. Взял три зеленых барьера на дорожке и понесся внутрь круга, корпусах в пяти впереди всех, на «банкет»… Трое соперников почти голова в голову скакали вслед за ним. Вот его белый китель мелькнул на мгновение на валу «банкета», чтобы тотчас появиться на другой стороне второй канавы и легко уйти от конкурентов, которые еще должны были остановиться на вершине вала перед вторым прыжком. И тут произошло нечто поразительное — все это было делом одного момента. В то время когда вороной конь К-на еще только собирался прыгнуть, трое конкурентов уже подлетели. Страшным посылом Ильенко выбросил своего скакуна, и мимо белого кителя на вороном коне мелькнул белый китель на золотисто-рыжем, который не остановился на гребне вала, а птицей перелетел и обе канавы и вал и очутился сразу впереди вороного на пять корпусов, да так и не уступил ни пяди до самого призового столба. В трибунах творилось что-то небывалое: в момент прыжка раздалось тысячеголосое «ах», а затем такие аплодисменты, каких старая беседка еще не слыхивала.

Через много лет так же аплодировали Гагарину, тоже взявшему сразу обе канавы на полукровной англодонской кобыле Красивой, и Виллебрандсу на английском стиплере Чатартоне. И больше никогда это не повторилось ни у «джентльменов», ни у жокеев, даже англичан, кстати сказать, весьма не любивших «ирландского банкета».

После этой блестящей победы молодой Ильенко сбросил военный мундир и весь отдался скаковому коннозаводству. По зимам он с братьями работал на Харьковском конном заводе, летом занимал должность старшего члена московского общества и сам, как и его братья, тренировал свою призовую конюшню и писал в спортивных журналах статьи в защиту чистокровной лошади. Он, Иван Михайлович Ильенко, был одним из главных создателей этих единственных в мире многоэтажных скаковых трибун, которые сейчас вот лежат передо мною в виде горы чудовищных удавов, иногда блестящих, иногда матовых, с кое-где проступившими кровавыми пятнами ржавчины…

Я присел на выгнутую, скрюченную пылом пожара рельсу и задумался. Вот вижу сквозь ажуры рельс человека, выходящего из флигелька. Он, опираясь на палку, устало

двигается к развалинам трибун. На нем короткий нагольный полушубок, какие носят в кавалерии конюхи, и защитная фуражка с красной звездой; седая борода гвоздем, седые усики… да это Ильенко?

Да, это Иван Михайлович Ильенко. Это его семья обитает здесь. Он остался верен скаковому кругу: во время немецкой войны он бросил скачки и ушел к своему старому товарищу генералу Брусилову, был с ним в боях до конца кампании, потом вернулся в этот убогий флигелек к семье, а при советском правительстве его снова пригласил Брусилов на работу по коннозаводству, был он полезен государству знанием дела до тех пор, пока, наконец, по болезни не оставил службы персональным пенсионером и не кончил жизни рядом с «ирландским банкетом».

Я вышел на скаковую аллею, вдоль проезда между шоссе к трибунам и почти против маленького домика, где много лет жил секретарь скакового общества Н. П. Лебедев, и здесь увидал… и опять поразился — уж очень не ко времени было то, что я увидел: передо мной появился человек в длинном черном, еще недавно модном сюртуке с разрезом сзади и в цилиндре!

Все что угодно я мог ожидать, но цилиндр на четвертый год революции, да еще сюртук-редингот! По всему видно было, что человек этот гулял: и по спокойным движениям, и по сложенным назад рукам с тоненькой тросточкой. Легкий ветерок раздувал его огромные светлые усы. Взглянув на них, я сразу узнал его:

— Иван Иваныч!

Это был редкостный тип, который мог создаться только в купеческой Москве, только в ее веселящемся кругу мог жить, наслаждаться, кушать самые изысканные блюда, посещать театры, ежедневно слушать хоры в лучших загородных ресторанах и присутствовать на ипподромах, не пропуская ни одного скакового или бегового дня, и при этом никогда он, единственный, не поставил ни одного рубля в тотализатор, потому что никакой игры не любил, — это во-первых, а во-вторых, никогда почти у него этого рубля и в кармане не было.

А между тем он всегда одевался у лучших столичных портных Сиже и Жоржа, цилиндр носил только от Вандрага и всегда самого последнего фасона. Не признавал он пиджаков и визиток, а неизменно, зимой и летом, был в модном сюртуке, прекрасно сидевшем на его плотной фигуре с округлым брюшком и являвшемся лучшей рекламой для портного. Поверх этого сюртука — тоже всегда, зимой и летом, — пальто из легкой материи и затем желтые лайковые перчатки. Ни в какой мороз он не застегивался, уши и лицо его, всегда румяные, не признавали мороза — и так он ходил, бывало, в открытом партере зимних бегов, и к нему в антрактах то и дело подходят люди в лисьих шубах, бобровых воротниках и собольих шапках, что-то шепчут, исчезают и вместе возвращаются на свои места, прожевывая закуску, и еще более разрумянившиеся. В свою объемистую утробу Иван Иваныч мог поместить невероятное количество всяких вин, в состоянии был пить иногда круглые сутки, перепить и уложить в лоск несколько кутящих компаний, а сам, что называется, ни в одном глазу — только лицо становится еще краснее. И таким я видел его десятки лет в Москве, неизменно здоровым и жизнерадостным. Годы от него как-то отскакивали, не оставляя никаких следов, светло-русая голова его по-прежнему была без одного седого волоса, как и огромные выхоленные усы, за которые, да и за всю фигуру вместе, звали его Фарлафом.

— Ты совсем Фарлаф, Иван Иваныч.

— А что такое Фарлаф? Что это, едят? — спросил на бегах за завтраком купчик из Таганки, единственный наследник умершего миллионера, одетый в лисью шубу.

— Вот и я такой же дурак был, как ты, пока уму-разуму люди не выучили, — строго сказал ему Иван Иваныч и сразу смягчил: — Это из оперы.

— Я в театре еще отродясь не бывал, тятенька был строгий, меня никуда не пущал из дома…

— Ну, ладно, пойдем сегодня в театр. Отсюда поедем к Тестову, а оттуда в театр, как раз Фарлафа увидим.

— Что же? Покорнейше благодарим, я с нашим удовольствием… Надо мною старших

теперича нет…

И у Ивана Иваныча явился новый воспитанник, за образование которого он с этого дня, к великой радоети молодого купчика, и принялся.

— Облома обламываю, — рекомендовал он своего воспитанника близким друзьям.

На другой день он повел купчика к Сиже, где заказал модное платье, и к Михайлову на Кузнецкий мост, где купил пальто на хорьковом меху с бобровым воротником, потом — обедать в Эрмитаж, а вечером слушать цыган у «Яра». Воспитание началось. Купчик в восторге тратил деньги на кутежи, но Иван Иваныч ни разу не попросил взаймы — он знал, что этого купец боится: пей, ешь, что хошь, а денег попросить нельзя, скажет — объегорить хочешь. И никогда Иван Иваныч не занимал денег у своих клиентов, он получал проценты с Сиже, с Михайлова, с Хлебникова, с ресторанных счетов. На это он одевался и платил за квартиру, катался как сыр в масле, а денег карманных больше красненькой или четвертной на извозчика и на чай у него никогда не водилось. Бывали случаи в начале этой его профессии, после кутежа, когда какой-нибудь таганский оболтус, заплатив огромный счет у «Яра», бросал сотни три хорам, он пробовал просить:

— Сидор Мартынович, дай мне сотенку, надо за квартиру платить.

— Че-го? Ну, брат, на эту удочку меня не пымаешь. Пей, ешь, сколько влезет, а сухими ни-ни. Лучше и не заикайся, если хошь компанию со мной водить.

А все-таки купцы лезли к нему, и пообедать и поужинать с Иваном Иванычем считалось чуть ли не за честь. А главное — он умел заказать, и важные метрдотели у «Яра» или в «Стрельне» подобострастно выслушивали его заказы — уж очень хорошо он гастрономию знал.

Иногда, когда кутила компания купцов, понимающая толк, то в отдельный кабинет, где сервировался обед или ужин, являлись: в «Стрельне» сам Натрускин, а у «Яра» сам Апельсин — так все звали хозяина этого ресторана за его круглое, чисто выбритое лицо, действительно цвета почти что апельсина-королька.

И оба эти владельца ресторанов дивились его уменью заказать самые дорогие кушанья и назвать номера вин всех фирм без ошибки, не глядя в прейскурант, а также и особо дорогие вина из погреба этих ресторанов.

— А вот у вас, Иван Федорович, не осталось ли бутылочки сухой мадеры Серцеаль, которую вы купили после Кузнецова Александра Григорьевича из его собственных садов на Мадере?.. Я помню, в прошлом году вы удивили нас с Голицыным.

— Как же-с, Лев Сергеевич заплатил мне за три бутылки и велел оставить их на текущем счету.

— Да… да… триста рублей, кажется, вы с него взяли.

— Помилуйте, Иван Иваныч, разве это много? Ведь я сам купил из погреба наследников дюжину за восемьсот рублей, насилу выпросил. Две бутылки остались только. Берегу как зеницу ока.

— Тащи их сюда. Чего там говорить!

— Одну-с, Иван Иваныч, дам, одну уж позвольте оставить.

— Тащи обе… Одну с собой возьму — мне можно только сухое вино.

— Слушаю-с… А свой салат к индейке вы сами, конечно, приготовите, Иван Иваныч?

— Просим, просим! — в один голос зашумела вся компания богача Сумского, сахарозаводчика, большого гурмана и гурмана-мученика вместе с тем: он страдал сахарной болезнью, но иногда рисковал кутнуть и всегда уже в таких случаях приглашал Ивана Иваныча — тот знал, что ему можно и чего нельзя.

Так жил и блаженствовал десятки лет этот купеческий арбитер элегантиарум [21] купеческих кутил.

Я помню его с 1876 года. Он бывал в Артистическом кружке с Сережей Губониным и

---

[21] Законодатель мод. Так называли Петрония (автор «Сатирикона») в римском обществе во времена Нерона

тогда еще имел торговлю в городских рядах, где над магазином шелковых изделий красовалась вывеска: «Рошфор и Емельянов». Рошфор был француз, Емельянов — коренной москвич, отец Ивана Иваныча. Последний, еще двадцатилетним малым, сперва ходил в картузе и поддевке, по-купечески, раза три со стариком Рошфором ездил в Париж за «модьем», но после третьей поездки, продолжавшейся около двух месяцев, так как Рошфор там с месяц прохворал и месяц отдыхал после болезни, вместо «Ванятки» в картузе бородатым, в долгополом сюртуке родитель увидал своего единственного сына франтом, одетым по последней моде и причесанным а-ля Капуль, в желтых перчатках и цилиндре. А когда отец по обыкновению повел его завтракать в «Дыру» под Бубновским трактиром, то сынок предложил отправиться наверх в парадные бубновские залы и, там призвав хозяина, стал ему заказывать такие блюда, что тот глаза вытаращил, а отец рассердился, сказал ему: «Лопай сам» и ушел в «Дыру» хлебать солянку из осетрины и есть битки в сметане.

С тех пор Иван Иваныч уже не снимал с себя цилиндра, а когда я поселился в Москве, в 88-м году, то у него уже не было никакой торговли. После смерти отца Рошфор выставил его из своей фирмы, но он не унывал и стал появляться у «Яра» в компании своих друзей — купцов, которых раньше он угощал и которые теперь угощали его, преклоняясь перед его уменьем устраивать пиры.

И вот этот самый Иван Иваныч сейчас быстро обернулся и, перехватив палку в левую руку, заторопился снять перчатку с правой и веселым взглядом приветствовал меня.

Чисто выбритый, ухоженные усы, те же огромные, шелковистые, без единой сединки, цилиндр слегка набекрень, как и прежде, и неизменный, так недавно еще модный сюртук, залоснившийся и вытертый, но без пылинки, сидевший теперь на нем, как на вешалке. От чичиковской округлости брюшка и следов не осталось, и не было полноты румяного лица, слегка побледневшего, но еще свежего. Это был на вид так мужчина лет сорока пяти — пятидесяти.

— Гуляете, — относя в сторону во всю длину руки цилиндр, улыбнулся он.

— Да, засиделся в городе, за три года первый раз решил в парк пройти.

— И прямо сюда пришли? Знать… Невольно к этим грустным берегам… и вас влечет неведомая сила? — докончил он. — А я здесь каждый день гуляю… Да идти-то мне… помните, как у Достоевского Мармеладов говорит: идти некуда. А сам пошел в пивную… А теперь и пивных нет… Вот мне так идти действительно некуда. Тетка у меня на Якиманке была, распроединственная моя родственница — да и та пропала без вести… Женат я не был, старые друзья по пьяному делу смыты, «кого уж нет, а те далече». Спасибо, еще управляющий домом, где я тридцать лет живу, там, на Башиловке, дал мне комнатушку, заваленную книгами… Живу в ней и перечитал всех классиков, о которых прежде и понятия не имел. Знал, что есть Пушкин, потому у «Яра» в Пушкинском кабинете его бюст стоял. Вот встану, попью вместо чаю кипяточку с черным сухариком, почищу цилиндр, их у меня три осталось, вычищу сюртук, побреюсь — каждый день для поднятия духа бреюсь, — а потом сюда гулять…

Я слушал и не знал, что сказать.

— Пережил всю революцию, пожаром трибун всю ночь любовался…

— А отчего они сгорели?

— Кто знает? И спросить некого… Э, да что и говорить. Ведь мне под семьдесят, а не одного седого волоса, никаких катаров не мог напить… И в довершение всего аппетит, как и прежде, прекрасный, а есть нечего.

Во время этого разговора мы дошли до бульвара и сели на уцелевшей лавочке против бывшего «Яра». Я вспомнил, что у меня в кармане большой кусок прекрасного швейцарского сыра, который по дороге сюда я купил у кого-то из-под полы на мосту у вокзала.

— Да-с, Владимир Алексеевич, все кончилось. Кончились «Яр», «Мавритания», «Стрельна»… все… все… А без них и я кончаюсь… Хоть бы чем-нибудь их вспомнить, а там хоть и умирать.

— Ну что же, вспомним! Видишь, Иван Иваныч? Ну-ка, понюхай!

Я вынул из кармана чуть просалившуюся от слезки бумагу с куском сыра и поднес к его носу. Он с удивленным видом откинул голову, так что цилиндр чуть не слетел, и воскликнул:

— Швейцарский сыр! А у меня ножик есть.

Он вынул обломок ножика и подал мне. Я развернул сыр и отрезал ломтик.

— Да разве так можно? Что вы!

Он быстро снял обе перчатки, сунул их в карман и заявил:

— Руки у меня чистые. Он взял у меня нож и сыр.

— Грех такое добро портить. Может быть, да и наверняка, пожалуй, я такой сыр в последний раз ем, так позвольте уж…

И он начал резать тупой стороной ножа, и сыр свертывался в трубочку, становился ароматным, пушистым, мягким и таял на языке.

— Такой сыр не режут, а гофрируют.

Он священнодействовал, и мы молча съели треть куска.

— У-ух! Вот отвел душу. Жаль что хлеба нет.

Он передал мне кусок сыру, я разрезал его пополам, завернул в бумагу и один кусок положил себе в карман, а другой отдал ему.

Он поблагодарил меня, взял нож и свой сыр разрезал на две равные части, одну половину нарезал ломтиками уже острием, завернул и положил в один карман, другую в другой.

— Зачем вы его так нарезали?

— Ничего, он и так съест, он гофренья не поймет.

— Кто?

— Фогабал. Вы помните его?

— Еще бы! Ильенковская лошадь.

— Да не лошадь, а гимназист — Фогабал. Да, я помню и гимназиста Фогабала.

Я видел его и в гимназическом пальто, и в щегольском костюме на скачках, и оборванцем в «Перепутье».

«Перепутье» — это был трактир против «Яра». В «Яре» кутили богатые спортсмены, а «Перепутье» в дни бегов и скачек и накануне их был всегда переполнен играющими. Они перед состязанием являлись сюда, чтобы узнать шансы фаворитов у жокеев, наездников и «жучков», отмечали «верную лошадку» и нередко угадывали, а больше жульничали. В числе «жучков» помню я высокого бледного, волосатого блондина, с зари дежурившего на ипподроме и следившего за проездкой лошадей. К концу состязаний он всегда бывал пьян, но лошадей знал хорошо, и его отметкам все верили.

Никто не знал его настоящего имени, и он откликался на Фогабала.

— Милый Фогабалушка, отметь афишечку.

Этот полупьяный оборванец сыграл громадную роль в истории спорта: обе роскошные трибуны выстроены благодаря ему.

Скачки и бега на Ходынке существовали с половины прошлого века. Бега тогда разыгрывались еще по трем дорожкам: каждая лошадь бежала по отдельной. Посещали ипподром только настоящие охотники, любители лошадей, да в праздничные дни приезжали немногие москвичи подышать свежим воздухом и полюбоваться зрелищем.

Так и перебивались с хлеба на квас оба императорских общества: скаковое — дворянское и беговое — купеческое. Сборы были нищенские и призы только для почета.

В конце семидесятых годов секретарь Московского скакового общества М. И. Лазарев за границей познакомился с тотализатором и ввел его на скачках. Первое время билеты были только рублевые, лошади скакали по две, по три, редко по пять. Игра не шла потому, что увлекающий азарт отсутствовал. В каждой скачке была известная всем лучшая лошадь, которая и обходила легко соперников, а потому и выдавали выигравшим не больше гривенника на рубль.

Двойного тотализатора еще не было.

Когда скакал знаменитый Перкун, выигравший ряд призов в Англии и непобедимый в России, больше гривенника никогда не платили. Да Перкун никогда и не проигрывал.

«Банк, а не лошадь», — говорили расчетливые игроки. Некоторые брали на него билеты десятками, чтобы наверняка, как ренту, получить два-три рубля.

Десять процентов в три минуты, и вход и извозчик оплачены.

Лопнул банк!

Было жаркое солнечное воскресенье во второй половине августа. Нарядная публика разукрасила убогую беседку скачек. Галерея, ложи и ряды деревянных скамеек, поднимавшихся амфитеатром, были заняты аристократической и купеческой Москвой, партер — спортсменами и франтами в светлых костюмах. Около касс тотализатора публики по обыкновению было мало. Тогда еще игра шла слабая. Самой интересной в этот день была скачка непобедимого Перкуна, с которым скакали три достойных его соперника с лучшими жокеями — англичанами. На Перкуне ехал считавшийся тогда первым жокей Амброз — это окончательно обеспечивало победу Перкуна. На остальных трех, записанных уже не думая о первом призе, только в надежде получить второй или третий, скакали Клейдон, Конер и Шелли. На пятой лошади, принадлежавшей И. М. Ильенко, собственного его завода, Фогабале, скакал только что вышедший из конюшенных мальчиков жокей Воронков. Все билеты в тотализаторе стояли на Перкуна. Публика играла наверняка: лучше гривенник нажить, чем рубль прожить. Нашлись охотники и «резануть», то есть поставить на других лошадей, вернее, на жокеев-англичан, и только в Фогабала, а главное, в жокея Воронкова никто не хотел верить.

— Харьковский хохленок супротив четырех англичан!

Опустил стартер флаг. С места ринулись скакуны, впереди всех Амброз с улыбкой уверенности в своей победе. Иногда он оглядывался на Клейдона и Конера, голова в голову поспевающих за ним. Близко к ним скакал молоденький, розовый, как девушка, Шелли, а сзади, почти в хвосте у него, коренастый Воронков на своем Фогабале, который шел спокойным махом, будто и не участвовал в скачке, а так, для галопа трепался.

В последнем повороте Воронков легким посылом перегнал Шелли и приблизился чуть-чуть к двум соперникам, в хлысте наседавшим на Перкуна. Пришлось и Амброзу взяться за хлыст, начали резаться вовсю все трое, и все-таки Перкун был на корпус впереди.

И вот Воронков, сохранивший силы, уже перед самым призовым столбом уверенным посылом выбросил своего Фогабала и легко, без хлыста, пришел первым на целый корпус впереди Амброза.

Так с этого дня и осталось прозвище за Воронковым — «хитрый хохленок».

А что было в беседке! И партер, и ложи, и галерея — все гудело, ругало англичан… Всех и вся поносила неистовая публика. Требовали назад деньги. На Фогабала никто не играл, оказался поставленным билет только в одной кассе, и его взял какой-то гимназист, который не имел понятия о лошадях, а просто подошел, вынул рубль и сказал:

— Дайте нумер третий.

Цифра ли ему понравилась, мечтал ли он о тройке за латынь, а получил груду кредиток — тысячу триста девятнадцать рублей на свой рубль, которые он, вытараща от волнения глаза, не считая, рассовывал по карманам своей старой блузы и серого пальто. Счастливца окружили, смущали в продолжение всего антракта, терзали разнообразными вопросами и оставили его, лишь услыхав звонок новой скачки.

В следующем антракте его не нашли. Кто он был, никто не знал.

В газетах на другой день была описана победа Фогабала и неизвестный гимназист, получивший за рубль тысячу триста девятнадцать рублей. Даже люди, никогда не посещавшие скачек и не знавшие слова тотализатор, заинтересовались, конечно, не лошадьми, а возможностью выиграть тысячу на рубль. И через день на следующих скачках, несмотря на будни, публики было вдвое больше, а в воскресенье через неделю деревянные трибуны были переполнены, игра шла вовсю.

Непонимающая публика стала играть на всех лошадей, даже тогда, когда фаворит бесспорно был непобедим, и на фаворитов поэтому стали выдавать уже по полтине на рубль. Игра для знатоков лошадей стала верным и выгодным делом, ставки увеличились, оборот тотализатора сделался громадным. Затем ввели тотализатор и на бегах.

А единственный виновник успеха гимназист Фогабал — ему другого имени не было — сделался завсегдатаем ипподрома, бросил гимназию, служил некоторое время хористом, а потом окончательно сошел с круга, спился и кончил свою карьеру «подзаборным жучком».

— Да, Иван Иваныч, видал я его, этого главного виновника успеха тотализатора, того самого, что и скаковые и беговые трибуны выстроил. Как же, знаю. Все знаю!

— Все, да не все! Во всем этом в первую голову виновник я… Я выстроил эти трибуны, и только я. Я создал азарт, я лишил чести и карьеры молодого человека. Даже человеческого имени его лишил! Превратил в лошадь — Фогабал! Вместо имени у него осталась кличка.

И начал Иван Иваныч изливаться, пересчитывая жертвы азарта.

На глазах у него выступили слезы.

— Один я виновник!

— Успокойтесь, Иван Иваныч! Что вы?

— А вот слушайте! Тогда на скачках, как вы знаете, только что ввели тотализатор. Как вы помните, игра вначале была очень маленькая. И вот чтобы развить игру, управление скачек щедро раздавало контрамарки. Много их давали хористкам у «Яра» и в «Мавритании», главным образом цыганкам и певицам, чтобы они своих поклонников из богатого купечества приводили. Ну и ходили те, потому что даром билеты получали, хотя проигрывали гораздо больше, чем была плата за вход. Да такова уж натура у купца: ему хоть рвотного да даром.

Мне присылали на каждые скачки по нескольку контрамарок, зная мое большое знакомство. Я раздавал их и сам неукоснительно ходил. Мне это было необходимо даже — оттуда я гостей к «Яру» водил. Так вот в одно из воскресений прислали мне пять контрамарок, а я накануне обещал дать три штуки чиновнику сиротского суда, он рядом со мной на даче жил. За дачу платил сто рублей, частенько обедал и ужинал у «Яра», а жалования получал, хотя и столоначальником был, всего семь рублей в месяц. Оклады были в этом суде все такие с екатерининских времен еще, а чиновники шуровали на сиротские денежки, с опекунов взятки брали огромные. Ну, понес я ему контрамарки — он как раз с женой чай пил, и с ними тут же сидел взрослый гимназист, учитель их детей, зашел получить плату за уроки. Бедняк, круглый сирота, у дяди, хориста Большого театра, жил. Отдал я три контрамарки, а четвертую предложил гимназисту, который никогда на скачках не бывал. Он взял с радостью.

В тот же день я его увидел на скачках, тотчас после выигрыша. Он сидел у кассы, на скамейке, бледный и расстроенный. Показал мне деньги. Тут я узнал все и отвез его домой. После этого он запутался, заиграл, сначала в тотализатор, потом в карты. Наконец, попал в сумасшедший дом, пробыл там несколько лет, а на днях опять сюда вернулся. Я видел его третьего дня на скаковом кругу, среди развалин беседки.

Там после пожара лежит — поглядите, любопытно — огромная куча скрюченных, изогнутых огнем рельс и железных балок. Эту кучу я не раз видел, а тут вдруг почему-то жуть забрала… Дело было к вечеру… шел я и вдруг услышал из кучи странный, надтреснутый голос

Жутко стало, а в то же время любопытство одолело. И что же, по другую сторону, увидел я, стоит огромный старик с длинными волосами, с всклокоченной бородой, оборванный, и ревет во весь голос — не поет, а действительно ревет: «Вот мельница, она уж развалилась…»

Вгляделся я и узнал мою жертву — Фогабала!

Подошел. Глаза безумные, лицо бледное, даже синеватое какое-то.

— Фогабалушка? Здравствуй, милый!

А он поднял над головой руки, потом стал ими хлопать по бокам, как крыльями, и

опять заревел:

— «Я ворон здешних мест!» — Потом узнал меня и заплакал.

Иван Иваныч снял цилиндр и протянул мне руку.

— Прощайте. Я ему сырку снесу… Он там, в подвале живет.

Иван Иваныч тихо зашагал через шоссе, ни разу не оглянувшись. Только у входа в скаковую аллею остановился, снял цилиндр, махнул мне и тотчас же, двинувшись дальше, скрылся за поворотом аллеи. Это был последний цилиндр, который я видел.

Я продолжал одиноко сидеть на уцелевшей бульварной скамейке против «Яра», этого великолепного храма разгула прожигателей жизни, — роскошного каменного и стеклянного дворца, выросшего из старого деревянного здания одновременно с железными и каменными трибунами, воздвигнутыми на месте старых, деревянных. Иван Иваныч когда-то говорил: «На мой век хватит «Яра» и «Стрельны», — говорил это уверенно, глядя на новый каменный «Яр», выросший за счет тотализатора. Публика скачек и бегов была постоянной публикой этого ресторана.

Как на службу, являлся ежедневно Иван Иваныч в сверкающий огнями и переполненный щегольской публикой ресторан. Входил лоснящийся, пузатый, гордым и вместе с тем добродушным взглядом окидывал все столы и, направляясь к эстраде, за свой постоянный столик, раскланивался направо и налево.

— Иван Иваныч! Иван Иваныч, к нам! — раздавалось со всех сторон.

И он каждому отвечал, каждого по имени-отчеству называя, и садился там, где компания казалась ему наиболее подходящей. Он везде был желанный гость.

И вот я вспомнил сейчас, когда увидел его в первый раз, почему обратил на него внимание. Обстановка, при которой это произошло, неповторима, как и люди того времени, и стоит того, чтобы описать ее, а происходило все это более полувека назад.

«Под «Веселой козой»

В. Н. Андреев-Бурлак рассказал как-то в дружеской компании случай, произошедший с ним на нижегородской ярмарке.

— Приезжаю я из Москвы с утренним поездом. Пью в буфете кофе. Садится рядом со мной толстяк с алмазным перстнем на указательном пальце. На жилете гремит брелоками золотая цепь.

— Вот и вы приехали! — покровительственно треплет меня по плечу. — Как-то наши с вами дела пойдут, Василий Николаевич, на ярмарке?

— А вы тоже артист? — спрашиваю.

— Как же! Мы с девицами приехали. Целый вагон привез, и в заведения и на «Самокаты».

«Самокаты» я знал с 1874 года, когда совершенно случайно попал в Нижний.

Они существовали задолго до этого и были закрыты губернатором Н. М. Барановым в холерный 1892 год и никогда, насколько мне известно, не были описаны.

Весной 1874 года, после того как я вырвался с белильного Сорокинского завода в Ярославле, после зимы каторжной работы я очутился на палубе самолетского парохода, бежавшего на низ, и совершенно неожиданно попал в Нижний на ярмарку.

О пароходах на Волге никто никогда не говорил: «плывет», «едет», «идет», а всегда — «бежит». Никто из пассажиров-волгарей не скажет: «Я плыл, я ехал…» — Нет! Обязательно скажут так:

— Туда мы побежали на «Самолете», а оттуда я прибежал на «Дружине».

И действительно, глядя, как пароход вертит огромными колесами и шлепает по воде плицами колеса, будто ногами ступает, остается впечатление, что он именно бежит…

Итак, я побежал на изящном розовом пароходике общества «Самолет», с черной прямой трубой, опоясанной широкой красной полосой, и с белым флагом на корме. На нем желтой краской был изображен какой-то рисунок, из которого я помню две скрещенные

медные трубы. Это означало, что пароход почтовый.

А символ трубы обозначал почту, потому что у сидевших рядом с кучером провожатых почтовых дилижансов были точь-в-точь такие медные трубы, в которые они всю дорогу неистово дудели: «Берегись, мол, почта идет!»

Не едет. Нет, а идет… Почта пришла… Почта отходит в семь утра…

Вот и побежал я на «Самолете», запасшись краюхой ситного, воблой, выправив билет третьего класса.

Тогда билеты не покупали, а «выправляли».

Старинное слово это осталось от тех времен, когда еще пароходов не было. Теперь просто каждый подходит к кассе на пристани, платит деньги, получает билет и только: Может быть, это слово возникло по связи получения билетов с получением паспортов? Паспорт или заменяющий его документ для кратковременной отлучки не покупался сразу — надо было хлопотать, тратиться, чтобы его «выправить».

Сижу я на корме на круге якорного каната. Любуюсь красавцем-городом на высокой горе, с белыми домами на набережной, бульваром в яркой весенней зелени. Творицами за Волгой… Вон там те же самые скаты бревен, где я три года назад, придя пешком из Вологды, увидал бурлаков Малафеевской расшивы, груженной хлебом. Тут меня и наняли на путину до Рыбны, и пошли мы в этот кабак за водкой, а потом на базар за лаптями, а оттуда к тому песчаному ухвостью, за которым стояла расшива.

Ночевали мы на сыром песке, а на заре я в новых лаптях впрягся в лямку и зашатал в ватаге вверх по матушке по Волге. Взяли меня на место бурлака, который вчера уже под самым Ярославлем упал в лямке и тут же умер, на берегу, и тут же его зарыли в песок в густых тальниках.

Чуть не четверть ватаги за путину переумирало. Холерища семьдесят первого года на Волге была жестокая. Насмотрелся я этих холерных смертей в нашей ватаге, а уж там, в Рыбне, где я прокрючничал лето, валом валила она народ.

Посмотрел я на наш завод на высоком берегу: грязно-желтый, обнесенный высокой стеной, острогом глядит. Звали его «бурлацкое кладбище», потому что редко кто выходил оттуда живым. Отравлялись свинцовыми белилами, чахли и умирали.

— Чу! Труба и колокольчики…

Над нами по набережной пролетела куда-то пожарная команда… Я узнал высокого старика брандмейстера.

О, сколько пережито за три года! И атаман Репка и Костыга, как живые, перед глазами. И порка розгами солдата Орлова… И кулачные бои… А в ушах звенит голос нашего запевалы бурлацкого, его песня о пуделе, которой я после никогда не слыхал:

Белый пудель шаговит, шаговит…
Черный пудель шаговит, шаговит…

Раздолье Волги летом, пьяный вой Будиловского притона зимой, а кругом зимогоры, зимогоры… «Рвань коричневая», то слезливая, забитая, то «удалы добры молодцы» — непокорные, которым удержу нет.

Зимогоры — верхневолжское яркое слово, обозначающее тех, которым зимой горе.

И я — недавний зимогор, вырвавшийся на волю… Да еще с билетом на почтовом пароходе «Удалой», тогда одном из самых резвых на верхнем плесе.

Второй свисток прогудел над головой и выбросил в воздух один за другим два снежных облачка пара, Сквозным серебром забелели они на голубом небе, расплылись прозрачным кружевом и бесследно растаяли…

А с верховьев Волги с продолжительным свистком бежал сероватый легкий пароход с трехцветным торговым флагом, часто хлюпая плицами, и стал делать круг, чтобы стать как полагается, носом против течения. Он ловко завернул, пришвартовался к своей такой же сероватой пристани, с таким же трехцветным флагом на мачте. Над колесами я разобрал

надпись «Велизарий».

— Тихомир здорово опоздал. Со злости вдрызг налимонился, всех разнесет, — громким голосом говорил кому-то наш усатый капитан в морской, с белым верхом, фуражке.

— Ему зарез. В Ярославле всех пассажиров прозевал. В Костроме тоже мы всех заберем, — ответил кто-то невидимо для меня.

И тут же три свистка и три облачка белого пара заклубились на лазури и медленно растаяли над нами, когда «Удалой», повернув носом вправо, захлопал лопастями по забурлившей воде, выбрался на стрежень и прямо побежал вниз.

И «Велизарий» выбросил два облачка, побольше наших, дал два продолжительных, каких-то злых, тревожных свистка, будто у того, кто давал свисток, дрожала рука.

Пассажиры с носа перешли на корму и шутили над «чумовым Тихомировым». Ехавшие на «Удалом» из Рыбинска удивлялись задержке там «Велизария», который должен был бы по расписанию выйти через десять минут после нас.

Кругом шли разговоры о Тихомирове. Из них я узнал, что когда он напьется пьян, то идет «капитанить» и устраивать бешеную гонку с «Самолетом». И так всю навигацию — кроме месяца нижегородской ярмарки. Тогда пароходом правит опытный капитан, старик из лоцманов, а его хозяин со дня поднятия флага на ярмарке вплоть до закрытия ее безвыходно кутит по всем притонам, до «Самокатов» включительно.

Я бродил по пароходу и чувствовал себя, как говорится, на седьмом небе…

Еще рано утром я бросил мою рвань на базаре и переоделся во все новое: синяя рубаха в полоску, короткая суконная поддевка, сапоги гармоникой и картуз с лаковым козырьком. Я оделся именно так, как всегда щеголял Демка, конюх при цирке Василия Ивановича Вольфа. Я года два дружил с Демкой, и во время моих скитаний без паспорта и под чужим именем я, когда нужно, выдавал себя за циркового конюха, так как эта профессия никаких подозрений не возбуждала, а цирк — всеми любимая тема для разговоров, которой я и пользовался в случае нужды.

Так я решил поступать и впредь. Переодевшись в лавчонке около Будилова трактира, я уселся на тумбе, и местный седой Фигаро из старых солдат взял с меня за стрижку пятак, заявив, что остриг «под польку».

Он сразу угадал, что я с белильного завода, и посоветовал мне идти на Волгу и промыть волосы.

Это напоминание о белильном заводе укололо меня, и совершенно успокоился я только тогда, когда, купаясь, извел полкуска казанского мыла.

Я, гуляя по пароходу, поднялся на мостик, на который допускались только классные пассажиры, и меня никто не остановил. Я понял, что с недавним прошлым кончено и что никто не подумает, что я вчера еще был обреченным на гибель рабочим белильного завода и что еще сегодня утром был зимогор.

Быстро бежал «Удалой». Сзади чуть-чуть послышались три свистка: «Велизарий» отваливал. Едва ли скоро догонит.

Увидав, что спектакля не ожидается, пассажиры разбрелись с кормы. Я спустился и снова сел на канаты.

Выползли из душного кубрика два матроса и, сев рядом со мной, принялись колотить воблу о перила.

— Собачий барин остановки требует! — указал один из них, зубами сдирая шкуру с янтарной рыбины.

Далеко впереди лодка с пассажирами отваливала от высокого правого берега, где среди зелени сверкал на солнышке белый дом с колоннами.

— Это Собачий барин? — спросил я.

— Он самый.

И вспомнились рассказы старых бурлаков Костыги и Улана. Вспомнились и ночи на белильном заводе, когда бывалый бурлак Суслик, развлекавший всю казарму в долгие бессонные ночи своими бывальщинами да сказками, не раз упоминал Собачьего барина.

— На этом самом месте, — говорил он, — с испокон века бурлацкая перемена, а потом она закончилась. Приехал из Питера барин, выстроил усадьбу, она и сейчас цела пониже Ярославля — белый дом на горе, весь на виду. Стал по летам наезжать сюда на жительство. Дело еще было при крепостном праве, дворня огромная, собак уйма: охотиться гости из Питера прибывали — все важные баре. Не понравилось барину, что его бурлаки беспокоят тем, что ночуют на берегу, что кашу варят, песни поют и барынь своим видом пугают. И начал он наши ватаги собаками травить на ходу, а ежели на перемену остановятся, то ночью на нас, на сонных, налетали охотники верховые и арапниками пороли. Так года два зверовал барин да на Репку и наткнулся. А Репкина ватага — так бурлачков полсотни — всегда богатырь к богатырю была подобрана. Затеял барин потеху, сам с пьяными гостями высыпал, напустил на бурлачков своих охотников, а Репка ждал. Ну и отчихвостили наши ребята господишек и их холуев по-бурлацки. На Репку наскочил сам барин с арапником. Схватились они врукопашную, на чертолом облапились, — картинно рассказывал Суслик эту бывальщину и заканчивал: — Барин помер. Стройка дворовая сгорела, только дом остался, бурлаки перевелись, а место и по сю пору зовут Собачий барин.

Да, бурлаки перевелись, и шахма по берегу Волги тальником заросла, а Волга оживала с каждым днем. Навстречу нам попались три парохода, тащившие баржи с хлебом: «Самсон», «Громобой» и «Бурлак», да один еще почтовый самолетский, такой же, как наш, светло-розовый с красным поясом на черной трубе и золотой надписью над колесами — «Легкий».

Приняли пассажиров: какого-то мужичка да офеню с лубяным коробом. Последний как влез, короб открыл и начал торговать бусами, гребенками, платочками и разными мелочами — колечками, крестиками и книжками. Тут были и «Еруслан Лазаревич», и «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», и «Епанча, татарский наездник». Эти расценивались по три копейки, а две толстые — «Гуак, или Непреоборимая верность» и «Английский милорд» — подороже. Купил и я «Гуака», карандаш и записную книжку в зеленом сафьяне.

Яркое солнышко; тишина. Только белые плицы лениво хлопают по воде да наш пароход обменивается свистками со встречными.

Пассажиры расположились на скамейках, книжки читают.

Когда мы отваливали от Бабаек, захватив пассажиров, вдали показался «Велизарий», но было уже поздно. Мы не видели, как он заворачивал к пристани.

Матросы съели воблу. Уж и Кострома близко.

— Полный ход! — раздалась вдруг капитанская команда.

Плицы захлопали чаще.

— «Вылезарий» вылезает! — засмеялся матрос. Из-за острова показался дым, а затем флаг и труба «Велизария».

— Пущай его! Мы бы уже в Костроме были, да у Собачьего барина задержались.

В Костроме пароход стоял долго. Я отправился смотреть город. На набережной залюбовался ярко освещенной солнцем рекой и заволжской далью и сел на скамейку, где два молодых человека с черными усиками, разговаривавшие по-итальянски, громко восторгались Волгой.

— Ну что, синьоры, и вам наша Волга нравится? — обратился я к ним на французском языке, которым недурно владел благодаря своей мачехе — в ее семье иначе между собой как по-французски не говорили.

Разговорились. Это были итальянцы Э. Ф. Лукачини и М. О. Ломбардо, впоследствии владельцы известного ювелирного магазина в Москве, в пассаже Солодовникова.

— Что вы здесь делаете? — спросили они меня.

— Да ровно ничего. Сошел с парохода, затем поеду дальше, на низовья, работы искать, — и я рассказал им какую-то полуправду.

— Не хотите ли поработать у нас? Нам нужен простой рабочий на время ярмарки.

Они приехали на летнюю ярмарку в Кострому с мраморными вазами, статуэтками и

разными итальянскими безделушками.

— Идите на пароход. Берите ваш багаж.

— Пусть уж багаж останется. Там только хлеб да вобла.

— Вобла? — с удивленным видом переспросил Ломбардо. — Что это такое?

Я объяснил. И в тот же день я уже раскупоривал ящики, помогал раскладывать товар в деревянном балагане на площади, а потом всю ярмарку днем был за приказчика и ночевал в балагане за сторожа.

По окончании ярмарки я уложил товар, свез на пароход и сдал в Нижний.

Нам было жалко расставаться, так мы свыклись и подружились. В конце концов итальянцы пригласили меня с собой на ярмарку в Нижний.

Когда я приехал, нижегородская ярмарка еще не была открыта, свозились, распаковывались и раскладывались товары под Главным домом, где Ломбардо и Лукачини сняли магазинчик в пристройке, направо от входа со стороны флага. Напротив нас был магазин швейных машин Блока, того самого, который имел впоследствии в Москве на Мясницкой огромный магазин весов «Фербенкс», велосипедов и пишущих машин.

Сейчас я не помню, чьи магазины были кругом. Только одна вывеска, наискосок от нас, в начале галереи с галантереей, привлекла мое внимание. На синем фоне золотыми буквами ярко горели слова «Рошфор и Емельянов». Я знал, что Рошфор — французский революционер и маленькие тетрадки его журнала «Intransigeant» лежали вместе с номерами «Колокола» в ящике письменного стола ссыльного студента Саши Разнатовского, моего дяди по мачехе, в комнате которого я жил вместе с ним.

Конечно, слово «Рошфор» меня заинтересовало. Оказалось, это были московские купцы с Таганки, торговавшие в Ножовой линии. При них в лавке находился сын Емельянова, беловолосый малый лет семнадцати, с круглым, заплывшим жиром розовым лицом и толстыми губами, которые то и дело носили на себе следы какого-нибудь варенья. На ярмарке он сидел почти все время на табуретке перед магазинчиком и обязательно что-нибудь жевал: то халву и разные сласти из греческой лавочки рядом с нами, то пирожное из кондитерской Мишель, при выходе из Главного дома; за пирожным Лупетка — так его прозвали соседние приказчики за толстомордие — бегал то и дело.

Помощи в торговле от него, кажется не было никакой, и он был взят сюда отцом, чтобы присматривался к делу.

Вместе с отцом оба они в поддевках, в высоких сапогах и в картузах, обедать ходили в харчевню. Да и самые что ни на есть богачи питались обычно на ярмарке не лучше их, преимущественно всухомятку, покупая всякую снедь у разносчиков. Чай пили все из медных чайников; кипяток приносился из трактира. Так жили на ярмарке миллионеры старого типа, дети которых развернулись вовсю через четверть века, чтобы на Всероссийской выставке сверкнуть на весь мир своей чрезмерной роскошью.

А тогда приезжали деды и отцы со своих фабрик на ярмарку в вагонах третьего класса, в буфеты на станциях не ходили, а вынимали из дорожного мешка ситцевый платок, в котором лежали хлеб, соль, яйца, обязательно каленые (дольше не портятся), и тут же в вагоне пили чай из своих чайников.

— Станция Петушки — горячие пирожки! — объявлял по вагонам кондуктор, получавший за рекламу о пирожках от буфетчика угощенье. Иногда ему удавалось соблазнить какого-нибудь таганского или рогожского миллионера, и тот раскошеливался на пятиалтынный и посылал приказчика купить тройку пирожков.

— Да ты, малый, гляди, чтоб горячие были! — напутствовал его «сам».

Копеечничали, жульничали, в еде себе отказывали, скопидомствовали и старались надуть, всякий по своей специальности: где обмерить, где обвесить, где рабочего штрафом донять — только бы нажить лишнюю копейку!

Они копили капиталы своим наследникам, а наследники из ярмарочных трактиров не выходили: проводили время с певичками, били зеркала.

Да и сами старики загуливали иногда.

— А где сам? — спросил однажды покупатель у доверенного в амбаре.

— Третий день из Барботенкова трактира не выходит.

— Значит, вожжа под хвост попала?

— Есть грех. Да извольте приказать, без него в лучшем виде вам все отпустим.

Вернулся хозяин дня через три туча-тучей. Доверенный отдал отчет и деньги. Доложил о совершенных им сделках, а «сам», хоть и с похмелья, а сразу увидал, что его надули. Увидал, а молчит. А потом уже не вытерпит:

— Ну ж и Петра Кириллова ты мне заправил, Федотыч!

— Помилуйте, Митрофан Саввич, нешто я смею?

— Ладно уж, помалкивай. Самой, гляди, не проболтайся. Сюды она собирается, боится, как бы я не загулял под «Веселой козой». Так и пишет.

«Веселой козой» называли нижегородский герб: красный олень с закинутыми за спину рогами и как-то весело приподнятой передней ногой. Местные живописцы

рисовали оленя по-разному, и везде он вызывал улыбку у зрителя: — Ве-е-селая коза!

Для купеческого загула здесь существовали по трактирам закабаленные содержательницами хоров певички и были шикарные публичные дома, в которые то и дело привозили новых и новых рабынь торговцы живым товаром, а отбросы из этих домов шли на «Самокаты».

«Самокаты» — это гнезда такого разврата, какой едва ли мог существовать когда-нибудь и где-нибудь, кроме нижегородской ярмарки.

И место для них было выбрано самое подходящее, отделенное от ярмарки двумя глубокими каналами. Один впадал в Мещерское озеро, к берегу которого примыкали «Самокаты», а другой граничил с банным пустырем. Только двумя мостиками и узкой лавой для пешеходов отделялось оно от азиатского квартала ярмарки, а четвертая его сторона уходила в болото, поросшее тальником и бурьяном в рост человека. Официально это место называлось Самокатская площадь и было предназначено для народных гуляний, но редко трезвый решался сунуться в это волчье логово, всегда буйное, пьяное. Зато вся уголовщина, сбегавшаяся отовсюду на ярмарку, чувствовала себя здесь как дома. Попадали туда (на «Самокаты» не шли, не ездили, туда именно попадали) и рабочие-водники со всех соседних пристаней и складов на берегу Волги, где был для них и ночлежный дом. Туда безбоязненно входил всякий, потому что полицейского надзора не существовало во всем этом обширном районе водников, как и на всем Самокатном полуострове.

Площадь с балаганами и каруселями («Самокаты») была окружена рядом каменных и деревянных, почти сплошь одноэтажных, строений, предназначенных специально под трактиры и притоны. Все они были на один манер, только одно богаче, другое беднее, одно обширнее, другое меньше. Половину здания занимал трактир, остальную часть — номера. И все они звались «Самокатами». «Самокат» Милютина был самый огромный, окруженный с трех сторон широкой террасой. Двери номеров выходили прямо на нее. Юридически, по закону, трактир от номеров должен был быть отделен; фактически, за взятки, то и другое сливалось в одно целое. Одно без другого существовать не могло, одно являлось продолжением другого. Номера населены были женщинами, находившимися в кабале у хозяев. Эти белые рабыни — самые несчастные существа в мире.

По обязательному постановлению в гостиницах на видных местах должны были висеть доски с именами съемщиц квартир. Это соблюдалось строго. Приведу для примера одну такую доску: «№ 1-Ягориха. № 2- Фекла. № 3- Самовариха. № 4- Гехма. № 5- Анна. № 6 — Безносая. № 7 — Мадамиха».

За каждой Ягорихой и Мадамихой числилось несколько рабынь, закабаленных ими. У этих имена были выдуманные, да ни один гость, и никто вообще по имени их и не называл никогда… Вот они-то и помещались в этих номерах, которые назывались «кузницами».

За каждый такой номер платилось от сорока до шестидесяти рублей за ярмарку. Комнатки были разгорожены сквозными перегородками, а, кроме того, кровать от кровати отделялась короткой ситцевой занавеской.

Время на «Самокатах» проводилось так. С утра женщины слонялись по площади и по трактирам, растрепанные, изможденные, полупьяные, зазывали в свои «кузницы» проходящих или просто выпрашивали у них на похмелье. После полудня в балаганах начинались представления. Карусели крутились, заливались гармошки, с шести вечера шел полный разгул. С этого часа «девицы» безвыходно до утра пребывали в своих «кузницах», двери которых отворялись только для того, чтобы выпустить одного гостя и впустить на смену ему другого, уже дожидавшегося очереди за дверью… Террасы были обычно переполнены этими «жаждущими любви». Они сидели, пьяные, на скамейках вдоль стены в ожидании своей очереди, дремали, переругивались… Но чуть только где-либо начинался шум, скандал, тотчас же появлялось двое или трое здоровенных вышибал, саженных малых зловещего вида, и после двух-трех затрещин все смолкало, а виновники шума выталкивались взашей или выносились вышибалами в задние двери и выкидывались в крапиву на пустыри.

И так продолжалось сегодня, завтра и всю ярмарку — до тех пор, пока не забивали «кузниц» досками, после чего до будущего лета замирали «Самокаты» с их трактирами и «мельницами», из которых самой крупной считалась Кузнецовская.

Я бывал на «мельницах», этих будто бы тайных игорных домах, бывал на «Самокате» у Милютина, во всех воровских и разбойничьих притонах. Я надевал старый картуз, высокие сапоги, а для защиты на всякий случай клал в карман кастет, но все обходилось обычно благополучно, кроме одного случая.

«Мельницы» были главным притоном всякой уголовщины, всевозможных воров и разбойников, до беглых каторжников включительно. Только здесь все они чувствовали себя свободными и равноправными, но всегда оказывались жертвами шулеров. Без «мельниц» они были бы как рыбы без воды и воровали как будто для того, чтобы проигрывать.

Вор, украв, продавал краденое и, не успев поесть, спешил на «мельницу». Здесь ему было свободно. Обходов в те времена не было, а старый, чуть не единственный местный сыщик Лудра не был опасен. Разбойники его не стеснялись — свой человек.

В те времена на ярмарке был клуб и две «мельницы». Одна, Кузнецовская на «Самокатах», работавшая день и ночь, и денная в Канавине. Ярмарочный клуб, отделение какого-то нижегородского клуба, помещался в Караван-сарае, близ «Самокатов». Направо у входа в клуб покупался у конторщика за пять рублей сезонный билет для посещения клуба, для чего не требовалось никаких записей или рекомендаций, и большинство билетов, конечно, выдавалось на первое попавшееся, выдуманное имя. Беглые каторжники и громилы, предъявляя купленный билет, входили в клуб, где можно было встретить и весьма почтенных москвичей, любителей потешиться азартной игрой, а также и всех московских клубных, «мельничных» и пароходных шулеров.

В клубе играли преимущественно в макао. При входе у конторщика обменивались кредитные билеты на металлические марки стоимостью от одного до десяти рублей каждая, которые служили для удобства ставок.

Кроме того, перед игроками лежали кучи сотенных и четвертных билетов. Штраф начинался с часа ночи, в двадцать пять копеек, и, прогрессируя, к рассвету доходил до тридцати шести рублей. Обыкновенно, когда к двум часам штраф начинался в два рубля, столы пустели, и оставалось лишь два или три крупных стола с тысячными оборотами. После двух часов публика, покинувшая зал клуба, толпилась в коридоре, сговаривалась, где продолжать игру без штрафа, и в большинстве случаев размещалась по номерам Караван-сарая, где квартировали крупные московские шулера. Конечно, здесь обыгрывали всех и наверняка на всевозможные лады. Крупные воры и беглые сибиряки предпочитали эту игру в номерах: в клубе играли в макао, которого они не понимали, а здесь метали штосе — единственная игра, которую они признавали. Штосс специально велся на «мельнице» в Канавине, существовавшей при гостинице в отдельном зале около бильярдной. Помещение этой «мельницы» из года в год арендовали московские игроки, и большей частью владельцем ее являлся один из завсегдатаев трущобного «Крыма» на Цветном бульваре в Москве, некто Александр Иванович, известный под прозвищем Крымский. Настоящей фамилии его никто

не знал, да и вообще в этом мире до настоящих имен и фамилий никому не было дела. Крымский редко метал банк сам, а всегда держал долю у каждого банкомета, получая, кроме того, десять процентов с каждого снятого банка, так называемых «хозяйских» — плата за помещение и риск.

Во время нижегородской ярмарки московские «мельницы» и грачевские притоны пустовали, так как все крупное уезжало сюда, на «Макарьевскую». Оставались только жучки и портяночники, игравшие в стуколку и банковку да в «три карты». Переулки, примыкавшие к Грачевке, — например, Соболев или, как его называли, Фортепьянный, — тоже пустовали, так как половина обитательниц этих домов со стеклянными выступами-фонарями в бельэтаж отправлялась на ярмарку, где происходил обмен товара подержанного на свежий. Этот рынок белых невольниц происходил и в первоклассном притоне — танцевалке Кузнецова, и в других трущобах «Самокатов». Товар московский менялся на провинциальный, тоже весьма и весьма подержанный, и тот и другой широко распространял заразу, так как не только медицинского, но и вообще никакого надзора не существовало. У Кузнецова вверху в громадном зале помещалась танцевалка, а внизу — каморки «кузницы» и «мельница». Чтобы пройти из танцевалки на «мельницу», надо было спуститься на двор, заросший после пожара 60-х годов кустарником и бурьяном, где когда-то на цепи сидел кузнецовский медведь Костолом. В этом бурьяне обирали пьяных. Рассказывали, что непокорных, неугомонных и неугодных посетителей отводили к мишке «побороться».

Одного слова «медведь» было достаточно, чтобы нежеланный гость никогда не появлялся в Кузнецовском притоне. «Мельницу» у Кузнецова содержал отставной солдат Селитро. Он дружил с московскими банкометами, грачевскими героями, известными только по своим кличкам: Архивариус, капитан Жевакин, Цапля, Пашка Шалунок, Ломонос, Раздиришин, Цирульник, Василий Темный — так называемая «московская рота».

Они пользовались особой привилегией держать банк, а Щучка, Фомушка, Глухой, Шалунок и Байстрюков, впоследствии московский сыщик, вместе с другими карманниками, а также душители-азиаты никогда не получали права метать банк и были вечными данниками банкометов. Проиграется воришка-портяночник и просит банкомета:

— Дай трешку до завтра!

— Обойдешься. Лучше воровать будешь, злая рота!

«Мельничные» банкометы жили за счет понтирующих воров. Для профессионалов высшего полета главными доходами были московские купцы, вроде страстного игрока дисконтера Борисова, который каждую ночь проигрывал тысячи, приходя с карманами, полными далеко вперед обрезанных серий. Он это делал, желая из скаредности хоть выгадать три-четыре процента на обрезанных вперед купонах. На него устраивались облавы, и, пользуясь тем, что вследствие своей копеечнической жадности он экономил заплатить штраф в клубе и шел в номера, обыгрывали его наверняка. Но раз одного купца-сибиряка и в самом клубе в две ярмарки обыграли на несколько сот тысяч. Обыгрывали его каждый раз под утро, когда шел высокий штраф и присутствовали только самые крупные игроки — все дольщики банка; «московская рота».

Приходил в клуб иногда под утро и пароходчик Тихомиров, но ненадолго. Он вынимал пачку сотенных и, проиграв их, больше уж в карман не лазил, а шел куда-нибудь кутить. Система игры его была такова. Он подходил к столу:

— Сколько в банке?

— Две тысячи.

Вынимал бумажник, полный денег, клал на стол:

— По банку!

Проиграв, молча платил; выиграв — так же молча брал деньги и уходил.

Никогда он не отыгрывался, никогда второй карты не ставил. Конечно, за это банкометы не любили его.

Крупная игра шла на ярмарке. Там было около кого погреть руки разбойному люду. Кроме карманников, вроде Пашки Рябчика, рязанского Щучки, Байстрюкова и Соньки

Блювштейн, знаменитой «Соньки Золотой ручки», съезжались сюда шулера и воры не только из Москвы, Одессы и Варшавы, но даже Восток слал своих.

Около полуночи из Кузнецовского притона я раз шел домой в Кунавино, попал в какой-то пустой переулок, где не было ни сторожей, ни собак. Ночь была безлунная, пасмурная. Я сел на приступок пустого ларя, чтобы немного отдохнуть, и увидал, что со стороны «Самокатов» шел человек, беззаботно мурлыкавший:

Я хочу вам рассказать, рассказать, Как стрелочек шел гулять, шел гулять.

И сзади него какими-то кошачьими движениями бесшумно крались две темные фигуры в остроконечных шапках. Точь-в-точь таких людей я полчаса назад видел на «мельнице», где они сверкали кинжалами и черными глазищами из-под высоких остроконечных бараньих шапок.

Я сжал в кармане кастет и ждал, что будет дальше.

А высокий человек продолжал идти, тихо мурлыкая. Вдруг одна из фигур выпрямилась, махнула над своей головой рукой — и почти в тот же миг веселый певец крикнул и рухнул навзничь во весь свой огромный рост. В два прыжка, как кошки на мышь, оба азиата, прыгнули и, став на колени, припали к нему. В один миг я прыгнул на них сзади, схватил за шиворот, тряхнул… Шапки свалились с бритых голов. Это облегчило задачу. Они не успели еще сделать ни одного движения, не издали ни одного звука, а я уже молотил их голова об голову, а потом бросил на землю.

Не издав ни звука, они лежали недвижимо, может быть, притворяясь, уткнувшись в землю… Для безопасности я еще раз осмотрел их, оба были недвижимы. Человек, которого они хотели убить или ограбить, между тем приподнялся, начал озираться и что-то, весь дрожа, бормотал.

Я успокоил его, рассказал, как было дело, указал на недвижимых грабителей.

Он только тогда пришел в себя, встал и, подняв с земли остроконечную шапку, прохрипел чуть слышно:

— Это персы-душители. Надо бы их добить. Притворяются, мерзавцы, я их знаю.

Он снял со своей шеи петлю — довольно тонкий, длинный волосяной аркан, показал мне и стал меня благодарить за спасение. Аркан он свернул и сунул в карман, потом пощупал недвижимо лежащих персов и сказал:

— Кажется, готовы. А вернее, притворяются. Надо кинжалы взять. А то, неравно того и гляди, сзади пырнут.

Он вынул из ножен кинжал у одного, а я у другого.

— В канал бросим.

Мы шли между запертых ларей. Он опирался на мою руку, не раз принимался говорить, но тотчас хватался за горло и замолкал. Ни одного человека мы не встретили на дороге.

Вот и канал и узенькие лавы через него, прямо к единственному освещенному зданию Караван-сарая. На середине он остановился, оперся на перила, бросил кинжал в воду. Я сделал то же.

— Ну, теперь ничего, отдышался, — прохрипел он. — Я, знаете, с «мельницы» шел. Выиграл тысячи две, но эти самые фансегары и выследили. — И он опять принялся благодарить меня…

Я предложил проводить его домой.

— Я уже почти дома. Здесь, в Караван-сарае, номер снял.

Из бокового кармана он вынул толстую пачку сотенных, развернул ее и подает мне.

— Возьмите, сколько вам нужно. Пожалуйста, не стесняйтесь. Ведь если бы не вы…

Я отказался наотрез…

У входа в Караван-сарай мы расстались по правилам «бывалых людей», т. е. не спросив друг у друга имени-отчества.

Я пошел по набережной к Главному дому, чтобы до-

браться до своей квартиры в Кунавине, на противоположном конце ярмарки. Там тоже немало притонов было, но одиночных, а «Самокаты» — оптовый разврат.

Шел я и думал: «А где-то когда-то я его видел».

Потом на «мельнице» Кузнецова мне указали и самого атамана шайки душителей во время такой сцены.

Большая комната, несколько столов, около каждого — два стула, для банкомета и дольщика, помогавшего считать ставки. Вокруг каждого стола те же игроки, что и на Кунавинской «мельнице», перекочевавшие сюда на ночь, выстроились сплошной стеной в два-три ряда, причем задние делали ставки через головы передних, и многие из них, главным образом азиаты, видимо, не пользовались доверием. Только и слышны были возгласы банкомета:

— Ты сколько, Ахмет, ставишь?

— Какая твоя карта, Визирь?

— Дывинадцать рублей. Три сбоку.

Восьмерка выиграла, дольщик подвинул к Ахмету двенадцать рублей.

— Зачем дывинадцать? Мы ставили девытнадцать.

На спор выросла огромная фигура с ястребиным носом и черными глазами навыкате. Это и был гроза «мельницы», известный тогда всем атаман шайки душителей Али-Бер. Сразу, одним жестом, прекратил он спор.

С ним никто не вступал в пререкания, его слово было законом. Нечего и говорить, что он действовал всегда в пользу банкомета и получал за это долю.

Много лет ездил на ярмарку со своей шайкой Али-Бер. Полиция его не смела трогать, игорные дома платили ему дань. Слухи про него ходили самые зловещие, но взять его никто не решался. Боялись его грозного вида и кинжала в золотых ножнах, за ручку которого, сверкая глазами, он хватался при всяком удобном случае. Высшее начальство вообще старалось не касаться трущобного мира ярмарки. Избавил ярмарку от Али-Бера и его шайки пароходчик Тихомиров. Как-то ночью он зашел в Кузнецовские номера, где играли в карты купцы, его приятели. Игра шла очень крупная. Неожиданно появился Али-Бер со своими двумя адъютантами и по обыкновению потребовал доли.

Произошел спор. Али-Бер наполовину вынул кинжал из ножен и угрожающе сверкал глазами.

Тихомиров, как всегда, не совсем трезвый и не игравший, спокойно подошел к нему и, не говоря ни слова, своим тяжелым кулачищем трахнул его по уху. Тот, как сноп, повалился на пол.

Поднялась суматоха. Все вскочили. Адъютанты выбежали было в дверь, но их схватила в коридоре прислуга. В конце концов их всех связали, явилась полиция, которая при обыске нашла в карманах у каждого из них, в том числе и у Али-Бера, пришедшего тем временем в себя, по волосяному аркану.

С тех пор душителей больше не появлялось на ярмарке, а Тихомиров продолжал свои гонки с «Самолетом».

Об этом разудалом купеческом капитане Тихомирове я слышал много лет спустя рассказ от одного из моих товарищей по сцене, провинциального актера К. В. Загорского.

В конце девяностых годов он жил в Москве, в Петровско-Разумовском, со своей семьей, часто бывал у меня, и мы вспоминали театральную старину.

Загорский был прирожденный москвич, друг детства Александра Николаевича Островского, а в дальнейшем товарищ по службе с ним в одном из дореформенных московских судов, не то в «совестном», не то в «управе благочиния». Он знавал и кое-кого из тех людей, с которых знаменитый драматург брал характерные черты для своих типов. Как-то раз спросил меня:

— Ты, конечно, видел «Бесприданницу»?

— И видел и не видел. Раз только из-за кулис кусочками смотрел. Не помню ни сюжета, ни действующих лиц, кроме одного Паратова, и то лишь потому, что его играл Далматов. В памяти у меня осталось несколько слов, которые Далматов положительно кричал, увлекаясь, но мне думается, что Паратов был моряк, судя, по тем словам…

— Ну, ну, говори! — перебил меня Загорский.

— «Шуруй, шуруй. Сало в топку. Окорока в топку!» — вот и все, милый Костя, что я помню о «Бесприданнице».

— Ну вот, ты теперь поймешь, как создавал свои живые типы Александр Николаевич.

Однажды А. Н. Островский повез Загорского прокатиться по Волге. До Ярославля они ехали по железной дороге, а там сели на пароход «Велизарий».

Очень ярко Загорский изображал Тихомирова, богатыря военного вида, с усами, в капитанской с галуном фуражке более похожего или на корнета Отлетаева, или на разбойничьего атамана, но никак не на купца.

— Тихомиров влетел на мостик, отмахнул капитана, стал на его место и принял командование в то время, когда пароход уже повернул на низ.

— До полного! — загремел его голос.

Впереди нас дымил «Самолет», только что отошедший от пристани.

Мы с Александром Николаевичем и с тремя почетными пассажирами сидели на мостике около лоцмана.

— Пару! — крикнул Тихомиров.

Капитан, в поддевке, седобородый, стоявший с ним рядом, вынул из кармана бутылку коньяку, серебряный солидного размера стаканчик, налил полный, поднес командиру.

Тот выпил, крякнул и затем рявкнул в трубу:

— Полный ход!

Пароход содрогался и часто-часто барабанил лопастями колес.

Все ближе и ближе подходили к «Самолету». Уж можно было прочесть над колесами надпись золотыми буквами «Легкий», уж виден был рисунок на флаге, безумно-весело сверкали глаза командира. Он весь был поглощен состязанием. «Легкий» тоже тропотил плицами, прибавляя ходу.

— Шуруй! — ревел наш командир в трубу.

Ни на кого и на что не обращал он внимания, кроме своего противника. Только два слова и чередовались: «Шуруй!» и «Пару!».

Да то и дело посверкивал серебряный стакан в его руке.

Публика начинала беспокоиться. Да и я тоже.

Островский, у которого тоже веселым спортсменским огнем горели глаза, успокаивал меня:

— Он всегда так! Сейчас перегоним, а там пойдем своим ходом. Ничего! Сейчас перегоним.

Публика толпилась на носу и прилипала к бортам. Кто трусил, кто одобряюще покрикивал… У большинства поблескивал азарт в глазах, как на бегах или скачках или на петушиных боях.

— Сала! — мигнул «сам», и капитан, бывший лоцман, юркнул вниз.

— Сало спалили. Окорока, говорит, остались, — вернулся он наверх.

— Вали окорока в топку! И опять команда в трубу:

— Шуруй! Наддай! Пару!

Через полчаса бешеного хода мы нагнали и стали обгонять «Легкого», с мостика которого капитан в белом кителе, окруженный пассажирами, и в том числе щеголихами-дамами, грозил нам кулаком и что-то кричал, должно быть, ругался.

Тихомиров выхватил у лоцмана бутылку, допил коньяк из горлышка, бросил ее в воду и крикнул в рупор:

— Будьте здоровы! — и опять в трубу: — Шуруй!.. А затем, когда наша корма была уже рядом с носом самолетского парохода, он, обнажив заднюю часть, показал ее побежденному сопернику.

Старый игрок, бывавший в дни молодости на Волге и в Нижнем, знавший лично и Али-Бера и Тихомирова, рассказал мне о конце последнего:

— Давно это было. Не могу наверное год назвать, но помню, что перед началом

турецкой войны 1877 года. В Ярославле мы втроем, своей компанией, сели на «Храброго». Это тогда был самый резвый самолетский пароход на верхнем плесе. Составили было стуколку, да играть так и не пришлось. Почти одновременно с нами отвалил «Велизарий», и пошла гонка. Мы не уступали, и тот не сдавался. Какая уж тут игра! Все высыпали на палубу. Как всегда, начали о заклад биться два табачных фабриканта, Дунаев и Вахрамеев по тысяче заложили и деньги на руки рыбинскому Журавлеву отдали с тем, чтобы расчет был в Костроме. Дунаев держал на нашего «Храброго», а Вахрамеев — на «Велизария». Весь пароход играл. Кто на деньги, кто на бутылку вина, кто на пару чая.

Я сам поставил красненькую за «Велизария», уж очень он стал наседать, и потому я был уверен в своем выигрыше.

Подошли мы к Николо-Бабайкам. Вот вдали и монастырь показался.

«Велизарий» сильно приблизился. Можно было рассмотреть уже самого Тихомирова. То и дело он наклонялся к трубе, командовал в машинную.

И наш тоже то и дело кричал в кочегарку:

— Наддай! Наддай!

Все ближе и ближе подходил «Велизарий». Того и гляди, первым прибудет к пристани. Публика замерла. Вдруг… Жутко вспомнить… Страшный взрыв… И дальше он описал ужасную картину. Середина парохода вся взлетела на воздух с капитанским мостиком. С носа и кормы народ начал бросаться в воду. Тонули. Мы спустили лодку для спасения утопавших. С берега явились на помощь рыбацкие лодки. По расписанию, через полчаса наш «Самолет» ушел.

— После, — закончил он свой рассказ, — я узнал, что на монастырском кладбище было похоронено около пятидесяти человек во главе с виновником общей и своей собственной гибели, командиром «Велизария».

Об Али-Бере, деятельность которого одним ударом пресек Тихомиров, восточные купцы на ярмарке в следующем после гибели капитана году рассказывали, что атаману душителей, бежавшему от русских властей, на Востоке публично отрубили голову. Так в один год покончили свои дни два ярких типа вертепов «Веселой козы».

Ученик Расплюева

В московском шулерском мирке, мало посещавшем театры вследствие того, что все всегда были заняты картами, пользовалась вниманием только одна пьеса «Свадьба Кречинского» — уж очень она их сердцу была близка. Среди них существовали свой Кречинский и свой Расплюев.

— Вчера метал банк Кречинский!

И все знали, что разговор идет про старого игрока, щеголя Попова.

— Расплюев арапа запустил… Пенсне у него разбили. И все знали, что арапа запустил Николай Назарович Расплюев. Но никому не известно было, кто он, откуда, как его настоящая фамилия. Знал это, может быть, один только Василий Морозович Темный, его неразлучный друг, не раз вместе попадались и вместе шествовали по этапу, для удостоверения личности, в Тамбов и оттуда тотчас же преблагополучно возвращались в Москву.

Известно, что Василий Морозович Темный на самом деле был мещанин Василий Морозов. Вместе в шулерской компании они работали по игорным домам в Москве, а в ярмарках, в вагонах и на пароходах — только вдвоем. Уж очень удобная была пара: Расплюев, всегда чисто выбритый, с подстриженными усами, с причесанной по моде головой в неизменном золотом пенсне, держался барином, а Темный в долгополом сюртуке, в щегольских смазных сапогах, в картузе набекрень, с бородой-лопатой, выглядел богатым захолустным купцом или кулаком-землевладельцем. Вообще это была фигура лихая, атаманская. Оба друга являлись шулерами высокого класса. Говорили, что их связывала какая-то тайна. Василий Морозович еще в своей среде назывался по имени персонажа из той

же «Свадьбы Кречинского» — купцом Щебневым. Купец Щебнев — это тот самый, который в пьесе повторяет все время одну фразу: «Прикажите получить-с».

Это была любимая фраза и Темного, когда он метал банк, — без денег он никогда не метал и, убив карту, тотчас же требовал:

— Прикажите получить.

Вот за это его и прозвали Щебневым.

На моей памяти в поездке между Козловом и Москвой они обыграли московского богача Сергея Губонина на двенадцать тысяч рублей, и Губонин, рассказывая об этом в клубе друзьям, доказывавшим, что попал на шулеров, уверял:

— Помилуйте, быть не может. И по одежде купец, и фамилия хорошо знакомая, купеческая фамилия, Щебнев, с ним барин в золотом пенсне ехал, тоже проиграл и он.

Уж разуверился тогда, когда ему показали афишу «Свадьба Кречинского», где напечатано было в числе действующих лиц: «купец Щебнев».

Кречинским звали Попова, но вслух, в глаза ему не говорили, боялись:

— Он за Кречинского ребра переломал Ломоносову.

А Ломоносов первым кулачным бойцом считался. Попова и боялись и уважали шулера, как великого мастера своего Дела, всегда скромного и державшего свое слово. Одевался он, даже являясь в грязные игорные притоны, всегда шикарно — черная пара от лучшего портного (его поставщиком был исключительно Сиже), стройный, высокого роста и никогда, сознавая свою огромную физическую силу, не возвышавший голоса. Стоило молча поднять ему свою большую выхоленную руку (он даже спал в перчатке) — и всякий шум прекращался за игорным столом при самой каторжной компании. Приемы Кречинского были приемами барина именно в том духе, как играл Киселевский у Корша, они были усвоены им до мелочей, только носил он не бакенбарды, обязательные у Кречинского на всех сценах, а красиво подстриженные, тонкие, выхоленные усы.

Он, разгадывавший первым каждый новый прием шулерства и придумавший некоторые приемы сам, не любил бывать на народе, не играл ни в клубах, ни на свадьбах и балах в Москве, а уезжал для игры в отдаленные от центра города, где его не знали, главным образом в Сибирь, да по старой памяти иногда играл на пароходах. В Москве его специальностью было метать банк на «мельницах» только среди шулеров и представителей преступного мира и обыгрывать их только ловкостью рук и новизной приема… И никогда никто его не поймал. В Москве он занимал небольшую уютную квартиру, где жил со своей старухой-матерью и с гражданской женой, красивой эстонкой. Узнав, что какие-нибудь московские шулера кого-нибудь обыграли на большую сумму, он устраивал у себя карточный вечер, где, кроме шулеров самого высокого полета, никого не было, — и обыгрывал их вчистую каким-нибудь вновь изобретенным специально для этого случая приемом. Впоследствии этот прием расшифровывался, входил в обиход, и никто из обыгранных Поповым шулеров на него не сердился, а, узнав секрет, шулера сами применяли его в игре.

— На него понтировать все равно, что с бритвы мед лизать! — говаривали самые опытные игроки, но, чуть, бывало, позовет на вечеринку, как тараканы на хлеб лезли.

Красиво метал Попов! Изящно сорвав обложку с колоды, а колода уже подменена незримо у всех на глазах, начинал тасовать, прорезая насквозь, а карты все ложились в том же самом порядке, как они были заранее сложены, — и давал кому-нибудь срезать. Но резка ни к чему не приводила — ловкое движение руки, и карты вновь лежали, как он заранее рассчитал.

Игра была готова. Ставили деньги или, кому разрешено, записывали мелом. Орлиным, именно орлиным глазом он окидывал стол — и сразу видел все: на какие карты крупные ставки, на какие мельче, верны ли записи.

— Что у вас там написано? Пять или три? Три? Ну так хвостик прочеркните направо… А мне показалось отсюда пять…

— А этот угол на пе или на перепе?

— На пе…

— У вас мелок подкололся, две полоски дает… выходит, на перепе…

— Заметал!

Как машина, правильно и размеренно ложились карты направо и налево; после каждого «абцуга» Попов оглядывал стол и тихо тянул верхнюю карту. Вот показались за тузом червонные «четыре сбоку», а одна «четыре сбоку» — девятка — уже была дана, значит, по теории вероятности десятка, может быть, лежащая под тузом, — дана. Самая крупная ставка, пучок сотенных, поставлена была на десятку… Попов снял туза, но под ним оказалась не десятка, а валет… Десятка следующая — бита. Все догадывались, конечно, что передернуто, но никто не видел этого.

Таков был московский Кречинский 70-х, 80-х и 90-х годов.

С этим-то самым Поповым я познакомился в 1874 году в Ярославле, а через год после этого на нижегородской ярмарке спас его от смерти, вырвав из рук душителей.

В первой половине 80-х годов я встретил его в Москве, в бильярдной ресторана «Эрмитаж», где изредка выпадала крупная игра, но по большей части публики бывало мало, потому что туда пускали далеко не всех. Проходя мимо, я случайно зашел в бильярдную посмотреть игру. Один бильярд стоял пустой, а на другом в соседней комнате, за спущенными драпри, играл с маркером высокий щеголь — и играл прекрасно. Я сел на диван в тот момент, когда щеголь, наклоняясь над бильярдом, бегло взглянул на меня и блестяще закончил партию, положив щегольским ударом два последних шара.

— Нет, Николай Васильевич, с вами «так на так» играть я не могу… Десять очков вперед разве… А то немыслимо.

— Ну, хорошо, Алексей, пока довольно. Вот тебе за партию, сдачи на него, — щеголь бросил на бильярд пять рублей. — Шары оставь, бильярд за мной, и ступай наверх, скажи Мариусу, чтобы прислал моего сотерна и старого бри.

Я смотрел на него, и мне вспомнилась ночь… Пустая площадь… Две крадущиеся за высоким человеком фигуры… Волосяная петля душителей…

И вот он опять был передо мной… Вымыв после игры руки, он подошел ко мне.

— Простите, что я подошел к вам. Но если бы не вы тогда, так этого не было бы. Узнали? Я — Попов Николай Васильевич, помните?

— Сразу вас узнал, Николай Васильевич. Очень рад.

— Ну, вот насчет рад, знаете… Может быть, и рады, потому, что не знаете… всего не знаете… Но я вам должен сказать все… Не откажите выпить со мной стакан вина… Прекрасное, куплено во Франции еще самим Оливье… Ведь Оливье тоже игрок был когда-то.

В это время вошел Алексей, и половой в белой рубашке принес вино и сыр.

— Еще стакан, Алексей! Сам принеси.

— Пожалуйте, — пригласил Попов меня к столу.

— С удовольствием!

Мы пили действительно прекрасный сотерн. Попов и до этого не раз встречал меня в Москве, но стеснялся подходить, а я его не узнавал, забыл. Он читал почти все, что я написал, и удивился, что это писал я, тот самый, который тогда в Нижнем ходил в высоких сапогах и картузе. Он сознался, что остался таким же игроком-профессионалом, каким был тогда, только еще более усовершенствовался.

— Если вы познакомитесь с игроками, или вот хоть спросите Алексея, вам много про меня расскажут — и все, что они будут говорить, верно. Скажут, шулер — верьте… Вот почему я и не подхожу к вам и не лезу со своим знакомством. Да я нигде и не бываю, кроме «мельниц»… Вот и сегодня у Васьки Павловского на Большой Дмитровке банк мечу, а вчера был в притоне у Вьюна на Грачевке… И нигде больше не бываю. Иногда вот прихожу сюда с Алексеем поиграть на бильярде… Но на деньги я никогда на бильярде не играю. Вообще у меня система не заводить знакомств без нужды и меньше показываться на людях. А то придешь в бильярдную, и вдруг кругом шепот: «Кречинский пришел». Ну, поняли вы теперь,

кто я?..

Мы пили вино, он все изливался, благодарил меня за спасение жизни и взял с меня слово при встречах не узнавать его и не подходить к нему:

— Разрешите только мне иногда подходить к вам — я знаю, когда можно…

В конце концов мы сыграли партию на бильярде, и я, хорошо игравший, остался на пятидесяти очках, когда он закончил партию дуплетом.

— Хорошо играете, — сказал он мне, и мы разошлись. В течение следующих десяти лет мы встречались

раза три. Однажды по моей усиленной просьбе он сказал мне пароль-пропуск на шикарную «мельницу» Цаплина-Орловского, где я видел знаменитую метку Попова, конечно, и виду не подав, что мы знакомы, а потом лет десять не видал его и забыл даже о его существовании в суете своей работы и из-за частых отъездов из Москвы. Как-то раз в апреле 1912 года я присел на скамейку Нарышкинского сквера и, посмотрев газету, собирался уже встать, когда рядом со мной опустился на скамейку высокий старик с густой седой бородой, в потрепанном пальто и вылинявшей фетровой шляпе.

— Владимир Алексеевич, вот я сам теперь подошел к вам… Узнали? Попов. Позвольте с вами посидеть?

— Пожалуйста, рад вас видеть, Николай Васильевич.

— Вот теперь и я вижу по глазам вашим, что будто вы рады меня видеть… Жалеете, вижу, меня… Ну, каков я?..

— Постарели, Николай Васильевич.

— Да, я теперь Николай Васильевич Попов и похож больше уже не на Кречинского, а на Расплюева после трепки докучаевской.

— Ничего, это дело поправимое, — успокоил я его. Вздохнул старик и указал своей все еще по-прежнему мягкой и белой рукой на противоположную сторону бульвара:

— Видите этот домик? Видите герб наверху?

— Вижу.

— Этот домик когда-то принадлежал тому, кто придумал фамилию Кречинский, Сухово-Кобылину. Это все старые игроки знают. Ведь у нас, игроков, самая любимая пьеса «Свадьба Кречинского» — ну и об авторе ее не раз мне приходилось слышать… и дом этот мне указывали. Много разговоров было. Старик Шелье лично знал Сухово-Кобылина, вместе с ним после убийства содержался под шарами в Тверской части. Шелье тоже хоть и шулер, а фамилии барской был, его тоже не в клоповник, а на гауптвахту посадили поэтому, в отдельную камеру.

День был теплый. Солнышко так жарило.

— Хорошо на солнышке. Одна радость осталась — солнышко. Я каждый день хожу сюда кости погреть.

Разговорились дальше.

— Лет десять, как я бедствую… В комнатушке приютился…

Я насилу уговорил старика зайти ко мне пообедать. Чуть не силой привел. После обеда я упросил его, и упросил с большим трудом, взять денег на пальто и обувь и записал его адрес: угол Садовой и Каретного ряда…

Через два или три дня я зашел к нему. Он жил в сыром флигеле во дворе, комнатка была мрачная, облезлая. Сам Попов, чистенько одетый, подстриженный, в хорошем пальто, пил с калачом чай из кружки и жестяного чайника.

Я увел его к себе обедать. Моим домашним он понравился, я выдал его за моего старого друга юности.

Недели через две мы пригласили его провести у нас лето на даче. За лето старик поправился, порозовел и все радовался… Всему радовался, а больше всего солнышку. Все мои домашние его полюбили. Обедал он вместе с нами, а жил отдельно, в комнатке во флигельке.

— В первый раз в жизни счастливым стал, никто-то здесь меня не знает. А хорошо то,

что хорошо забыто.

В Москву Попов не поехал, остался зимовать во флигельке, а потом среди зимы перебрался в соседнюю деревню в избу, да и застрял там. Летом он пользовался нашим столом, а зимой я посылал ему провиант из города.

Жили мы с ним по-хорошему. Дома при всех разговор у нас был один, а когда мы с ним вдвоем гуляли в лесу или я заходил в его комнатку — разговоры бывали другие: старину вспоминали…

— Лет десять я до этого рая здешнего бедствовал. Сперва умерла мать, до глубокой старости добрая была, а потом моя Эммочка, тридцать лет мы с ней невенчанные жили, у нее муж в Ревеле остался. А потом без них все опротивело, и жизнь — и даже что?! — игра опротивела, игра, которую я больше всего любил…

На столе у Николая Васильевича всегда лежали две-три колоды карт, и во время разговоров он не выпускал их из рук.

— Все опротивело… Игра опротивела… Опустился я…

У него была какая-то своя профессиональная шулерская гордость, и она выявлялась иногда во время разговоров. Он воодушевлялся, красивые черные глаза его начинали сверкать, а в руках карты и прыгали, и вертелись, и трещали, и, как ветер, шумели…

— Разве теперь игроки! Портяночники! Шантрапа!.. Прежде было искусство, а теперь? Ишь какое искусство — прометать готовую накладку!.. А подсунуть ее в десять колод железки всякий фармазонщик сумеет… Ни ума, ни искусства тут не нужно. Любой лапотник промечет. А прежде требовались и метка, и складка, и тасовка сквозная. — Он распустил карты веером, перетасовал их, и все карты оказались лежащими в прежнем, но обратном порядке. — А сколько разных авантажей — все их знать надо было. А банки — «кругляк», «девяти-абцужник», последний — когда девять карт из тринадцати бьются, а «кругляк» — когда бьются все подряд.

И он, держа колоду в руках, показывал мне поразительные вещи, делая неуловимые вольты перед моими глазами и передергивая так, что невозможно было заметить. А тасовал он так, что карты насквозь проходили и ложились в том же порядке, как первоначально.

— Вот это — искусство!..

Я смотрел на чудеса его рук — и не мог понять, каким образом все это у него выходило.

— Ведь я, кроме карт, всю жизнь ничем не занимался… Если мне выпустить из рук карты на неделю, так шабаш… «Свадьбу Кречинского» помните? Уж на что был искусник Михаил Васильевич Кречинский, а занялся не своим делом, на фармазонство перешел, булавку сменил, как последний подкидчик, ну и пропал! За чужое дело не берись!

— Да ведь это на сцене, — возразил я.

— Нет, в жизни! Фамилия только другая, а он самый у нас в Ярославле жил. За графа Красинского считался, уважением пользовался, а потом оказалось, что это вовсе не граф, а просто варшавский аферист и шулер, шляхтич Крысинский. Одну буковку в паспорте переправил, оказалось…

— И вы знали его в Ярославле?

— Нет, я тогда еще мальчуганом был, а вот мой учитель по игре, Елисей Антонович, вместе с ним работал…

С него-то Сухово-Кобылин Расплюева, как с живого, списал, да и Кречинского списал с графа, тоже с натуры. Он был выслан после истории с булавкой из Петербурга в Ярославль, здесь сошелся с Елисеем Антоновичем — фамилии его не помню, кажется из духовного звания он был или из чиновников… Все это я узнал через много лет. Жили они в Ярославле, а на добычу вдвоем отправлялись — разъезжали по ярмаркам, по городам и усадьбам, помещиков обыгрывали. Потом уж разузнали, что граф был липовый и что в графы его, как в «Свадьбе Кречинского» говорится, «пиковый король жаловал».

Я по целым часам иногда слушал Попова, увлекшегося воспоминаниями, вынимал книжку, начинал записывать.

— Не надо, не пишите! — просил он. — Лучше сам я этим займусь. Зимой делать-то нечего, вот я и опишу всю свою жизнь с самого детства, все, что видел, всех, с кем дело имел. А потом вы выберете оттуда, что надо, — и печатайте. У меня родни никакой нет, некому будет обижаться на меня. Печатайте, как есть, с полной фамилией… Может, еще найдется и такой человек, который меня добрым словом вспомнит, — ведь всякое в жизни моей бывало.

А я все-таки записал и запомнил много из рассказов Николая Васильевича. Так продолжалось три лета.

Потом началась война, затем революция; старик все время жил в деревне и время от времени присылал мне пакеты с рукописями на листках клетчатых блокнотов, которые я оставил ему. Наконец в 1919 году сам привез мне последнюю рукопись под названием «Исповедь шулера», а через год умер от сыпняка. Начиналась рукопись так: «У каждого человека есть своя книга жизни. Есть такая и у меня своя книжонка, которая просится, как исповедь, на свободу. Есть в начале ее грязные пятна, которые я не в силах отчистить, — моя горделивость страдала — я долго ее не мог побороть, но я все-таки ее поборол…»

Из записок Попова и из его рассказов во время наших бесед на даче выяснилось, как он стал игроком. Отец Николая Васильевича, кожевник, умер, когда мальчику было лет десять. У них был где-то на окраине Ярославля небольшой домишко с садиком и огородом, с воротами, выходившими на немощеную улицу, а на воротах висела деревянная дощечка с нарисованным на ней ведром. У соседнего домика, такого же маленького, но с большим яблоневым и ягодным садом, на дощечке был изображен ухват; по другую сторону улицы на домике столяра висела дощечка с изображением швабры.

Означало это, что на каждый пожар домовладельцы должны были являться с назначенными им вещами: мать Попова с ведром, столяр со шваброй.

«Мать моя была тогда еще совсем молодая и, рано овдовев, так ни за кого второй раз замуж и не вышла, до самой своей смерти не оставляла меня, и скончалась старушка в Москве, у меня на руках. Одиноко мы в Ярославле жили на крохи, оставленные отцом, да на доход с огорода. Знакомых мать не заводила, только соседи Кудимыч с женой, пожилые уже, но крепкие, здоровые старики, и бывали у нас. Детей они не имели, а квартировал у них некий Плакида, державший бильярдную в трактире «Русский пир», против Николо-Мокринских казарм. Об этом я узнал уже гораздо позднее, а в первые годы сиротства я не понимал, что такая и за штука — бильярд.

Фамилия Кудимыча была Анкудинов, как и стояло под изображением ухвата, — ну и звали его все Кудимычем. А то еще за глаза Коровой звали. Он ездил зимой по ярмаркам, а летом по Волге, чем-то торговал, как говорили, но в нашем городе он ничего не делал, сидел дома, лишь иногда в гости ходил. Дома всегда Кудимыч ходил в опорках и ситцевой рубахе, а отправляясь в гости, надевал бархатный жилет, долгополый мещанский сюртук и сапоги с голенищами гармоникой, причем так, бывало, начищал их ваксой, что они, как зеркало, блестели. Щеголь был, хоть и старик… Меня и он и жена его любили, давали гостинцы, ягоды из своего сада.

А постарше я стал — Кудимыч или его жена, а то Плакида начали посылать меня в лавку или в ренсковой погреб за вином и пивом, когда гости к ним приходили. Чаще других бывал у. них Елисей Антонович. Он одевался барином, носил часы, брюки навыпуск, голова у него была седая, а усы он красил, из себя был высокий, толстый, одутловатый, важный такой на вид».

Рассказывая мне о нем, Попов добавлял, что и сейчас еще ходит по Москве живой его портрет, один субъект, известный всем как либерал и благотворитель, а на самом деле шулер и дисконтер, разоривший много народу.

«До четырнадцати лет я учился в уездном училище, потом ученье бросил.

У Кудимыча в саду стояла беседка с окнами, и часто там сидел он с Елисеем Антоновичем, в карты вдвоем играли. Иногда к ним присоединялся и Плакида. Меня посылали за вином и закусками. Бывало, напишет Елисей Антонович в ренсковой погреб или

в рыбную лавку записку и пошлет меня, а в лавке его уважали, отпускали самого лучшего балыка, икры… Затем они выпивали, играли, а то карты подбирали.

Как-то раз, мне уж лет пятнадцать было, зашел я в беседку, а Кудимыч начал меня гнать домой: ступай, не твое здесь дело! Но Антоныч остановил меня и принялся разные фокусы показывать, стал учить меня самого их делать.

— Гляди, Кудимыч, ловкий малый выйдет из него, руки-то какие!

И вот мои большие белые руки решили мою участь.

Когда Антоныча не было, меня учил Кудимыч, а потом Плакида позвал в свою бильярдную, где, кроме бильярда, были разные игры: и бикса, и судьбы, и фортунка, — а рядом в комнатке день и ночь в карты на деньги резались. Елисей Антонович заставлял меня проделывать всевозможные штуки с картами, учил все новым и новым приемам, очень меня хвалил и Кудимычу каждый раз говорил:

— Из малого выйдет толк. Руки на редкость, и не дурак.

В бильярдной у Плакиды я скоро стал своим человеком и в шестнадцать лет умел играть наверняка, быстро подбирать карты, делать вольты, всевозможные коробки, фальшивые тасовки и все, что требовалось для игрока, т. е. шулера-исполнителя. И успехом своим я обязан был главным образом Елисею Антоновичу, он куда выше был и Плакиды и Кудимыча».

Дальше в записках Попова шло описание всех шулерских похождений, а также игорных домов, игры на пароходах, главных шулеров. Но этому необходимо посвятить особый очерк, а теперь я передам только гибель Расплюева. Расплюевым его, правда, никто из игроков не называл, хотя многие и знали, что Расплюев именно с него списан был Сухово-Кобылиным.

Попов узнал о «Свадьбе Кречинского», о том, кто именно были Кречинский и Расплюев, через много лет после того, как, восемнадцатилетний, он ездил с шулерами летом на пароходах обыгрывать пассажиров.

— Вернувшись с Кудимычем из такой поездки, — рассказывал он мне, — мы узнали от Плакиды, что Елисея Антоновича актер Егор Быстров, тогда известный игрок на бильярде, поймал в мошенничестве и так избил, что его привезли домой замертво. Плакида сам присутствовал при этом. Дело было в бильярдной трактира «Столбы». Играли по крупной Быстров и знаменитый маркер Яшка Доминик, державший свой бильярд в трактире Лысенкова на Сенной и ходивший играть в трактир «Столбы», так как там бывала крупная игра. Яшка получил прозвание Доминика потому, что служил маркером в петербургском ресторане Доминика. Он считался там первым игроком и был выслан в Ярославль за мошенничество. Яшка был дружен с Елисеем Антоновичем, а «графа» знал еще с Петербурга. Это была одна шайка.

Быстров, не уступавший в игре на бильярде Яшке, играл с ним. Народу было много. Со стороны держались крупные пари — игроки за Яшку, публика — было много актеров — за своего, Быстрова. Крупную сумму держал за Яшку Антоныч, его дольщик. Он сидел за столиком и закусывал. Около его прибора лежал кусок мела, которым игроки мелили кий.

Партия шла к концу, все зависело от последнего шара, и он так висел над лузой, только тронь — упадет. Удар был Быстрова. Он подошел к столу, и Елисей Антонович подал ему мел. Тот взял, намелил кий, прицелился — и вдруг «скиксовал»: кий скользнул по шару, и шар покатился в сторону. В публике произошло движение. Яшка моментально схватил кий и тотчас положил шар, продолжавший висеть над лузой. Выиграв, следовательно, партию, он тотчас же вынул из лузы выигранные им деньги. Но опомнившийся сразу Быстров сверкнул глазами, что-то сообразил, понюхал конец кия.

— Салом смазано! — крикнул он в негодовании, бросился к столу, а Елисей Антонович в это время салфеткой мел накрывал.

Это заметили окружающие. Быстров взял в руку, понюхал мел и показал всем:

— Нюхайте, мел насален!

Затем он изо всей силы ударил Антоныча кулаком по лицу, а подбежавшего Яшку —

кием по голове. Актеры повскакивали и вслед за Быстровым начали лупить Антоныча, Яшку и всех, кто вздумал за них заступаться.

Это было осенью, а зимой Расплюев умер. Яшка Доминик ослеп.

— Так окончил мой «учитель» свое земное странствие… — завершил повествование Николай Васильевич.

— Это для меня не новость, Николай Васильевич! Забыли вы еще самый конец, как трагик Волгин выкинул вашего учителя в окно.

Поразился старик, руками всплеснул:

— Верно! Верно! Только мне уж об этом не Яшка, а другие рассказывали… Когда началась драка, кто-то открыл окно и закричал «караул», а приятель Быстрова, Волгин, который до той поры пьяный спал, сидя за столиком, проснулся и, узнав, что обидели Быстрова, бросился в свалку. Ему указали на толстяка с седой головой, который схватился врукопашную с Быстровым.

— Прочь! — взревел он.

Все в испуге замерли перед громадной фигурой с поднятыми кулачищами.

— Этот? — ткнул Волгин пальцем в Антоныча и, услыхав подтверждение, схватил его поперек тела, выкинул, как щенка, за окно…

Окончательно поражен был Николай Васильевич, когда я ему сказал, что это же самое я слышал от моего товарища по сцене Докучаева.

— Как? Того, что в «Свадьбе Кречинского» поминают?.. Я слыхал о нем, но ни в одном городе мне с ним не удалось встретиться. Некоторые наши игроки видали его, а мне не пришлось.

Я потешил старика, рассказав, что знал о Докучаеве.

Люди с волчьим видом

Июль месяц. Еду по Волге в астраханские степи описывать чуму по поручению редакции.

Публика на пароходе довольно серая — поговорить не с кем. И за весь рейс от Ярославля до Нижнего меня заинтересовал только один человек, или, лучше сказать, бывший человек, о котором я и рассказываю.

Пароход остановился у Кинешмы. Погрузился. Сняли сходни. Стали отваливать. Пока происходила погрузка, обратил невольно мое внимание на себя молодой человек, жилистый, оборванный, босой, с котомкой за плечами, а на котомке болтался жестяной чайник. Он как-то особенно спокойно стоял на краю пристани, даже не интересуясь суетой и движением вокруг.

Исхудавшее лицо, темное от загара, и с обеих сторон распухшая шея: какие-то два громадных желвака от ушей до плеч.

Едва убрали сходни и пароход двинулся, как он с тем же совершенно спокойным видом сделал прыжок и очутился на пароходе и через минуту так же невозмутимо сидел на нижней палубе на скамейке, рядом со старухой богомолкой.

Я подсел к ним и открыл табакерку.

— Угостите.

Бродяжка нюхает и чихает, любуется табакеркой.

— Под чернетью. И внутри позолота ладная… А шалниры-то какие. У меня дядя серебряник, я знаю эти вещи.

— А что у тебя с шеей?

— Давно это у меня так. Застудил, так и осталось. Да оно не мешает мне.

— Откуда? — спрашиваю.

— Из Ростова-Ярославского.

— А далеко?

— Пока не ссадят. А надо мне куда-то в Астраханскую. Забыл город, сейчас посмотрю.

Он вынул из тряпки бумагу, посмотрел и сказал:

— В Енотаевск. Уж придумали городок, язык переломишь. Енотаевск… Чтоб ему ни дна ни покрышки…

Дальше — больше, разговорились. Оказался знакомый тип: человек с волчьим видом.

— Да уж документик сподобили, иди, пока не умрешь. На сутки поработать нигде нельзя остановиться, или воруй, или грабь, или умирай, если Христа ради не подадут. Вот он, настоящий волчий паспорт, пожалуйте-с, взгляните.

И подал мне печатный документ с приложением печати.

Это был вид, но не вид на жительство, а вид на право идти без остановок. Законный вид на бродяжничество, волчий паспорт, с которым всякий обладателя его имеет право гнать из-под своей крыши, из селения, из города. Я целиком списал этот вид и привожу дословно:

«Проходное свидетельство, данное из Ростовского Полицейского Управления, Ярославской губернии, административно высланному из Петербурга петербургскому мещанину Алексею Григорьеву Петрову, на свободный проход до г. Енотаевска, Астраханской губернии, в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся на пути, и по прибытии в г. Енотаевск явился в тамошнее полицейское управление и предъявил проходное свидетельство. Июля 30 дня 1882 г.».

Затем стояла подпись, которую, как и все подписи на документах, разобрать было невозможно. Я возвратил вид на бродяжничество и спросил:

— Почему именно в Енотаевск?

— Да вот в Енотаевск, чтобы ему ни дна ни покрышки…

— Кому ему? Енотаевску?

— Нет, чиновнику.

— Какому?

— Да в Ростове. Вывели нас из каталажки, поставили всех в канцелярии. А он вышел, да и давай назначать кого куда. Одного в Бердичев, другого в Вологду, третьего в Майкоп, четвертого в Мариуполь. Потом позабыл город, потребовал календарь, посмотрел в него, взглянул на меня да и скомандовал:

— В Енотаевск его пиши.

— И остальных по календарю, в города, которые называются почуднее, разослал… Шутник.

— За что ж тебя из Петербурга турнули?

— Из-за дворника. Дворнику как-то на пару пива не дал, он и обещал попомнить. Ну, и попомнил. На заводе у нас беспорядки были, и я тоже в толпе был и не шумел, а вот попал. Когда стали арестовывать, дворник и попомнил, указал на меня. На восемь лет и выслали… четыре года хожу, а четыре еще осталось.

Один благодетель-чиновник из Харьковской губернии меня в Колу махнул. И натерпелся же я. Через Архангельск да по тундрам. Хорошо еще, коты на ноги дали… Из Колы опять этапом в Городище, Пензенской губернии, махнули… А оттуда в Ростов… Через Казань пошел, по Волге, через Нижний, в казанской больнице лежал…

В Нижнем я стою на палубе парохода и смотрю на выходящих пассажиров, у которых капитан строго отбирает билеты.

Мой бродяжка подходит ко мне и жалуется, что после Нижнего зайцем больше ехать нельзя, контроль будет строгий. И делает движение, чтобы уйти. Я вынимаю пять рублей и сую ему в руку:

— Купи билет и поезжай спокойно.

Он зажал деньги и смутился. Что-то хочет сказать и, видимо, не может. Затем он запустил руку к себе в карман, вынул мою табакерку, сунул ее в карман моей тужурки, где я ее обыкновенно ношу, и без оглядки бросился бежать сквозь контроль, оттолкнув матроса, который чуть не упал… И сразу пропал где-то… Шум… гвалт… Потом все успокоились. Он исчез…

И понять не могу, как он в одну минуту так ловко выудил из кармана мою табакерку.

С историей моей табакерки и этим бродягой еще раз связана моя последняя в жизни, любимая мною с юных дней степных скитаний охота на волка в угон, давно-давно забытая. Охота эта калмыцкая и казачья, потому что для нее нужны волк, степь и лошадь. Да еще особая нагайка, волчатник. От обыкновенной казацкой нагайки она отличается тем, что она длиннее наполовину и втрое толще, хотя сплетена также из тонких сыромятных ремней, а иногда в нее вплетали кусок свинца. Только это совершенно лишнее — и без свинца удар такой нагайки страшен, а с коня на скаку она разбивает волчий череп, а то и хребет можно перешибить.

Десятки лет эта моя старая приятельница по охоте хранится у меня…

И вот — это было в последний год прошлого столетия, поздней осенью — я был на зимовниках сначала в задонских степях, а потом и проехал в ногайские и зеленчукские степи, на хутор к молоканину овцеводу и коннозаводчику, по его просьбе я помог купить как-то для его табунов двух английских жеребцов-производителей.

Там-то случайно и пришлось поохотиться, еще раз повторяю — последний раз в моей жизни, в угон на волка, и удалось залобанить такого серого матерого, каких я никогда и не видывал. Степной волк, широкий, могучий, шерсть у него короткая и густая. Шкура этого волка лежала у меня в кабинете ковром до самой первой революции — и все как новая.

Осмотрев табуны, производителей и жеребят от них, я собирался уже ехать в Москву и с рассветом просил приготовить лошадей.

Накануне, по обычаю благочестивейшего молоканского семейства человек из десяти, мы сели за ужин часов в восемь вечера, ели после разных закусок лапшу из индейки, жареных кур, баранину жареную, соленые бараньи язычки, пшенную кашу с молоком и на закуску по полной тарелке взвара, т. е. компота из свежих персиков, груш, яблок и вишен…

После ужина я отправился в комнату для почетных гостей спать до рассвета.

Комната большая, светлая, с коврами и двумя кроватями. Высота кроватей в рост человека, потому что на них распухли в три ряда пуховики и по шести подушек в головах. Забираться на такую постель приходилось с особой специальной скамейки, а как ляжешь, как охватят тело пуховики — так и заснешь сразу. Да на том боку, на который лег, и проснешься — спишь как убитый…

Еще не рассветало, а мы уже пили чай, опять вся семья вместе, за тем же огромным столом с ведерным самоваром, с печеньями, закусками, холодными и дымящимися: тут и гора белых горячих пышек, и блюдо бараньих язычков, и нога холодной баранины, и дымящиеся блюда с нарезанными большими кусками легкого, сердца и печенки — и опять передо мною та же батарея наливок… А хозяйка уже уложила мне всяких съестных припасов и бутылок в корзину на дорогу… так думаю, пятерым до Москвы хватит.

И вдруг во время чаепития вбегает чабан и жалуется, что у него ночью волк барана утащил и жрет его в бурьянах, за балкой около старой базы, а база эта верстах в двух от хутора.

Я обратился к старику:

— Поседлайте Наяду…

Это прекрасная полукровка, дочь знаменитого Дир-боя, на которой я ездил по его табунам.

— И я поеду, — сказал старший сын Федя, наездник и охотник.

Через пять минут мы тихо подъезжали к базе, окруженной бурьяном. Сзади бежал чабан и указал нам место:

— Там он залег, бирюк-то!

Действительно, зашевелились полосой бурьяны и в полосе замелькал убегавший волк…

Солнце зазолотило седло и головы Эльбруса.

Утро тихое, чудное, холодное…

Волк вырвался из бурьянов и мчал по голой степи. Мы неслись за ним, намеренно

держась от него шагах в двухстах. Степь на бесконечное пространство гладкая, без кустика, даже без бурьянов. Все на виду… Волк мчится, не оглядываясь. Он чувствует… Он инстинктом чувствовал, когда мы прибавляли хода, — и усиливал свой бег… Мы сдерживали коней, а он все удирал — и наконец, оглянулся и пошел потише… Мы опять несколько сажен пустили порезвее, и он помчался… Так играли с ним долго… Он шел к горам — они верстах в ста от нас, — шел по прямой линии, как стрела… Он шел шагах в трехстах от нас — и мы скачем.

Он все ближе и ближе… Голову держит вбок… Мы видим его высунутый язык… Мы опять немного сдержали коней…

— У меня лошадь захромала, езжайте дальше одни!

И спутник мой слез с коня. Я оглядываюсь. Ведет лошадь в поводу — она припадает на правую ногу. Он что-то кричит мне и машет рукой. Мне не до него. Скачу.

Через минуту я все забыл, кроме волка, и мчался за ним, не оглядываясь. Настали минуты горячие… Я то догонял его, то давал передышку лошади, а он драл вовсю по прямой линии. Волк знал, что свернуть в сторону — значит сократить расстояние в пользу врага…

Но он ошибался: у лошади, у этой чудной Наяды, бравшей барьерные призы на скачках и не боявшейся ни выстрелов, ни зверя, запас сил был огромный… Притом она отдыхала то и дело на переменном аллюре, а он лупил без передышки и стал выдыхаться. Язык его волочился чуть не по земле.

Впереди затемнелись две узкие и длинные полосы бурьянов, росших по неглубокой балке, близко от меня переходившей в степь, а вправо тянувшейся далеко по направлению к горам… Во время дождей туда гоняют табуны… Я налег в карьер… Волк шагах в ста от меня. Видимо, зарьял, но торопится к балке… По всей вероятности, он знал это убежище… Я еще ближе к нему, шагов на пятьдесят… Вот он в бурьянах близ оврага — только ему нырнуть — и спасен…

На самом берегу балки он на момент остановился, воззрился на меня — я круто повернул лошадь к горам и сделал несколько скачков вправо, вдоль оврага… Волк нырнул и скрылся…

Я знаю привычки зверя давным-давно… Еще с юных моих шатаний в задонских степях. И я не ошибся.

Повернув кругом лошадь, я скачу по краю балки влево от гор и вижу: серый с вытянутым языком лежит посредине балки и, увидев меня — все это измеряется секундами, — вскочил, зашатался и тяжело захлюпал к выходу в степь… Я свищу, гикаю, держу его от себя шагах в тридцати и вижу, что он выдохся и сейчас упадет…

Это не в моих расчетах: к лежачему или сидячему волку подходить нельзя — бросится и зарежет коня…

Я даю ему выбраться на простор степи, посылаю Наяду, и мы скачем с ним рядом, не убавляя резвости: волк зарьял, язык беспомощно болтается…

В два прыжка я догоняю его и бью по черепу плетью. Он тычется носом в землю… Я быстро повертываю ловкую Наяду, чтобы быть сзади головы волка, чтоб снова его догонять, но он исходит слюной и беспомощно скребет лапами по траве… Рискую и еще раз бью его по голове и отскакиваю в сторону… Он продолжает лежать на брюхе, вытянув задние ноги и судорожно шевеля передними, на которых лежит голова с вытянутым языком… Я объезжаю в сторону и кружу шагом, давая отдыхать уставшей Наяде… Посматриваю издали на волка и наслаждаюсь понюшками табаку…

Волк не шевелится. Объезжаю кругом. Не шевелится… Еще раз бью его по голове, а потом поперек хребта, около почек. Готов серый…

Слезаю с Наяды, разминаю ноги…

А кругом глухая степь. Ни табунов, ни отар овец, ни птички… Только вдали-вдали шевелится точка — это тушканчик сложил молитвенно лапки, но и тот скоро ушел в нору… Высоко-высоко появился орел… Потом другой… Они кружат надо мной, но не спускаются… Вдали появился третий.

И как это они учуяли добычу… И не ошиблись… Они знают что знают — знают, о чем и мечтать не смеет наша мудрость!

Вдали движущаяся точка. Пара лошадей, запряженная в нетачанку… Это Федя с кем-то торопится… Лошади прекрасные, несутся вскачь…

Я со скуки полтабакерки вынюхал… Федя радуется:

— Ну, взяли-таки зверяку. А я кричал вам, чтобы не допускали до балки… У меня конь сплечился… Все-таки доехал и за вами приехали… Ну, ловко…

Осмотрели волка.

— Череп разбит. Думаю, что с первого удара… А хорош, ах хорош! Как вы его не упустили… Доберись до балки — ушел бы в горы…

— Да не ушел вот!

— Ловко…

И обратился к казаку:

— Митро, а ну-ка свежуй.

— Ну и брюхо набил. Знать, целого барана стравил! — бормотал Митро, сдирая волчью шкуру.

Я ехал шагом на Наяде с нетачанкой, рассказывая подробности охоты, к великому удивлению Феди, и получил одобрение от Митро, старого охотника, который не удержался и перешел на ты:

— Бирюка перехитрил. Вот так черт!

— А ты нечистого не призывай и черных слов не произноси, — сделал ему замечание Федя, правоверный молоканин.

Навстречу нам низко и торопливо летели два орла.

— На обед едут, — указал кнутовищем казак.

Я оглянулся… Штук десять орлов и коршунов кружились над редкой в это время добычей, а влево Эльбрус покрывался темными тучами.

— Снег будет, — сказал Митро.

* * *

После обычного обеда, такого же, как и вчерашний ужин, с добавкой только гуся с яблоками и горы куропаток на огромном блюде, мы ходили по конюшням, пили чай, и после чая Митро на прекрасной паре золотистых корольковских персюков мчал меня под густыми тучами на Богословскую станцию.

Ногайская степь, как и всегда в это время, была мертвая, безжизненная, холодная и безмолвная. Разве встретится стадо молоканских овец, поднимется орел, сорвется стая куропаток, да иногда промчится на коне ногаец, потомок бывшего властителя этих степей, — а там опять тишь, мертвая тишь зимней степи, безлюдная, безмолвная…

На половине дороги начался снежный пурган… Коней не видно!

Но вот мелькнул красный диск, вдали слышится свисток паровоза и сразу переносит от мира и покоя беззаботной степи в безалаберную суету столицы, где приходится быть осторожнее, чем здесь, в этой дикой пустыне, между степными волками и вооруженными жителями…

Лишнее слово, иногда лишний стакан вина, неосторожное движение — и погиб скорее, чем в глухой ногайской степи…

Одновременно с бежавшим и пыхтевшим поездом, побелевшим от снежной пурги, я подъехал к вокзалу и, тоже весь заледенелый, покрытый снегом, прямо бросился к буфету, чтобы как-нибудь согреться. Был второй час ночи. Оказалось, что пришел сильно запоздавший от сильной метели скорый поезд, идущий на север. Через три минуты он отправляется. Придется ужинать и согреваться в поезде. Беру ужин: белый хлеб, колбасу, бутылку водки и две бутылки пива. Подарок поберегу до Москвы — жаль откупоривать. Митро тащит за мной багаж. Бросаюсь в первый попавшийся вагон первого класса и

вваливаюсь в пустое купе. Чемодан и корзинку с гостинцами бросаю на сетку, волчью шкуру, связанную шерстью вверх, на пол и прощаюсь с Митро. Кондуктор входит за билетом и говорит:

— Вам бы в другой вагон, это старинный, неудобные диваны, жестко да и трясучий… Рядом пульмановский, тоже пустой идет.

— Э, все равно, — отвечаю.

Колеса заскрипели по рельсам, загромыхали на стрелках, и поезд потянулся на север.

Я старался взглянуть в окно, да оно все было бело от снега и льда. Мелькнула в памяти моей не сходившая несколько дней с моего горизонта голова Эльбруса, и сделалось как-то грустно…

С помощью кинжала я разрезал колбасу, причем добрая половина ее упала на пол и откатилась к двери, где на полу лежала мерзлая волчья шкура. Я посмотрел на нее, но, усталому, было лень протянуть руку. Выпив и съев колбасу, я хотел достать упавшую половину, но ее не было: укатилась под мой диван.

Дорожа каждым лишним движением, я взял бутылку пива и поставил ее на пол, чтоб можно было достать легко рукой, и лег, сделав несколько глотков. Лег и вытянулся.

Это — блаженство, которого я давно не испытывал. Я стал уже забываться, как вдруг волчья шкура, лежавшая на полу у двери, зашевелилась.

Уж не дух ли какого-нибудь кабардинца или ногайца вселился в волка?

Затем стоявшая рядом с диваном бутылка с пивом кланяется горлышком к окну, причем выливается несколько капель на пол, и исчезает.

Исчезает на глазах. Уползает под мой диван. Я нюхаю табаку и соображаю — что такое. Вдруг под собой слышу:

Буль… буль… будь…

Кто-то пьет под моим диваном. Приподнимаюсь, чтобы вскочить, и вдруг вижу вылезающее из-под дивана горлышко бутылки, а затем чью-то руку, старающуюся аккуратно, без шума водворить бутылку на прежнее место.

Моментально вскакиваю, запускаю обе руки под диван и вытаскиваю оттуда злополучнейшего из людей. Несчастный, оборванный, бледный.

Шепчет:

— Не убивайте меня!

Я поднял его, крепко встряхнул для острастки и с размаху усадил на противоположный диван.

— Попался, дьявол!

Он умоляюще смотрел на меня и молил о пощаде… Я встал, проверил, заперта ли дверь, и открыл занавеску половины фонаря, осветив противоположный диван.

Передо мной сидел, дрожа и шелкая зубами, оборванец в лаптях, в башлыке, окутавшем плотно голову.

Он воззрился на стол, ткнул пальцем на табакерку, на которой ярко сверкала золотая буква Г. И рот раскрыл в недоумении.

— Ведь это она! Это значит, вы?! Упал передо мной на колени.

— Теперь я вас узнал… Ведь это я… Вот шея-то, поглядите.

Сорвал башлык. Громадные желваки от ушей до плеч.

— Это я.

И вспомнился мне пароход на Волге.

— Я вот тогда у вас ее, — показывает на табакерку, — за ваше добро у вас из кармана стырил… Я хотел на ней доехать до Астрахани… Это за хлеб-то за соль вашу… Поили, кормили, а я… Весь век мучаюсь, как поминаю…

Бормотал он нескладно, отрывисто, без умолку, Я молчал и слушал и, наконец, в знак мира открыл табакерку и поднес ему.

— Черт с тобой, прощаю. Садись!

Сразу повеселел. Понюхал, чихнул, сел на диван и

все бормочет, бормочет нескладно и жалобно, в грехах своих кается…

Я подал ему бутылку с водкой, Он жадно потянул и закусил хлебом, а я наклонился под диван и ищу колбасу.

— Вы колбасу? Я ее стравил. Я давно уж ничего не ел.

Затем он доел весь хлеб, допил пиво и начал рассказывать свои похождения, стараясь доказать первым делом, что залез на станции в вагон без всякой цели грабежа и убийства, а только чтобы погреться и добраться до станции Кавказской…

— Ну что? Все еще с волчьим паспортом? — спрашиваю я.

— На кой он. Нешто к зиме с ним можно? Давно бросил. Лучше бродягой называться, до весны просидеть, а то в степи замерзнешь теперь.

— А перо зачем? — спросил я, указывая на валявшийся на полу нож.

Он сконфузился — не смел мне врать. Это чувствовалось. Молчит.

— А ежели бы не я, а женщина одна ехала в купе? А если бы я уснул? Сонного пришить легко ведь…

— Что вы… что вы… Нешто вас можно?! Вот табакерка-то, как увидал ее, так и… так и узнал вас сразу по золотой букве… Нешто я ее забуду когда, во веки веков, — бормочет.

— Так значит, окажись на столе табакерка боком или дном кверху, так… Ну да плевать, расскажи ты мне, где побывал после Нижнего…

— Ой, да уж что говорить. Везде… Ведь два года с гаком прошли… Ну тогда, после вас, на зевекинском пароходе я сбежал на низ… К зиме проходное бросил — сказался на Псков. Этапом послали… К весне опять вышел. В Питере опять в полицию… Послали в Яранск… А я под Любань к сестре Варваре ударился, всю зиму у ней околачивался… Весной опять на Волге маячил, к зиме к дяде серебрянику в Питер, а оттуда вот этим летом выслали в Пермь, а я сюда подался… Все лето здесь по хуторам околачивался… Было — и хорошо пожил, у молокан работал. Да дело одно не вышло… Ух-рял… Только ту зиму у сестры Варвары и отдохнул, за дворника работал и за кашевара…

Просит о пощаде, клянется и божится, что больше никогда не будет.

А чего «никогда не будет» — не говорит.

Поезд загромыхал по стрелкам станции Кавказской и остановился.

— Ну, убирайся… Вот тебе на разживу.

Дал опять пять рублей и выгнал. Уходя, он нагнулся, чтобы поднять свой нож, но я наступил на него ногой:

— Ножа не дам. Пошел вон.

Исчез. Лезвие ножа, узкое, остро наточенное, вершка четыре длины, ручка роговая кольчатая, дагестанской работы. Кожаные ножны я нашел после под диваном. Потом оказался простым железным, и я им до сего времени разрезаю книги…

Я видел, как он выскочил из вагона в противоположную дверь на неосвещенное полотно дороги и побежал за дрова.

Это был бродяга по закону. Такие не имели возможности пристроиться где-либо в одном месте, а обязаны были идти и идти без дороги, без цели, без конца. Идти до смерти.

Нередко весной в донских и кубанских степях, особенно после снежных зим, находили трупы оборванцев, а иногда только кости, растасканные зверями и собаками.

В большинстве случаев эти несчастные бродяги по закону, не привыкшие к местным условиям, погибали от холода, голода и метелей.

С наступлением холода много их появлялось на станциях Владикавказской железной дороги. Изможденные, оборванные, измученные, дрожащие в отрепьях от холода, они вечно осаждали начальников станций и жандармов просьбами довезти их до следующей станции.

Масса краж из вагонов, грабежей около станций железных дорог совершалась ежедневно по линии, и хотя далеко не все совершали их «бродяги по закону», но все сваливалось на них.

Да и удобно: люди без настоящего и будущего, которым тюрьма — дом, кандалы — игрушки.

Люди с волчьим видом.

— Почет тебе, как волку бешеному: ни тебе работы, ни тебе ночлега — мандруй без останову, пока не сдохнешь! — объяснил мне откровенно один из таких.

И тоже припомнил сестру Варвару, как и тот мой бродяжка.

И я разыскал эту удивительную сестру Варвару.

Действительно, близ Любани, станции Николаевской железной дороги, жила сестра Варвара в основанной ею же пустыньке, приюте для проходящего, скитающегося люда.

Эта пустынька — истинное благодеяние. Сестра Варвара, украинка по рождению, богатая помещица, блиставшая когда-то в обществе, прекрасно образованная, долго жившая за границей, после смерти мужа вся отдалась служению несчастному, страждущему люду. Она изучила трущобы, поняла быт бесприютных скитальцев, людей с волчьим видом, и создала им приют на пути следования из Петербурга в глубь России.

Уже несколько лет существовал этот приют, состоящий из домика, где накормит и напоит бесприютных сестра Варвара.

Во время обеда она читала своим оборванным беспаспортным гостям книги или что-нибудь рассказывала, выслушивала злоключения каждого, ищущего услышать слово человеческое, ободряла его.

Приходили дождливой осенью и холодной зимой полунагие, голодные, грязные…

Принимала людей грязных, зловонных, которых все сторонятся, людей без паспортов, с темным прошлым, готовых на преступление, которых все гонят от себя, боясь за свою собственность и жизнь.

А сестра Варвара принимала их, как своих родных, обмывала их, перевязывала их раны, даже выстроила им баню.

Это было давно. В прошлом столетии. О дальнейшей судьбе сестры Варвары я с той поры не слыхал.